

С. А. ВЕНГЕРОВЪ.

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ.

Т. III.

КН-ВО „ПРОМЕТЕЙ“.  
Н. Н. МИХАЙЛОВА.

*ЛГИБДФ  
Б29*

С. А. ВЕНГЕРОВЪ.

✓ 8Р1(092)  
B29

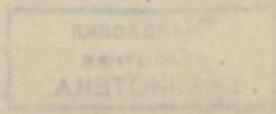
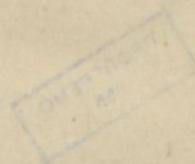
1935  
1938  
2438<0  
„Проверено 1938 г.  
Славянофильства.  
Передовой боецъ  
Константинъ Аксаковъ.

8Р1(092)



1912.  
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

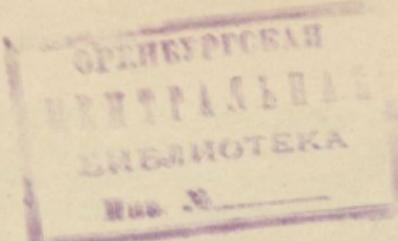
СОЛДАТСКАЯ  
СИМФОНИЯ  
КОМАНДИР АРГУР



Типографія В. Безобразова и К°. В. Остр., Больш. пр., 61.

## ОГЛАВЛЕНИЕ.

	Стр.
Отъ автора . . . . .	VII
I. Въ родительскомъ домѣ . . . . .	1— 16
II. Въ университетѣ и кружкѣ Станкевича . . . . .	17— 29
III. Начало литературной дѣятельности. Поѣзда за границу	30— 34
IV. Бездѣятельность. Борьба за русскую одежду . . . . .	35— 50
V. Диссертация. Театральная пьесы. „Московскій Сборникъ“	51— 58
VI. К. Аксаковъ и новое царствование. „Молва“ . . . . .	59— 76
VII. Послѣдніе годы жизни К. С. Красота его духовной личности	77— 89
VIII. Стихи Константина Аксакова . . . . .	90— 98
IX. Драматическая произведенія . . . . .	99—116
X. Критический статьи . . . . .	117—130
eXI. Диссертациі о Ломоносовѣ . . . . .	131—138
XII. Филологические труды . . . . .	139—150
XIII. Исторические труды . . . . .	151—168
XIV. „Земля“ и Государство . . . . .	169—178
XV. Богозбраннысть русскаго народа . . . . .	179—193
XVI. Непосредственно-публицистическая дѣятельность . . . . .	194—205
XVII. Записка 1855 года . . . . .	206—210
XVIII. Общелитературное значеніе Конст. Аксакова . . . . .	211—213
Приложеніе: Нѣсколько словъ о поэмѣ Гоголя „Похожденія Чичикова“ или „Мертвые души“ (рѣдчайшая брошюра К. Аксакова) . . . . .	217—229
Библиографія . . . . .	231—247



Этюдъ о Константинѣ Аксаковѣ первоначально былъ напечатанъ въ 1887 году, въ I томѣ „Критико-биографич. Словаря“. Затѣмъ онъ, съ небольшими дополненіями, былъ перепечатанъ въ 1 и 2 изданіяхъ моихъ „Очерковъ по исторіи русской литературы“.

Здѣсь этюдъ появляется въ значительно переработанномъ видѣ. Особено дополнена часть биографическая, для которой даются много нового вышедшия послѣ появленія моего этюда сборники матеріаловъ и изслѣдованія: переписка Ивана Аксакова, Барсуковская многотомная біографія Погодина, извлекшая изъ Погодинскаго архива массу неизданныхъ документовъ и другіе новѣйшіе труды.

Обзоръ литературной дѣятельности Константина Аксакова, въ общемъ, остался безъ измѣненій. Но въ первой обработкѣ я, какъ и другіе изслѣдователи, не обратилъ достаточно вниманія на весьма интересный эпизодъ публицистической дѣятельности Аксакова — его участіе въ „Молвѣ“ 1857 г. Здѣсь я на этой вспышкѣ писательской энергіи Константина Сергеевича останавливаюсь подробнѣ.

Въ первый разъ, въ концѣ настоящаго этюда, дань биографической спискѣ произведеній К. Аксакова и указана литература о немъ. Составленіе списка представляло большія трудности. Многое я могъ указать только по намекамъ семейной переписки. Списокъ, однако, не претендуетъ на исчерпывающую полноту. Не было напр. никакихъ данныхъ относительно анонимныхъ статеекъ К. С. въ „Молвѣ“ 1830-хъ и „Москов. Наблюд.“ 1838—1840 г.г.

Въ видѣ приложенія перепечатана рѣдчайшая брошюра К. Аксакова о „Мертвыхъ Душахъ“. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ поступившій въ Публичную Библиотеку экземпляръ — едва-ли не unique.

жизни, стоящие ей впереди. Но это не делает ее менее интересной и чисто образованной, но делает ее более привлекательной для любителей.

Представляю читателю Аксакову, которая имеет в своем составе две главные части: альбома, в котором собраны изображения лиц известных людей, а также альбома, в котором собраны изображения памятников и монументов.

Следует отметить, что альбома Аксакова не содержит никаких изображений лиц известных людей, а также альбома, в котором собраны изображения памятников и монументов.

I.



### Константинъ Аксаковъ въ родительскомъ домѣ.

За рѣдчайшими исключеніями, геній никогда не переходитъ по наслѣдству. Въ русской литературѣ два великихъ генія—Лермонтовъ и Гоголь умерли безъ всякаго потомства, Пушкинъ, Достоевскій, Толстой не передали дѣтямъ высоты своего дарованія. Въ области русской науки тоже нѣть ни двухъ Лобачевскихъ, ни двухъ Менделѣевыхъ; въ исторіи русской музыки нѣть двухъ Глинокъ и нѣть двухъ Чайковскихъ.

Но просто талантливость часто преемственна и есть рядъ русскихъ семействъ съ ярко выраженной наследственной даровитостью. Таковы Тургеневы, Бекетовы, Бакунины, Майковы, Кирѣевскіе, Самарини, Маковскіе, Трубецкіе, Хомяковы, Ковалевскіе, Фадѣевы и др.

Въ ряду этихъ талантливыхъ семействъ одно изъ первыхъ мѣстъ по силѣ дарованія занимаютъ Аксаковы. Долгую память оставилъ по себѣ Сергѣй Тимоѳеевичъ, одинъ изъ классиковъ русской прозы, но не менѣе знамениты два его сына Константинъ и Иванъ. И не въ нихъ однихъ только сказалась аксаковская даровитость. Изъ переписки Ивана Аксакова съ родителями мы узнаемъ о ранней смерти юноши-композитора Михаила Сергѣевича (1841 г.). А сравнительно недавно (въ „Минувшихъ годахъ“ 1908 г.) былъ напечатанъ замѣчательный дневникъ Вѣры Сергѣевны Аксаковой, указывающій и на литературные способности, и на образованность, и на ту же замѣчательную отзывчивость къ явленіямъ общественности, литературы и науки, которая такъ характеризуетъ ея знаменитыхъ братьевъ. Избранный администра-

стративную карьеру Григорій Серг'євичъ бытъ однимъ изъ наиболгѣ замѣчательныхъ губернаторовъ русскихъ.

Но не только общностью дарованій отмѣчена семья Серг'я Тимофеевича Аксакова. При печальному уровне нашего семейного быта, семья Аксаковыхъ представляетъ собою рѣдкій примѣръ замѣчательно дружного семейного общенія.

Семья была огромная—11 человѣкъ, и всѣ нѣжно любили другъ друга. Прямо жить не могли другъ безъ друга, и разлука была настоящимъ горемъ. Потребность въ постоянномъ и полномъ общеніи была такъ велика, что переписка принимала обширнѣйшіе размѣры. Письма Ивана Аксакова занимаютъ 4 тома. Письма къ нему не изданы, но изъ примѣчаній къ перепискѣ Ивана видно, что писали ему подробно и часто: нѣсколько дней неѣть письма и онъ уже волнуется. Пере-писка Аксаковыхъ заключаетъ въ себѣ не только сообщенія о мельчайшихъ событияхъ ежедневной жизни, но даетъ полный отчетъ о всѣхъ думахъ, размышленіяхъ по поводу событий общественныхъ и литературныхъ, которыхъ Аксаковы тоже переживали вмѣстѣ и, большей частью, подъ одинмъ и тѣмъ же угломъ зреїнія. Всякое событие въ жизни одного члена семьи одинаково волновало всѣхъ. Сила этой семейной любви была такъ велика, что заражала и тѣхъ, которые къ ней прымкали позднѣ. Такъ, жена Григорія Серг'євича была не просто невѣстка, а стала настоящей дочерью.

Если къ замѣчательно дружному семейному общенію Аксаковыхъ прибавить общую атмосферу материальной обеспеченности—не богатства, всегда разслабляющаго и развращающаго, а именно какой-то бездумности, легкости, то мы поймемъ, сколько въ этой обстановкѣ было благопріятнаго для созданія міровоззрѣнія оптимистического и далекаго отъ реальной жизни. Даже крѣпостное право не вносило диссонанса: вотчины были далеки, Сергій Тимофеевичъ по 25 лѣтъ не видалъ своихъ мужиковъ, а что касается многочисленной дворни московскаго дома, то при отсутствіи всякаго намека на тиранство и при искреннемъ уваженіи къ добрымъ господамъ, крѣпостные отношенія въ семье Аксаковыхъ приобрѣтали характеръ какой-то величавой патріархальности.

Иванъ Аксаковъ провелъ въ этомъ идеалически-патріар-

хальномъ, уютномъ и благодатномъ гнѣздашкѣ только дѣтство и часть отрочества, Константина—всю свою 41-лѣтнюю жизнь.

Константина Сергиевича быть первенецъ очень счастливаго брака Сергея Тимофеевича съ Ольгой Семеновной Заплатиной.

О симпатичнѣйшемъ и благороднѣйшемъ Сергеѣ Тимофеевичѣ я сейчасъ говорить не буду. Ему будетъ посвященъ въ настоящемъ собраніи особый большой этюдъ—переработка того, который въ 1887 г. быть напечатанъ въ 1-мъ томѣ моего „Критико-біографического словаря“. Здѣсь только отмѣчу влияніе Сергея Тимофеевича на сына.

Когда я въ 1887 г. писать свой этюдъ о Константинѣ Аксаковѣ мнѣ, на основаніи тѣхъ данныхъ, которыя тогда имѣлись въ исторической литературѣ, роль отца и матери въ духовной жизни Константина Сергиевича представлялась въ такомъ видѣ:

„Отъ Сергея Тимофеевича страстно любившій его первенецъ наслѣдовать размахъ таланта и нравственную чистоту. Что касается матери, то она тоже не совсѣмъ обыденная женщина, по крайней мѣрѣ по происхожденію. Отецъ ея былъ Суворовскій генераль, а мать—плѣнная турчанка Игель-Сюмъ. И, можетъ быть, эта то примѣсь восточной крови сообщила обоимъ знаменитымъ внукамъ турчанки—Константину и Ивану Сергиевичамъ ту страсть и ту энергию, которую едва ли они могли унаслѣдовать отъ мягкаго и добродушнаго Сергея Тимофеевича“.

Это соотношеніе вліяній приходится теперь измѣнить кое-что. Въ 1888 г. было начато изданіе переписки Ивана Аксакова, которая является обильнымъ источникомъ свѣдѣній о всей семье Аксаковыхъ. Первому тому предпосланъ небольшой „Очеркъ семейнаго быта Аксаковыхъ“, написанный Иваномъ Сергиевичемъ, но къ сожалѣнію не законченный имъ. И вотъ этотъ авторитетный очеркъ въ ряду вліяній на характеръ и духовный складъ Константина ставить на первое мѣсто не отца, а мать. Представителемъ-же страсти, но не совсѣмъ въ обычномъ смыслѣ этого слова, и не въ смыслѣ энергіи, Иванъ какъ разъ считаетъ отца.

„Съ своею страстью натурой“, говорить онъ, „Сергей Тимофеевичъ страстно отдавался чувству отца и почти бук-

вально замѣнялъ для своего сына-первенца ияньку. Ребенокъ засыпалъ не иначе, какъ подъ его баюканіе. Вліяніе отца окружало Константина Сергеевича съ дѣтства, сопровождало всю жизнь, и едва ли можно себѣ представить связь болѣе тѣсную той, которая соединяла отца съ сыномъ. Съ своего рожденія до самой кончины Сергея Тимофеевича Аксакова въ 1859, году Константинъ Сергеевичъ разстался со своимъ отцемъ только однажды и то на четыре мѣсяца. По смерти отца, онъ буквально зачахъ, и будучи отъ природы геркулесовскаго сложенія, умеръ чахоткой, переживъ его только 19-ю мѣсяцами".

"Въ натурѣ Константина Сергеевича Аксакова не было ничего схожаго съ натурою Сергея Тимофеевича. Онъ, какъ говорится, *весь былъ въ матѣ* (курсивъ Ивана Сергеевича). Весь нравственный строй его существа, возвышенность помысловъ и стремленій, суровость въ отношеніи къ себѣ, строгость требованій, элементъ доблести и героизма— все это заложено было въ него матерью; все это было въ Константина Сергеевича, какъ въ его матери, не въ видѣ правила, руководящаго въ жизни, но составляло въ немъ и въ ней природную стихію. Сергей Тимофеевичъ любилъ жизнь, любилъ наслажденіе, онъ былъ художникъ въ душѣ и ко всему наслажденію относился художественно. Страстный актеръ, страстный охотникъ, страстный игрокъ въ карты, онъ былъ артистомъ во всѣхъ своихъ увлеченіяхъ,—и въ полѣ съ собакой и ружьемъ, и за карточнымъ столомъ. Онъ былъ подверженъ всѣмъ слабостямъ страстнаго человѣка, забывалъ нерѣдко весь міръ въ припадкѣ своего увлеченія; уже женатый проводилъ онъ цѣлые дни за охотой, цѣлыми ночами за картами; но зная за собою эти слабости, онъ былъ смиренного о себѣ мнѣнія, быть чуждъ гордости къ близкому, напротивъ отличался постоянной снисходительностью. Это-то качество и дало ему возможность развить въ себѣ ту теплую объективность, которая составляетъ такую прелестъ „Семейной хроники“, которая чуждается всякой экалерации (преувеличеній), рѣзкостей, полна любви и благоволенія къ людямъ и отводить мѣсто каждому явлѣнію, добромъ и дурному въ человѣческой жизни. Радушный и добрый отъ природы, онъ обладалъ умомъ чрезвычайно яснымъ и трез-

вымъ. Эта ясность омрачалась пылкостью и страстью". И только „когда годы и болѣзни умѣрили пыль и обуздали страсти,—умъ его, освободясь изъ-подъ гнета, достигъ той степени спокойнаго, объективнаго отношенія къ жизни, которое такъ поражаетъ читателей въ его сочиненіяхъ. Умъ переходилъ въ мудрость.

Сергѣй Тимоѳеевичъ Аксаковъ бытъ чуждъ гражданскихъ интересовъ, относился къ нимъ индифферентно: природа и литература были главные его интересы. Даже 1812 годъ, когда Сергѣю Тимоѳеевичу Аксакову бытъ уже 22-й годъ, не оставилъ въ немъ особенныхъ воспоминаній, Правда, онъ съ отцомъ своимъ записались въ милицію, —но и только. 12-й годъ онъ прожилъ въ деревнѣ. Будучи вполнѣ русскимъ, онъ никогда не былъ „патріотомъ“ даже въ духѣ своего времени. Политикой онъ не занимался вовсе и никогда не предъявлялъ никакихъ притязаній на героизмъ. Хотя нѣть сомнѣнія, что въ нужныхъ случаяхъ онъ проявилъ бы настоящую твердость; онъ даже любилъ рассказывать о себѣ, какъ о трусѣ (къ великому огорченію своего старшаго сына). Мать Константина Сергеевича была, напротивъ того, исполнена самыхъ героическихъ и патріотическихъ стремленій, которая она и внушила своимъ сыновьямъ съ дѣтства. Она предпочитала сыновей дочерямъ. Имѣя въ жизни своей 14 дѣтей, изъ коихъ шесть сыновей, она жалѣла, что остальные были дочери. Ея отецъ, небогатый помѣщикъ Курской губерніи, былъ человѣкъ замѣчательныхъ достоинствъ. Онъ служилъ въ военной службѣ, участвовалъ во всѣхъ походахъ Суворова,—въ Польшѣ, въ Турціи, былъ при осадѣ Очакова. имѣть георгіевскій крестъ; при Павлѣ командовалъ полкомъ своего имени и вышелъ въ отставку генераль-маіоромъ. При Александрѣ, во время войны съ Наполеономъ, онъ командовать ополченіемъ. Вся жизнь его протекла въ походахъ и въ провинціи. Его жена и мать Ольги Семеновны была Турчанка, Игель-Сюма, взятая 12-ти лѣтъ, при осадѣ Очакова. Она была изъ рода эмировъ, какъ известно, производящихъ себя отъ Магомета и пользующихся правомъ носить зеленую чалму. Немного разсказовъ сохранилось о ея дѣятельности. Когда русскіе пошли на штурмъ, отецъ ея, схвативъ саблю, побѣжалъ къ стѣнамъ, а тетка (матери у нея въ живыхъ не

было), взять ее и другихъ дѣтей, присоединилась къ толпѣ другихъ женщинъ. Всѣ они побѣжали по мосту, котораго перила обвалились, и тетка Игель-Сюмы упала въ ровъ. Войны съ Турцией при Екатеринѣ были за обычай въ Россіи; пѣнныи турки и турчанки размѣщались по обывателямъ. Игель-Сюма попала въ семейство генерала Воинова. Ее скоро окрестили и выучили читать и писать по-руссски. При Екатеринѣ было даже издано учебное руководство для пѣнныхъ турокъ; съ одной стороны текстъ турецкий, съ другой—русский. Необыкновенная красавица, она привлекла къ себѣ сердце молодаго Заплатина, который и женился на ней. По окончаніи войны, когда разрѣшентъ быль размѣнть пѣнныхъ, родственники въ Турціи требовали ея возврата. Рассказываютъ даже, что одинъ изъ нихъ нарочно пріѣзжалъ въ Россію, чтобы разыскать ее, и изъѣздилъ всю Курскую губернію—но напрасно. Марія—такъ звали теперь Игель-Сюму—была скрыта.

Она жила недолго,—умерла тридцати лѣтъ съ небольшимъ. Оттѣнокъ грусти лежалъ на всемъ ея существованіи. Войны съ Турцией возобновлялись, и видъ пѣнныхъ турокъ, которыхъ прогоняли чрезъ Обоянь, всегда волновалъ ее сильно. Она пріѣзжала не разъ въ Москву съ мужемъ и дѣтьми, ъѣздила въ Собрание, но все же никогда не могла освоиться съ европейскою жизнью. Въ семействѣ долго сохранялась ея турецкая шаль, ея чалма и также русская азбука съ турецкимъ текстомъ, изданная при Екатеринѣ. У нея было четверо дѣтей, изъ которыхъ двое умерли еще въ дѣтствѣ. Она сопровождала Семена Григорьевича въ его походахъ—и тамъ на походѣ въ Польшу, въ 1792 году родилась у нея дочь Ольга, впослѣдствіи жена Сергея Тимофеевича и мать Константина и Ивана Сергеевичей,

Овдовѣвъ и поселившись въ деревнѣ Обоянского уѣзда, Семенъ Григорьевичъ взялъ свою старшую дочь изъ пансиона, — и она стала его товарищемъ, секретаремъ и другомъ. Въ обществѣ стараго воина-отца она почерпнула тотъ духъ доблести, которымъ такъ рѣзко отличалась отъ другихъ женщинъ. Она постоянно читала отцу своему историческія сочиненія въ русскомъ переводѣ,—напримѣръ, исторію Роллена въ переводѣ Тредьяковскаго, описанія военныхъ походовъ,

реляціі сраженій, газеты. Старикъ внимательно слѣдилъ за политикой.

Вотъ въ какой школѣ воспитывалась Ольга Семеновна. Неумолимость долга, цѣломудренность поразительная въ женщинахъ, имѣвшей столькихъ дѣтей, отвращеніе отъ всего грязнаго, сальнаго, нечистаго, суровое пренебреженіе ко всякому комфорту, правдивость, доходившая до того, что она не могла позволять сказать, что ея нѣть дома, когда она дома, презрѣніе къ удовольствіямъ и забавамъ, чистосердечіе, строгость къ себѣ и ко всякой человѣческой слабости, негодованіе, рѣзкость суда, при этомъ пылкость и живость души, любовь къ познаніи, стремленіе ко всему возвышенному, отсутствіе всякой пошлости, всякой претензіи,—вотъ отличительныя свойства этой замѣчательной женщины. Но всѣ эти свойства составляли ея стихію, а не были чѣмъ-то надуманными. Напротивъ, въ ней не было того, что называется житейскою мудростью; въ свѣтѣ она казалась наивною по своей неспособности къ лицемѣрію и двоедушію. Она не могла скрыть ни своихъ симпатій, ни антипатій. Благоговѣнно покорялась она мужней волѣ, но когда дѣло шло для нея о нравственномъ началѣ, мужъ долженъ быть склоняться передъ нею: не то, чтобы она только *не хотѣла*, но она *не могла* преступать вопреки своему убѣжденію. У нея не было никакой эластичности, а сойти съ своей точки зрѣнія и стать на чужую, отрѣпиться отъ своей личности, чтобы понять чужую, ей было трудно, почти невозможно.

Мать Гракховъ, Музій Сцевола были ея героями.

Хотя Сергій Тимофеевичъ вовсе не раздѣлялъ ригоризма своей жены, но онъ именно умѣть цѣнить людей въѣїї своей личной природы. Онъ уважалъ высоко свою жену и всѣ ея нравственныя требованія, хотя въ личной своей жизни шель перѣдко имѣ наперекорь.

Вотъ подъ какимъ двойнымъ вліяніемъ возросъ Константина Сергіевичъ, внукъ турчанки Игель-Сюмы и Софы Николаевны Багровой. Натура матери, страстно любимый отцомъ и еще страстнѣе любящій его, Константина Сергіевичъ совмѣщать съ нравственными свойствами матери эстетический вкусъ и любовь къ литературѣ своего отца. Стихи Державина и русская деревня вспеленали его, такъ сказать,

съ лѣтства. Четырехъ лѣть онъ выучился читать у матери, и первою его книгою для чтенія была Исторія Трои, изданія 1747 года, съ буквами З. Л. и т. д., переложеніе „Іллады“ на русскій и, надобно признаваться, варварскій языкъ. Гекторъ, Діомедъ, Ахиллъ стали его любимыми героями. По свойству своей натуры немедленно воплощать въ наружныхъ явленіяхъ внутреннее чувство (свойство, не покидавшее его въ теченіе всей его жизни), онъ вырѣзывалъ изъ коронъ фигуры съ копьями и щитами, присвоивъ имъ название своихъ любимцевъ и вѣль войну между греками и троянами".

Константи́нъ Аксаковъ родился 29 марта 1817 г. въ селѣ Новомъ-Аксаковѣ, Бугурусланского уѣзда, Оренбургской губерніи. Эта заволжская вотчина хорошо известна всѣмъ читателямъ „Семейной Хроники“ подъ названіемъ Нового Багрова. Настоящее же имя ея—село Знаменское или Ново-Аксаково.

Сергѣй Тимофеевичъ, за годъ до того, въ 1816 году, женившійся на Ольгѣ Семеновнѣ Заплатиной, состоять еще тогда при родителяхъ и прожить безвыѣздно въ домѣ родителей до 1821 года. Въ 1821 году Тимоѳей Степановичъ согласился, наконецъ, выѣхать сына Сергѣя, у котораго уже было тогда четверо дѣтей, и назначилъ ему въ вотчину село Надежино въ Белибайскомъ уѣздѣ, Оренбургской губерніи" (Парашино „Семейная Хроника“). Прежде чѣмъ перѣѣхать туда, Сергѣй Тимофеевичъ съ семьей весело и шумно прожилъ годъ въ Москвѣ, а лѣтомъ 1822 года вернулся „ради экономіи“ въ родныя мѣста и четыре года—до осени 1826 года—безвыѣздно прожить въ своей вотчинѣ. Такимъ образомъ, наиболѣе впечатлительные годы дѣтства Константина Аксаковъ провелъ въ Надежинѣ. Здѣсь онъ прожилъ до девяти лѣть, находясь въ постоянномъ общеніи съ крестьянами, которые, благодаря благодатнымъ климатическимъ условіямъ богатаго оренбургскаго края, въ интеллектуальномъ и нравственномъ отношеніи стояли выше забитаго крестьянства другихъ частей Россіи. И такъ какъ Константина Сергѣевича отличался необыкновенно ранимъ умственнымъ развитіемъ, то иѣть сомнѣнія, что первыя идиллическія условія, среди которыхъ прошло дѣтство будущаго восторженного проповѣдника необходимости единенія интеллигенції

сь народомъ, не остались безъ вліянія на оптимистическій взглядъ его на возможность этого единенія.

Наряду съ матерью, наставникомъ и духовнымъ руководителемъ Константина Аксакова былъ самъ Сергѣй Тимоѳеевичъ, содѣйствовавшій его раннему восторженному отношенію къ русской литературѣ. „Въ Надежинѣ, освѣженнѣй новыми знакомствами и посѣщеніями Москвы, Сергѣй Тимоѳеевичъ, будучи человѣкомъ экспансивнымъ, невольно пріобщилъ своего малютку-сына своимъ литературнымъ интересамъ. „Евгений Онѣгинъ“ присыпался тетрадями. Все это читалось вслухъ, громко, съ какимъ-то увлечениемъ.“

„Константинъ Сергеевичъ роѣть, упражняясь въ чтеніи, а это чтеніе были всеъ произведенія тогдашней классической литературы, начиная съ Хераскова. Едва ли не одинъ изъ всѣхъ своихъ сверстниковъ знать Константинъ Сергеевичъ Хераскова, Княжнина, Ломоносова и т. д. Когда ему минуло восемь лѣтъ, отецъ подарилъ ему въ богатомъ переплетѣ томъ стихотвореній Ивана Ивановича Дмитріева. По этой книгѣ, которую Константинъ Сергеевичъ скоро зналъ наизусть, Ольга Семеновна учила читать дѣтей своихъ.“

„Москва, Россіи дочь любима,  
Гдѣ равную тебѣ сыскать“.

Или:

Мои сыны, питомцы славы,  
Красивы, горды, величавы“.

Вотъ на какомъ геронческомъ чтеніи воспитывала Ольга Семеновна своихъ дѣтей.

Константинъ Сергеевичъ любилъ вспоминать (онъ вообще съ вѣжностью относился къ своимъ дѣтскимъ годамъ) свое пребываніе въ Надежинѣ и чѣмъ съ раннихъ лѣтъ воспитывалось въ немъ русское чувство. Прежде всего онъ отказался звать отца иностраннымъ словомъ папаша, а называть его уменьшительнымъ отъ слова отецинка, *отесинка*, и такъ сохранилось до кончины. Вообще, Константинъ Сергеевичъ утверждалъ всегда, что не ощущаетъ рѣзкаго различія во внутреннемъ своемъ существѣ съ ходомъ лѣтъ. Между дѣтскими годами и зрѣлымъ возрастомъ почти у всѣхъ лежитъ цѣлая пропасть. У него, напротивъ, не было никакого раз-

рыва съ младенчествомъ въ душѣ и сердцѣ. Умъ вызрѣлъ, обогатился познаніями,—но въ нравственномъ отношеніи не произошло перемѣны, не явилось никакой порчи: та же чистота души и тѣла, та же вѣра въ людей. Этому много способствовало и то, что онъ до послѣдняго года жизни жилъ при отцѣ и матери и никогда съ ними не разлучался. Онъ не стыдился ни младенческихъ движений, ни отишений дитяти къ родителямъ. Вообще онъ не зналъ *fausse honte*. Хотя бы гостинная была полна гостей, онъ точно такъ же цѣловалъ руки у отца и ласкался къ нему, какъ бывало въ дѣтствѣ. Вообще въ немъ не было никакого ложнаго страха. Онъ не могъ допустить въ себѣ никакого движения, которое бы требовало скрытности: это было мѣриломъ для его поступковъ.

Еще въ Надежинѣ ребенкомъ онъ видѣлъ сонъ—Красную площадь и Минина въ цѣпяхъ, что впослѣдствіи онъ и рассказалъ въ стихахъ:

Нѣть, мечта не приснилась,  
и проч.

Любовь къ Москвѣ, какъ непосредственное чувство, загlось въ немъ еще вѣкъ годы.

Къ этому же времени принадлежитъ его первая литературная попытка: онъ написалъ сцены — „*Ловля бабочекъ*“.

За четыре года, которые любившій развлечения Сергій Тимофеевичъ прожилъ въ Надежинѣ, деревенская жизнь жестоко надоѣла ему, тѣмъ болѣе, что занятія хозяйствомъ шли плохо. Онъ рѣшилъѣхать въ Москву и искать службу. Благодаря знакомству съ министромъ народнаго просвѣщенія Шишковымъ, онъ получилъ мѣсто цензора въ Москвѣ, где и поселился въ сентябрѣ 1826 года. Въ Москвѣ Сергій Тимофеевичъ, а съ нимъ, конечно, все ростущая семья, съ которою онъ никогда не разставался, прожилъ до самой смерти,—въ 1859 году. Въ 1840-хъ годахъ Сергій Тимофеевичъ приобрѣлъ прекрасную подмосковную деревню Абрамцево и здѣсь Аксаковы проводили лѣто.

Цензорскую службу, по тому времени и по политическому міросозерцанію Сергія Аксакова, „безъ лести“, но все таки искренно преданного правительству, нельзя считать темною

страницею его біографії. Тѣмъ болѣе, что цензоромъ онъ бытъ, въ общемъ, снисходительнымъ и кончилось его цензорство тѣмъ, что въ 1832 году его отставили. Онъ провинился тѣмъ, что пропустилъ въ журналѣ „Европеецъ“ статью Ивана Кирѣевскаго, „Девятнадцатый вѣкъ“. Въ этой статьѣ говорилось о „просвѣщеніи“, и въ этомъ усмотрѣли псевдонимъ страшнаго слова „свобода“; говорилось о „дѣятельности разума“— и какъ было не усмотрѣть тутъ прославленія революціи. И, наконецъ, „искусно отысканная середина“ явно заключала въ себѣ апоѳеозъ конституції.

Во всякомъ случаѣ въ духовной атмосфѣрѣ Аксаковскаго дома не было ничего „цензорскаго“. Скорѣе наоборотъ. То, что Сергѣй Тимоѳеевичъ пострадалъ за добродѣтельное отношеніе къ печатному слову, настраивало рано созрѣвшее молодое поколѣніе Аксаковыхъ совсѣмъ по иному. И, можетъ быть, не случайно самая страстная въ русской литературѣ защита свободы слова, принадлежитъ двумъ сыновьямъ потерпѣвшаго за нее Сергѣя Тимоѳеевича.

Если была опасность опошленія для впечатлительнаго Константина Сергѣевича, то совсѣмъ съ другой стороны. Попловата была литературная среда, въ которой вращался въ 20-хъ годахъ Сергѣй Тимоѳеевичъ.

Въ тотъ 1820 годъ, когда Сергѣй Тимоѳеевичъ пріѣзжалъ изъ Аксакова въ Москву, онъ напечаталъ перевѣтъ сатиры Буало и этого по тому времени было совершенно достаточно, чтобы удостоиться избранія въ члены Общества Любителей Российской Словесности. Завязалась у него тогда тѣснѣйшая дружба съ Загоскинымъ, съ гремѣвшимъ въ свое время водевиллистомъ Писаревымъ и съ директоромъ театра и драматургомъ Кокоркинымъ. Дружба не ослабѣла и за четыре года вторичнаго отѣзда Сергѣя Тимоѳеевича въ деревню и возобновилась съ еще большою интенсивностью, когда Аксаковъ въ 1826 году со всѣмъ семействомъ пріѣхалъ въ Москву на постоянное жительство.

Близость съ сейчасъ называемыми писателями, къ которымъ, со временемъ окончательного перѣѣзда въ Москву, надо еще присоединить доживавшаго свой вѣкъ драматурга Шаховскаго, довела старинную театрomanію Сергѣя Тимоѳеевича до апогея. Въ этотъ о Сергѣѣ Аксаковѣ я подробнѣ

остановлюсь на этой театромани и докажу, что она сыграла весьма отрицательную роль въ литературной карьере его, задержала естественный ростъ его таланта, направивъ его въ такую сторону, где особенности оригинального дарованія автора „Семейной Хроники“ не могли найти ни почвы, ни соковъ для своего развитія. Сейчасъ отмѣчу только, что въ концѣ 20-хъ г.г. Сергѣй Тимоѳеевич окончательно завертѣлся въ закулисномъ мірѣ, такъ что не только начиналъ терять послѣдній интерес къ явленіямъ нетеатрального міра и не только лебюты того или другого актера, успѣхи той или другой пьесы начинали ему казаться событиями первостепенной важности, но у него и вкусы литературный стать портиться. Онъ пошелъ по такому литературному пути, который, можетъ быть, совершенно загубилъ бы его крупное дарованіе, если-бы въ серединѣ тридцатыхъ годовъ встрѣча съ Гоголемъ и возмужаніе старшаго сына Константина не ввело его въ сферу болѣе высокихъ умственныхъ интересовъ. Какой-нибудь водевилистъ Писаревъ ему серьезно казался человѣкомъ задатковъ „Аристофановскихъ“.

И вмѣстѣ съ тѣмъ дружба съ московскими водевилистами скорила его съ лучшимъ представителемъ русской журналистики того времени—Полевымъ.

Домашніе всѣмъ этимъ живо интересовались.

„По экспансивности Сергѣя Тимоѳеевича“, сообщаетъ Иванъ Аксаковъ, «вся семья принимала участіе въ его интересахъ. Дѣти знали, напримѣръ, что такъ-то была принята публикою такая-то пьеса, такой-то остроумный куплетъ сочиненъ быть Писаревымъ, надѣ тѣмъ-то работаетъ Верховцевъ и т. д.“

Подроставшій Константинъ быть, однако, слишкомъ серьезно настроенъ съ самаго нѣжнаго дѣтства, чтобы увлечься этой мелкотою. Рано обозначился въ немъ будущій теоретикъ и партійный знаменоносецъ.

„Константина Сергѣевича съ одной стороны принимать живое участіе во всѣхъ интересахъ отца (вообще у Сергѣя Тимоѳеевича дѣти не были отдалены отъ родителей; гости принимались всею семьею), съ другой стороны учился у Венелина латинскому языку, у Долгомостьева—греческому

языку, у Фролова—географії. Онъ много читаль и въ особенности любилъ чтеніе русской исторіи. Но какъ у Сергѣя Тимофеевича не было ии малѣйшаго поползновенія къ пропагандѣ, такъ, напротивъ, наклонность къ ией была замѣтна у Константина Сергеевича съ самаго начала. Будучи старшимъ въ многочисленной семье, Константинъ Сергеевичъ, конечно, давалъ направлениe всѣмъ своимъ братьямъ и сестрамъ. Прочитавъ Карамзина, онъ тотчасъ же собираль въ своей комнаткѣ наверху своихъ сестеръ и братьевъ и заставляль ихъ слушать его исторію. Она воспламеняла въ немъ патріотическое чувство. Не знаю, почему именно въ особенности возбудилъ его восторгъ эпизодъ о нѣкоемъ князѣ Вячко, который, сражаясь съ Нѣмцами при осадѣ Куксгавена, не захотѣлъ имъ сдаться и, выбросившись изъ башни, погибъ. Оттого ли, что имя этого героя предано совершенному забвенію, тогда какъ имена прочихъ доблестныхъ подвижниковъ сохраняются въ людской памяти,—не знаю, только Константинъ Сергеевичъ, будучи лѣтъ 12-ти, установилъ праздникъ Вячки 30-го Ноября. Въ этотъ день, вечеромъ, наряжался Константинъ Сергеевичъ съ братьями въ желѣзные латы, шлемы и проч., маленькия сестры въ сарофаны,—всѣ вмѣстѣ водили хороводъ и пѣли пѣсню, сочиненную Константиномъ Сергеевичемъ для этого случая. Пѣсня была длинная и рассказывала подробно подвигъ Вячки. Она, я помню, начиналась такъ:

Запоемте, братцы, пѣсню славную,  
Пѣсню славную, старинную,  
Какъ бывало храбрый Вячко напѣть  
и проч.

Затѣмъ слѣдовало угощеніе,—непремѣнно русское,—пилися медъ,ѣлись пряники, орѣхи и смоквы.

Замѣчательно, что увлекалась чтеніемъ рыцарскихъ романовъ, Константинъ Сергеевичъ и здѣсь выразилъ свою самостоятельность. Онъ учредилъ дружину изъ воиновъ; главнымъ начальникомъ былъ, разумѣется, онъ, воинами—его братья и иѣкоторые знакомые мальчики. Исключеніе изъ воиновъ было самымъ жестокимъ наказаніемъ. Вооруженіе приготавливались дома: покупались желѣзные листы и крои-

лись латы, просверливались гвоздями, шнуровались; ка-  
жется, дѣлались и наножники (на голень); плетмы дѣлались  
отчасти изъ картона, отчасти изъ желѣза; модели доставля-  
лись, благодаря связямъ отца, изъ театральнаго гардероба.  
Помогалъ тутъ много домашній крѣпостной столяръ Андрей,  
который дѣлалъ деревянные мечи, а дѣти сами ихъ окраши-  
вали синькой. Были и копья. К. Ф. Калайловичъ, помню,  
подарилъ даже Константину Сергеевичу копье желѣзное  
метальное, съ желѣзными перьями на одномъ концѣ, выры-  
тое гдѣ-то на поляхъ и почему-то называвшееся копьемъ  
Изяслава. Старинные палаши изъ солингенской стали, най-  
денные въ амбараѣ Нового Аксакова, составляли украшеніе  
комнаты Константина Сергеевича. Въ довершеніе всего этого,  
Константинъ Сергеевичъ писалъ повѣсть о приключеніяхъ  
дружинъ молодыхъ людей, „любившихъ древнєе русское во-  
оруженіе“. По мѣрѣ написанія, повѣсть прочитывалась вслухъ  
и поражала умы аудиторіи разнообразiemъ и загадочностью  
приключений. Несмотря на то, что она постепенно достигла  
объема цѣлаго тома in 8°, она никогда не была кончена.

Слѣдуетъ упомянуть также о другихъ играхъ, измыш-  
ленныхъ Константиномъ Сергеевичемъ. Изъ сахарной бумаги,  
блѣлой и синей, складывались по извѣстному способу корабли  
разныхъ размѣровъ въ довольно большомъ количествѣ и раз-  
дѣлялись на два флота: одинъ русскій, другой англій-  
скій, или французскій, или иной—враждѣй. Они разставлялись  
другъ противъ друга на обоихъ концахъ залы (все это про-  
исходило въ Старой Конюшенной, въ приходѣ Аѳанасія и  
Кирилла, въ домѣ Стѣпцова). Съ каждой стороны кто-нибудь  
ложился на полъ и катилъ мячъ по полу, цѣля въ корабль.  
Сочинены были и правила для игры: если мячъ отодвинеть  
корабль за черную полоску, которую обыкновенно обводились  
около стѣны красеные полы, то это значило, что корабль  
сыгъ на мель; если попадать внутрь, въ средину корабля,—  
корабль пошелъ ко дну и т. д. Даже велся списокъ сраже-  
ний; добыто было раскрашенное изображеніе морскихъ фла-  
говъ всѣхъ націй, и часть бумажнаго корабля расписывалась  
сообразно национальности корабля. Никакихъ же другихъ  
игръ, ни лошадокъ, ни куколь, ни игрушекъ, не знала Кон-  
стантинъ Сергеевичъ, да почти и никто въ домѣ Аксаковыхъ.

Разыгрывались иногда по выбору и по инициативѣ самаго Константина Сергеевича сцены изъ „Чудаковъ“ Княжнина, изъ „Трисотина“ Дмитріева и изъкоторыхъ другія.

Нельзя не разскать и еще объ одной затѣѣ, характеризовавшей будущаго славянофила. Употребленіе французскаго языка въ разговорѣ рѣзко осуждалось Константиномъ Сергеевичемъ,—да и вообще великосвѣтскость была предметомъ постоянной его насмѣшки. Конечно, кромѣ искреннаго уваженія къ родному языку и негодованія, возбуждаемаго пренебреженіемъ къ нему, много значило и то, что въ домѣ Сергея Тимофеевича Аксакова французскій языкъ не употреблялся вовсе, и самъ Константинъ Сергеевичъ не имѣлъ привычки говорить на немъ. Большой свѣтъ какъ бы не существовалъ для этого семейства. Какъ бы то ни было, но изъкоторыхъ дамъ, знакомыя Ольги Семеновны, писали иногда ей на французскомъ языкѣ; записки эти уносились на-верхъ, и тамъ всѣ братья, имѣя во главѣ Константина Сергеевича, прокалывали эти записки ножами, взятыми изъ буфета, по томъ торжественно сожигали и пѣли хоромъ пѣсню, нарочно сочиненную Константиномъ Сергеевичемъ:

Заклубися, дымъ проклятья,  
и проч.

Впрочемъ, оттого ли, что Сергей Тимофеевичъ, узнавъ объ этомъ, выразился, что это глупо, или оттого, что какая-то дама, случайно провѣдавъ о томъ, что ея имя предаютъ проклятию, чрезвычайно разобидѣлась, только этой затѣѣ быть скоро положенъ конецъ.

Одаренный счастливыми способностями, энтузиасть, исполненный самыхъ чистыхъ и возвышенныхъ стремленій и въ то же время непосредственной любви къ Россіи, русскому народу и Москвѣ, въ мірѣ интересовъ литературы и искусства возрасталъ Константинъ Сергеевичъ, удивляя пріятелей отца своими дарованіями...»

На этомъ обрывается очеркъ Ивана Аксакова, столь цѣнный для исторіи „семейнаго быта Аксаковыхъ“ вообще и Константина Сергеевича въ частности. Не назывшій себя издатель переписки, лицо, видимо, очень близкое семье, прибавляетъ со словъ Ивана Аксакова еще слѣдующее:

„Иванъ Сергеевичъ самъ относилъ свое раннее развитіе тому, что въ его семействѣ дѣтская не существовала, т.е. не существовалъ тотъ сокрупный, разгороженный уголокъ, гдѣ подъ надзоромъ наемныхъ педагоговъ возрастаетъ молодое поколѣніе въ какой-то искусственной, прѣсной атмосфѣрѣ, не имѣющей ничего общаго съ дѣйствительною жизнью. Въ семействѣ Аксаковыхъ дѣти были постоянно съ родителями, со старшими, жили ихъ жизнью, интересовались ихъ интересами“.

„Вотъ еще характеристическая черта семейныхъ отношений Аксаковыхъ: въ письмахъ къ своимъ еще далеко несовершеннолѣтнимъ сыновьямъ Сергѣй Тимоѳеевичъ всегда называетъ каждого изъ нихъ: „Мой сынъ и другъ“, и самъ подписывается: „Твой другъ и отецъ“, и подъ его первымъ это слово: „другъ“ не есть только ласковое название; — оно опредѣляетъ на самомъ дѣлѣ отношеніе отца къ сыновьямъ: онъ былъ для нихъ искреннимъ и истиннымъ другомъ; онъ дѣйствовалъ на нихъ не только приемомъ виѣшняго, формального авторитета, но гораздо болѣе влияніемъ иѣжнаго, разумнаго, мудраго сочувствія“.

891.4 C. 9  
B - 29

— это, должно, скажет изобретатель, — не фантазия, а реальность, а то что живет в нас... — Известно, что в этот момент комитет Академии наук предложил ему вступить в Академию наук, но он отказался, сказав, что не имеет времени для занятий наукой, и что он не может заниматься наукой, пока не будет занят писанием. Но он не мог отказать себе в этом, так как он был уверен, что это было бы для него полезно.

### Въ университетъ и кружокъ Станкевича.

Блестящія способности Константина Аксакова быстро скапались. Уже въ 1832 году, т. е. 15-ти лѣтъ онъ поступаетъ на словесный факультетъ московскаго университета. Здѣсь онъ попадаетъ въ умственныя теченія, весьма мало похожія на тѣ, въ которыхъ его могъ ввести застравшій въ путахъ условнаго классицизма и мелкихъ театральныхъ интересовъ Сергей Тимофеевичъ.

Съ мѣсяца или два передъ этимъ, лѣтомъ 1832 г., К. С. проводитъ въ пансионѣ Погодина, гдѣ съ нимъ занимался Венелинъ. Недолгая была разлука, а всетаки „съ плачомъ“ разстались Аксаковы съ своимъ возлюбленнымъ сыномъ“ (Барсуковъ. Жизнь Погодина, IV, 51).

Въ знаменательное время попадть онъ въ университетъ. Въ началѣ тридцатыхъ годовъ московскій университетъ находился на рубежѣ совершенно новой эпохи, на рубежѣ рѣзкой перемѣны въ профессурѣ и студенчествѣ. Цѣлыи рядъ молодыхъ профессоровъ: шеллингистъ Павловъ, даровитый Надеянинъ, Шевыревъ — тогда еще молодой энтузиастъ, только что вернувшійся изъ-за границы и еще не превратившійся въ того сухого педанта, съ которымъ ожесточенно ратоборствовалъ впослѣдствіи кружокъ Бѣлинскаго; Негодинъ, тоже еще молодой и свѣжий, — всѣ эти молодые силы внесли новый духъ въ университетское преподаваніе, который и не замедлилъ произвести въ немъ радикальныя перемѣны. Вместо прежняго монотоннаго считыванія съ старыхъ тетрадокъ, въ незапамятныя времена заготовленныхъ и изъ года въ годь, безъ малѣйшихъ перемѣнъ, повторяемыхъ,

657  
Чкаловскій  
областная

сь профессорской кафедры послышалось живое слово, стремившееся отразить въянія времени, удовлетворить нарождающимся потребностямъ жизни.

Параллельно этимъ перемѣнамъ въ профессорской средѣ, происходитъ большая перемѣна и въ московскомъ студенчествѣ. Студентъ изъ бурши превращается въ молодого человѣка, поглощенаго высшими стремлѣніями. Прежніе патриархальные нравы, когда московскіе студенты, главнымъ образомъ, занимались пьянствомъ, буйствомъ, задираниемъ прохожихъ, мало-по-малу начинаютъ отходить въ область преданій. Правда, и въ годы вступленія Аксакова въ университетъ, студенты забавлялись еще подчасъ разными чисто-школьническими шалостями и продѣлками. Пронесутъ, напримѣръ, подъ полою воробья въ аудиторію и затѣмъ, когда профессоръ войдетъ въ паѳость, выпустить его; воробей примется летать, а студенты, виѣ себѣ отъ негодованія, съ шумомъ и гамомъ повскачутъ со скамеекъ и начинаютъ ловить по всей аудиторіи нарушителя порядка. Но въ общемъ, всетаки, эти времена буйства, школьнічества и незнанія куда дѣть зашась юношескихъ силъ, рѣшительно проходить и замѣняются стремлѣніемъ къ „солицѣ истины“, какъ выражается Константина Аксакова въ своихъ университетскихъ воспоминаніяхъ. Начинается образованіе среди московскихъ студентовъ тѣсно сплоченныхъ кружковъ молодыхъ людей, восторженныхъ и чистыхъ, сходящихся затѣмъ, чтобы выяснить себѣ вопросы нравственные, философскіе, политическіе.

Студенчество новаго типа сгруппировалось по преимущество въ двухъ кружкахъ—*Станкевича и Герцена*. И какъ это ни странно, но почти все, чѣмъ славно поколѣніе сороковыхъ годовъ, или прямо выпшло изъ этихъ двухъ кружковъ, или тѣсно къ нему примыкало. Безусловно правъ Герценъ, когда, вспоминая въ „Быломъ и Думахъ“ о студенческихъ кружкахъ своего времени, говорить о лицахъ, входившихъ въ составъ ихъ: „Можно сказать, что въ то время Россія будущаго существовала между школьніми мальчишками, только что вышедшими изъ дѣтства. Въ нихъ было наслѣдие общечеловѣческой науки. Это были зародыши исторіи, незамѣтные, какъ зародыши вообще. Слабые, ничтожные, ничтѣмъ не поддерживаемые, они легко могли бы погиб-

нуть безъ слѣда подъ сапогомъ Николая, но они остаются, а если и умираютъ на полдорогъ, то не все умираетъ съ ними".

Оба кружка, хотя и одушевленные однимъ и тѣмъ же жаромъ высокихъ стремлений, почти не имѣли между собою общенія и отчасти даже враждебно относились другъ къ другу. Они были представителями двухъ направлений. Кружокъ Станкевича интересовался по преимуществу вопросами отвлеченнymi: философией, эстетикой, литературой и быть довольно равнодушенъ къ вопросамъ политическимъ и соціальнымъ. Напротивъ того, кружокъ Герцена, тоже очень интересовавшійся философией, не особенно интересовался литературой, а все свое вниманіе сосредоточилъ на вопросахъ политики и соціального устройства. Бурная жизнь юльской монархіи и учение Сень-Симона составляли преобладающій интересъ Герцена и его друга Огарева. Кружку Герцена весьма скоро пришлось столкнуться съ тѣмъ, что на жаргонѣ того времени называлось „дѣятельностью“, и эта „дѣятельность“ поступила съ ними безъ всякой нѣжности, бросивъ ихъ сначала въ тюрьму, а затѣмъ размѣстивъ по разнымъ угламъ Россіи. Поэтому на литературномъ поприщѣ они появляются позже, чѣмъ члены кружка Станкевича.

Оставляя въ сторонѣ кружокъ Герцена, который не оказалъ никакого вліянія на Константина Аксакова, остановлюсь нѣсколько на кружкѣ Станкевича, въ тѣсномъ общеніи съ которымъ Константина Аксаковъ провелъ лучшіе годы своей молодости. Для цѣлности придется забѣжать впередъ и захватить не одинъ только студенческій періодъ его существованія, но и 3—4 года послѣ окончанія университета.

Въ составъ первоначально чисто-студенческаго кружка Станкевича, продолжавшаго жить въ тѣснѣшемъ духовномъ общеніи и восторженѣйшей дружбѣ и послѣ того, какъ члены его въ 1834—1835 гг. оставили университетъ, входили люди неодинаковой умственной и нравственной величины.

Второстепенное значеніе имѣютъ: рано умершій историкъ и археологъ Сергій Строевъ; довольно посредственный поэтъ, впослѣдствіи профессоръ кіевскаго университета Кра-

совъ; гораздо выше послѣдняго стоящей поэтъ-философъ Ключниковъ, писавшій подъ псевдонимомъ „ѳ“ и, наконецъ, Невѣровъ, получившій впослѣдствіи извѣстность въ качествѣ попечителя кавказскаго учебнаго округа. Цвѣтъ и блескъ сообщили кружку прежде всего самъ Станкевичъ, затѣмъ Константина Аксаковъ и Бѣлинскій. А черезъ годъ, два послѣ того, какъ кружокъ покончилъ университетскія лѣла свои, къ нему тѣснѣйшимъ образомъ примыкаютъ четыре крупнѣйшихъ дѣятели: Бакунинъ, Катковъ, Василій Боткинъ и Грановскій.

Перечисленныя лица были люди различныхъ темпераментовъ и душевныхъ организаций. Но всѣхъ ихъ сплачивало въ одно обаяніе необыкновенно свѣтлой, истинно-идеальной личности Станкевича.

Станкевичъ представляетъ собой чрезвычайно рѣдкій примѣръ литературнаго дѣятеля, не имѣющаго никакого значенія, какъ писатель въ прямомъ смыслѣ этого слова и тѣмъ не менѣе наложившаго яркую печать своей индивидуальности на одинъ изъ важнѣйшихъ періодовъ русской литературы. Какъ писатель, Станкевичъ авторъ очень плохой исторической драмы, слабой повѣсти, двухъ-трехъ десятковъ стихотвореній, вполнѣ второстепеннаго значенія, и нѣсколько отрывковъ философскаго характера, правда, довольно интересныхъ, но найденныхъ только послѣ смерти въ бумагахъ его и напечатанныхъ цѣлыхъ 20 лѣтъ спустя. Весь этотъ неизначительный литературный багажъ вмѣстѣ съ переводами занялъ впослѣдствіи небольшой томикъ, и не въ немъ, конечно, источникъ огромнаго вліянія Станкевича. Оно зиждится, помимо красоты его нравственнаго существа на томъ, что Станкевичъ, не обладая конкретно выраженнымъ литературнымъ и научнымъ талантомъ, бытъ тѣмъ не менѣе очень талантливою личностью просто какъ человѣкъ. Одаренный тонкимъ эстетическимъ чутьемъ, глубокою любовью къ искусству, большими и ясными умомъ, способнымъ разбираться въ самыхъ отвлеченныхъ вопросахъ и глубоко винить въ сущность всякаго вопроса, Станкевичъ давалъ окружающимъ могущественные духовные импульсы и будилъ лучшія силы ума и чувства. Его живая, умная и почти всегда остроумная бесѣда была необыкновенно плодотворна

для всякаго, кто вступасть съ нимъ въ близкое общеніе. Онь всякому спору умѣть сообщать высокое направлениe, все мелкое и недостойное какъ-то само собою отпадало въ его присутствіи, какъ и въ присутствіи Бѣлинскаго. Станкевичъ представлять собою удивительно гармоничное сочетаніе нравственныхъ и умственныхъ достоинствъ. Въ идеализмъ его не было ничего напускного или приподнятаго, идеализмъ органически проникаль все его существо, онъ могъ легко и свободно дышать только на горныхъ высотахъ духа.

Въ 1837 году начинающаяся чахотка и жажда приложиться къ самому источнику философскаго знанія погнали Станкевича за-границу. Онь подолгу живалъ въ Берлинѣ, гдѣ вступилъ въ тѣсное общеніе съ душевно полюбившимъ его профессоромъ философіи, гегельянцемъ Вердеромъ. Въ это время въ сферу его обаянія попали питомцы петербургскаго университета—Грановскій и Тургеневъ. Въ 1840 году двадцати семилѣтній Станкевичъ умеръ въ итальянскомъ городкѣ Нови. Ранняя смерть его произвела потрясающее впечатлѣніе на друзей его, но вмѣстѣ съ тѣмъ она какъ-то необыкновенно гармонично и художественно завершила красоту его образа.

Et rose, elle a vecu ce que vivent les roses—  
L'espace d'un matin,

сказать французскій поэтъ про умершую въ цвѣтѣ лѣтъ лѣтушку и находить въ этой гармоніи примиреніе съ ужаснымъ фактъмъ. Душевная красота Станкевича была тоже своего рода благоуханнымъ цвѣткомъ, который могъ бы и выдохнуться при болѣе прозаическихъ условіяхъ, какъ выдохся, напр., идеализмъ его друга и кумира Невѣрова. Теперь же, благодаря трагизму судьбы Станкевича и цѣльности оставленнаго имъ впечатлѣнія, имя его стало талисманомъ для всего поколѣнія 40-хъ годовъ и создало желаніе приблизится къ нему по нравственной красотѣ.

Въ тѣ года, когда Константина Аксаковъ, находясь подъ неотразимымъ обаяніемъ душевной красоты Станкевича и страстиныхъ порывовъ Бѣлинскаго, шель рука объ руку съ людьми, съ которыми вносились въступить въ ожесточенную борьбу, эти люди съ какимъ то по истинѣ фанатиче-

скимъ увлечениемъ предались изученію нѣмецкой философіи вообще и Гегеля въ частности.

Изъ университета члены кружка, подъ вліяніемъ лекцій Павлова и Надеждина, вынесли интересъ къ Шеллингу, съ его широкимъ взглядомъ на мірь, какъ на развитіе одной всеобщей, объединяющей и творящей идеи. Во второй половинѣ 30-хъ годовъ поэтически-восторженный идеализмъ и пантезизмъ Шеллинга вытѣсняется суровой схемой Гегелевскаго мірониманія.

Увлечение кружка гегельянствомъ было безмѣриное и дошло до истинной страсти. По свидѣтельству Герцена, котораго не было въ Москвѣ, когда началось увлечение Гегелемъ и который засталъ его апогей по своемъ возвращенію въ Москву, въ концѣ 1830-хъ годовъ, члены кружка отъ всякаго приходившаго съ ними въ столкновеніе, „требовали безусловнаго принятія феноменологіи и логики Гегеля и при томъ по ихъ толкованію. Толковали же они обѣ нихъ безпрестанно, иѣть параграфа во всѣхъ трехъ частяхъ гегельевской логики, въ двухъ его эстетики, энциклопедіи и пр., который бы не быть взято отчаянными спорами нѣсколькоихъ ночей. Люди, любившиѣ другъ друга, расходились на цѣлыя недѣли, не согласившись въ опредѣленіи „перехватывающаго духа“, принимали за обиды мнѣнія обѣ „абсолютной личности“ и о ея по себѣ бытіи. Всѣничтожнѣйшія брошюры, выходившія въ Берлинѣ и другихъ губернскихъ и уѣздныхъ городахъ нѣмецкой философіи, гдѣ только упоминалось о Гегельѣ, выписывались, зачитывались до дыръ, до пятень, до паденія листовъ, въ нѣсколько дней“.

Это увлечение гегеліанствомъ порою доходило у членовъ кружка до наивно-трогательныхъ проявленій. Молодые люди такъ преисполнілись ученіемъ берлинского философа, что у нихъ „отношеніе къ жизни, къ дѣйствительности, сдѣтось школьнѣе, книжное; это было то ученое пониманіе простыхъ вещей, надъ которыми такъ геніально смѣялся Гете въ своемъ разговорѣ Мефистофеля со студентомъ. Все въ самомъ дѣлѣ непосредственное, всякое простое чувство было возводимо въ отвлеченныя категории и возвращалось оттуда безъ капли живой крови, блѣдной, алгебраической тѣнью. Во всемъ этомъ была своеобразная наивность, потому

что все это было совершенно искренно. Человѣкъ, который шель гулять въ Сокольники, шель для того, чтобы отдаваться пантеистическому чувству своего единства съ космосомъ; и, если ему попадался по дорогѣ какой-нибудь солдатъ подъ хмѣлькомъ или баба, вступавшая въ разговоръ, философъ не просто говорилъ съ ними, но опредѣлять субстанцію народности въ ея непосредственномъ и случайному явленіи. Сама слеза, навертывающаяся на вѣкахъ, была строго отнесена къ своему порядку, къ *геминту* или къ *трагическому въ сердце...*

Провозвѣстникомъ гегельянства въ кружкѣ Станкевича явился по преимуществу Михаилъ Бакунинъ. Этому отставному ариллерійскому офицеру предстояло пріобрѣсть въ 60-хъ и 70-хъ годахъ всемірную извѣстность въ качествѣ самаго крайняго изъ самыхъ крайнихъ утопистовъ. Онъ создалъ теорію безпощаднѣйшаго анархизма и полнаго упраздненія государственности. Стоявший въ то же время во главѣ соціалистического движения Карлъ Марксъ долженъ быть прибѣгнуть къ исключению Бакунина изъ главнаго органа партіи — „Международного общества рабочихъ“ для того, чтобы устранить даже тѣнь солидарности съ этимъ апостоломъ всеобщаго разрушенія. Но по странной ironіи судьбы тотъ же Бакунинъ, который въ серединѣ 40-хъ годовъ, перебравшись въ Европу, выдвинулъ въ одной изъ своихъ статей страшный девизъ „Die Lust der Zerstörung ist eine schaffende Lust“ (страсть къ разрушенію есть зиждущая страсть), въ концѣ 30-хъ не только не имѣть ничего общаго съ разрушительными стремлѣніями, но прямо пришелъ къ апоѳеозу существующаго порядка. На основаніи Гегелевской философіи создалъ онъ теорію преклоненія предъ „дѣйствительностью“ и увлекъ за собою кружокъ Станкевича, всѣхъ же сильнѣе — Бѣлинского.

Вопросъ о „дѣйствительности“ и ея „разумности“ является центральнымъ пунктомъ всей духовной жизни кружка Станкевича въ эпоху ея увлеченія гегельянствомъ. И это показываетъ, въ какую грубую ошибку впадаютъ тѣ, которые, изучая движение 40-хъ годовъ, рассматриваютъ философскіе взгляды эпохи Бѣлинского исключительно съ научной точки зрѣнія. Не знаменательна ли въ самомъ дѣлѣ та исключи-

тельность, съ которой всѣ силы ума и сердца Бѣлинского и его друзей обратились на толкованіе положенія Гегеля—*“все дѣйствительное—разумно”*. Положенія, въ концѣ концовъ, второстепенного, мимоходомъ высказаннаго въ предисловіи къ *“Философіи права”*. Если вы возьмете какую-нибудь позднѣйшую исторію философіи и прочтете статью о Гегелѣ, вы тамъ часто не встрѣтите даже простого упоминанія о формулы *“все дѣйствительное—разумно”*<sup>1)</sup>. Вотъ до чего маловажной она кажется обыкновенному изслѣдователю рядомъ съ грандиозностью чисто-научныхъ притязаній гегелевской философіи дать абсолютную истину о сущности всего мірового процесса. Но для русскаго человѣка сороковыхъ годовъ, который накинулся на гегелевскую философію не изъ жажды научнаго знанія, а потому, что ему надо было немедленно решить вопросъ, *какъ ему жить*, все отступило предъ жгучестью ужасныхъ сомній, вносимыхъ формулой.

Сомнія эти имѣли истинно-трагическій характеръ, формула въ кориѣ подрывала всѣ стремленія кружка, дѣлала безсмысличными всѣ его благородные порывы. Люди съ негодованіемъ отбросили всякую мысль о какихъ бы то ни было компромиссахъ, сосредоточили всѣ свои помыслы на исканіи абсолютной, безпримѣсной истины и этимъ самымъ, конечно, должны были порвать всякую связь съ пошлостью и несовершенствами окружающей среды, и вдругъ *“все дѣйствительное—разумно”*! Значить и крѣпостное право разумно, и пре-восходить весь тотъ строй, который возмущалъ еще Чацкаго, и неѣть ничего дурного въ той *“неправдѣ черной”*, о которой говорили даже такіе апологеты общаго уклада русской жизни, какъ Хомяковъ. Словомъ, правы Булгаринъ и Гречъ, *“громъ побѣды раздавайся, веселися, храбрый Россъ”*!

Какъ бы отнеслись къ такому ужасному диссонансу люди, заинтересовавшіеся гегельянствомъ съ чисто-научной точки зреінія? Они бы, конечно, спокойно отбросили или формулу, или всю систему, разъ она приводить къ противорѣчію, которое ставить крестъ надъ всѣмъ, что составляетъ основу ихъ духовнаго существа. Но въ томъ то и дѣло, что члены

<sup>1)</sup> Укажу на цѣлую книгу о Гегелѣ Кэрда (М. 1898), на огромный этюдъ Владимира Соловьевса.

кружка Станкевича не столько умомъ, сколько сердцемъ примкнули къ гегельянству, они гегельянство не только усвоили, они въ него увѣровали. Ихъ въ гегельянствѣ прельстило его притязаніе дать *абсолютную* истину. А разъ абсолютная истина, какая же могутъ быть частныя противорѣчія?

И вотъ получилась дилемма, выходъ изъ которой былъ найденъ только черезъ нѣсколько лѣтъ, когда наши гегельянцы поняли, что Гегель, при всемъ консерватизмѣ своихъ специальнѣо-государственныхъ воззрѣній, *не все существующее признавалъ дѣйствительнымъ*. Слѣдовательно, формула „*все дѣйствительное—разумно*“ не означаетъ, что „*все существующее разумно*“, и не узакониваетъ всякой порядокъ вещей только въ силу того, что онъ фактъ. Но, повторяю, до этой оговорки наши гегельянцы доискались позже. Цѣлыхъ же два года, между 1838 и 1840 годомъ, будущій создатель анархизма Бакунинъ, вѣрный фанатическому складу своего ума и чисто-русской способности *jurgare in verba magistri*—во имя Гегеля воспѣвать „*дѣйствительность*“ конца 30-хъ годовъ во всей ея совокупности. Бѣлинскій, не оглядываясь, пошелъ за нимъ. Онъ написалъ въ 1840 г. известную статью о „Бородинской годовщинѣ“, где преклоненіе передъ самодержавнымъ строемъ дошло до того, что многие, и притомъ совсѣмъ не люди крайнихъ убѣжденийъ, съ нимъ разнakoимились. Статья была написана въ своего рода состояніи аффекта. Внутренно содрогаясь отъ сознанія, что обрекаетъ себя на нравственную смерть, Бѣлинскій тѣмъ не менѣе безстрашно шелъ на все ad majorem Hegelii gloriam. Не доходить до конца для него было равносильно измѣнѣ. Именно по поводу статьи о „Бородинской годовщинѣ“ Герценъ говорить, что Бѣлинскій, разъ усвоивши себѣ то или другое воззрѣніе, „не бѣднѣть ни передъ какимъ послѣдствиемъ, не останавливался ни передъ моральнымъ приличиемъ, ни передъ мнѣніемъ другихъ, котораго такъ страшатся люди слабые и несамобытные. Въ немъ не было робости, потому что онъ былъ силенъ и искрененъ, его совѣсть была чиста“. Понявши известнымъ образомъ формулу Гегеля, онъ проилѣгдалъ въ концѣ тридцатыхъ годовъ „*индійскій покой созерцанія* и *теоретическое изученіе* вмѣсто борьбы“,

проповѣдывать съ тою же лихорадочною страстью, съ какою черезъ полтора, два года нападать на представителей квѣтизма и требовать активнаго противодѣйствія тяжелымъ общественнымъ условіямъ дoreформенной эпохи.

Таковы общіе контуры русскаго гегельянства, взятаго въ цѣлости. По отношеніи къ Константину Аксакову въ частности, приходится дѣлать нѣсколько существенныхъ оговорокъ.

Несомнѣнно, что въ ряду московскихъ энтузіастовъ гегельянства одно изъ первыхъ мѣстъ по силѣ увлеченія учениемъ берлинскаго философа занималъ Константина Аксаковъ, страстная натура котораго не умѣла ничего дѣлать на половину. Гегельянство, впрочемъ, настолько прочно въ немъ засѣло, что еще долго послѣ того, какъ онъ совершилъ разошелся съ друзьями по кружку Станкевича и съ такимъ же пыломъ боролся съ ними, съ какимъ нѣкогда шелъ заодно, онъ всетаки не могъ отѣлаться отъ схемы творца діалектической философіи. Такъ, дальше мы увидимъ, что магистерская диссертација Константина Аксакова, относящаяся къ 1846 г., т. е. къ тому времени, когда онъ уже былъ однимъ изъ передовыхъ заструѣльщиковъ славянофильства, является по основной задачѣ своей не болѣе, какъ иллюстраціей къ ученію Гегеля о смѣнѣ историческихъ эпохъ и наслоненій.

Но собственно по отношенію къ трагическому вопросу о „разумной дѣйствительности“ положеніе Константина Аксакова было совершенно обособленное. Дѣло въ томъ, что между преданностью официальнымъ основамъ самодержавной Руси, которую знаменуетъ міросозерцаніе Константина Аксакова на всемъ протяженіи его дѣятельности и бѣснованіями Бакунина и Бѣлинскаго во имя прославленія „разумной дѣйствительности“, по существу особенной разницы вѣдь не было.

И тѣмъ не менѣе Аксаковъ, составляя въ 1855 году свои „Университетскія воспоминанія“, гдѣ онъ, между прочимъ, довольно подробно останавливается на кружкѣ Станкевича, говоритъ о своемъ пребываніи въ немъ, какъ о фазисѣ, давно пережитомъ.

Эта постановка совершенно правильна, потому что, избѣгая „либеральничанія и фронтдерства“, по выражению К. Аксакова, кружокъ Станкевича (и въ особенности въ студенче-

скіе годы), однако же представлялъ собою во всѣхъ отношеніяхъ оппозиціонное явленіе: начиная съ вѣнчаній формы собранія кружка — этихъ скромныхъ сходицъ, гдѣ почти никогда не пили вина и истребляли только огромное количество чая и булокъ, и кончая способомъ выраженій, которому давали тонъ „буйныя рѣчи“ Бѣлинского, тогда то и получившаго отъ пріятелей прозвище „неистового Виссаріона“. Такъ вотъ, начиная съ этой истинно-демократической, несмотря на присутствіе многихъ баричей, вѣнчаности собраній кружка и кончая юношески-страстными дебатами, все въ кружкѣ лышало тою свободою отношенія къ обсуждаемымъ предметамъ, о которой не было и помину въ аристократическомъ академизмѣ поаднѣйшихъ друзей Константина Аксакова — славянофиловъ. И затѣмъ: „Университетскія воспоминанія“, сейчасъ названныя, прямо показываютъ, что, при всей своей преданности главнымъ основамъ русской жизни, члены кружка по множеству частныхъ вопросовъ держались направленія совсѣмъ иного. Давая общую характеристику друзей своей ранней юности, К. Аксаковъ считаетъ возможнымъ сказать о нихъ слѣдующее:

„Въ кружкѣ Станкевича (въ срединѣ 30-хъ годовъ) выработалось уже общее воззрѣніе на Россію, на жизнь, на литературу, на міръ — воззрѣніе, *большею частью отрицательное*.“

Это отрицательное направленіе часто даже шокировало Аксакова, „русское“ направленіе котораго ярко опредѣлилось еще тогда, когда ему было 9, 10 лѣтъ. Съ болью сердечною вспоминаетъ Конст. Сергеевичъ о нападкахъ членовъ кружка на многія частности тогдашнихъ порядковъ:

„Одностороннѣе всего“, говорить онъ, „были нападенія на Россію, взвужденные казенными ей похвалами. Пятнадцатилѣтній юноша, вообще довѣрчивый и тогда готовый вѣрить всему, еще многаго не передумавшій, еще ко многимъ не уравнявшійся, я быть пораженъ такимъ направленіемъ, и мнѣ оно часто было больно; въ особенности больны мнѣ были нападенія на Россію, которую люблю съ самыхъ малыхъ лѣтъ. Но видя постоянный умственный интересъ въ этомъ обществѣ, слыша постоянныя рѣчи о нравственныхъ вопро-

сахъ, я, разъ познакомившись, не могъ оторваться отъ этого кружка и рѣшительно каждый вечеръ проводилъ тамъ".

Всего ярче отрицательное направлениe кружка выразилось въ вопросахъ чисто литературныхъ. Вспомнимъ, въ самомъ дѣлѣ, что къ эпохѣ процвѣтанія кружка относятся „Литературная мечтанія" Бѣлинскаго, гдѣ съ такою беспощадною „дерзостью", по выражению пришедшихъ въ ужасъ литературныхъ старовѣровъ, было провозглашено, что собственно никакой-то у насъ настоящей литературы и нѣтъ. Вспомнимъ затѣмъ то, что первые люди, которые проэрѣли, что въ лицѣ Гоголя народился геніальный писатель, были члены кружка Станкевича и Бѣлинскаго. Поклоненіе Гоголю находится въ непосредственной связи съ общимъ направленіемъ литературныхъ убѣждений кружка, о которыхъ Аксаковъ сообщаетъ:

„Искусственность россійского классического патріотизма, претензіи, наполнявшія нашу литературу, усилившаяся фабрикація стиховъ, неискренность печатнаго лиризма, все это породило (въ членахъ кружка) справедливое желаніе простоты и искренности, породило сильное нападеніе на всякую фразу и эффектъ".

И если въ заключеніе мы обратимъ вниманіе на то, что, по словамъ К. Аксакова, подтверждаемымъ и всѣми другими многочисленными данными о Станкевичѣ и его друзьяхъ, кружокъ „отличался самостоятельностью мнѣнія, свободою отъ всякаго авторитета", то въ общемъ и выяснится рѣшительно оппозиціонный характеръ его.

И вотъ почему отношенія между К. Аксаковымъ и его университетскими товарищами, въ концѣ концовъ, должны были порваться. Пока этотъ оппозиціонный характеръ былъ присущъ кружку лишь *implicite*, пока одностороннее пониманіе формулы Гегеля приводило къ такимъ проявленіямъ, какъ статейка Бѣлинскаго о „Бородинской годовщинѣ", К. Аксаковъ могъ идти рука объ руку съ будущими ожесточенными противниками своими. Но около 1840--1842 гг. цѣлый рядъ обстоятельствъ приводить къ тому, что скрытый оппозиціонный духъ кружка переходитъ въ открытый. Умираеть, во-первыхъ, Станкевичъ, мягкая натура котораго уравновѣшивала и сдерживала рѣзкія выходки многихъ членовъ кружка. А затѣмъ—самое главное—наиболѣе близкій къ Кон-

станину Аксакову по кружку Станкевича человѣкъ — Бѣлинский, лобравшись въ статейкѣ о „Бородинской годовщинѣ“ до кульминаціоннаго пункта своего увлеченія правымъ гегемонствомъ, круто поворачиваетъ въ противоположную сторону и съ такою же стремительностью начинаетъ произносить, говоря выраженіемъ К. Аксакова, „буйныя рѣчи“ по адресу понятій, которыми еще не такъ давно восхищался. Не вытерпѣть этого Аксаковъ, все болѣе и болѣе начинавшій сближаться, послѣ смерти Станкевича и отъѣзда Бѣлинскаго въ Петербургъ (1839), съ Хомяковымъ и Кирьевскими, прежніе друзья обмѣнялись нѣсколькими письмами и наѣдки разстались: К. Аксаковъ окончательно пошелъ направо, Бѣлинскій безвозвратно — налево. У каждого изъ нихъ при этомъ сердце кровью обливалось. Нужно перечитать напечатанныя первоначально въ „Руси“ 1881 года письма Бѣлинскаго къ К. Аксакову (отъ 1837 г.), чтобы понять, какая горячая, истинно-братьская привязанность соединяла обоихъ идеалистовъ. Но именно потому, что оба они были идеалисты, именно потому, что искаспѣ правды не было для нихъ высокопарной фразой, а насущною потребностью ихъ высокаго духовнаго существа, именно потому-то разрывъ между ними и стать неизбѣженъ, какъ только они стали разно понимать истину. „Я по натурѣ живъ“, писалъ Бѣлинскій по поводу своей ссоры съ Аксаковымъ, подразумѣвая подъ этимъ словомъ человѣка съ исключительными симпатіями, которому ненавистно все не свое, который не выноситъ ни малѣйшаго компромисса съ „филистимлянами“. Но такимъ же „живомъ“ по натурѣ былъ и Константінъ Аксаковъ. Для него тоже не существовало истины вообще, онъ тоже понималъ только свою истину, только ту истину, которая окрашена въ любезный ему цвѣтъ, онъ тоже не понималъ какихъ бы то ни было компромиссовъ, уступокъ, соглашеній. И вотъ почему оба прежніе друзья играютъ одинъ и тѣ же роли въ тѣхъ лагеряхъ, къ которымъ они окончательно примкнули послѣ разрыва. Съ тою же необузданностью, съ какою „неистовый Виссарионъ“ выступаетъ передовыми бойцомъ западничества, Константінъ Аксаковъ выступаетъ передовыми застрѣльщиками славянофильства въ его наиболѣе крайнихъ проявленіяхъ. Онъ первый одѣваетъ мурмолку и первый же провозглашаетъ, что надо вернуться „домой“, т. е. въ донетровскую Русь

—коубъ—рази оставленіи ейъ членами гвардії армійного  
президента Бѣлинскаго, підписаніе членами гвардії, що  
все відмінно зроблено розпорядженнямъ міністра  
військъ та флоту, розпорядженнямъ міністра військъ та флоту  
засновано на відповідніхъ засадахъ, які вимогають відъ  
результату, якими будуть використані війська, які  
виконують відповідні засади, і відъ результату, які вимогають відъ  
результату, якими будуть використані війська, які вимогають відъ

III.

### Начало литературной дѣятельности. Пѣзда за-границу.

Послѣ разрыва съ Бѣлинскимъ и вообще со старыми  
друзьями, жизнь Константина Аксакова, и до того бѣдная  
внѣшнimi событиями, окончательно укладывается въ тѣ рамки,  
въ которыхъ онъ ее проводить вплоть до самой смерти  
въ 1861 г. Оно и не удивительно, если вспомнить, до какой  
степени К. Аксаковъ быть человѣкомъ не отъ міра сего и  
до какой степени онъ душой и тѣломъ ушелъ цѣликомъ въ  
книжныя занятія, въ чистую и исключительную сферу идей  
и теоретическихъ построений, виѣ которыхъ для него почти  
ничего не существовало на свѣтѣ.

„Константина Аксакова“, пишеть Панаевъ въ своихъ  
литературныхъ воспоминаніяхъ, „въ житейскомъ, практическомъ  
смыслѣ оставался до сорока слишкомъ лѣтъ, т. е. до  
самой смерти своей, совершеннымъ ребенкомъ. Онъ беззаботно  
всю жизнь проводить подъ домашнімъ кровомъ и приросъ къ  
нему, какъ улитка къ родной раковинѣ, не понимая возмож-  
ности самостоятельной жизни, безъ подпоры семейства. Виѣ  
своихъ ученыхъ и литературныхъ занятій, онъ не имѣлъ  
никакого общественнаго положенія. Смерть отца и происшедш-  
шая отъ этого перемѣна въ домашнемъ быту вдругъ сломила  
его несокрушимое здоровье. Онъ не могъ пережить этой по-  
тери и перемѣны, и умеръ не только холостякомъ, даже  
дѣственникомъ“.

При такомъ складѣ жизни и отсутствіи личныхъ интересовъ, біографія К. Аксакова, главнымъ образомъ, есть исторія хода его литературного развитія, исторія его литературныхъ и ученыхъ работъ.

Начинается эта научно-литературная деятельность Аксакова еще на студенческой скамье и—какъ оно вполнѣ приличествуетъ для такого энтузиаста и пламенного идеалиста—стихами. Уже на торжественномъ актѣ 1835 г. только-что окончившій курсъ 18-лѣтній кандидатъ читаетъ соотвѣтствующіе слушаю стихи, впослѣдствіи приведенные имъ въ „Университетскихъ воспоминаніяхъ“. Всегдѣ затѣмъ К. Аксаковъ принимаетъ довольно живое участіе (иной разъ подъ псевдонимомъ К. Эвропидинъ) въ тѣхъ журналахъ, въ которыхъ сотрудничалъ Бѣлинскій — „Телескопъ“, „Молвѣ“, „Московскомъ Наблюдателѣ“. Послѣдній журналъ одно время (1838—1839 гг.) редактировался Бѣлинскимъ, и всѣ члены кружка Станкевича дѣятельно въ немъ сотрудничали. Аксаковъ давалъ маленькая рецензіи и стихи,—по преимуществу переводы изъ Шиллера и Гете—двухъ поэтовъ, которыми онъ тогда бредилъ, именно потому, что они проповѣдывали общечеловѣческіе идеалы.

Въ 1838 г. Аксаковъ поѣхалъ за-границу. Но недолго пробыть онъ тамъ. Полное неумѣніе жить самостоятельно, черезъ пять мѣсяцевъ пребыванія въ Германіи и Швейцаріи, погнало его обратно въ родимое гнѣздо, гдѣ на немъ не лежали прозаической хлопоты жизни и гдѣ онъ могъ погрузиться въ любимыя занятія, не отягощая своихъ думъ такими трудными заботами, какъ пріискиваніе обѣда, уходъ за своимъ туалетомъ и т. д.

Съ поѣздкой Аксакова за-границу связанъ очень характерный разсказъ о томъ, какъ во время пребыванія въ Берлии онъ пытался сблизиться съ одной нѣмкoi.

Когда настоящій этюдъ появился въ печати первый разъ (1887), этотъ эпизодъ (главнымъ образомъ на основаніи воспоминаній Панаева) былъ изложенъ такъ:

На перекресткѣ одной изъ берлинскихъ улицъ обратила на себя вниманіе Аксакова молоденькая продавщица цвѣтовъ. Миловидное лицичко нѣмочки показалось ему отраженіемъ столь же привлекательной души. И началь К. С. каждый день приходить на перекрестокъ и покупать по букету, отваживаясь при этомъ сказать продавщицѣ нѣсколько словъ о постороннихъ предметахъ. Продавщица ласково ему отвѣчала и между ними установилась нѣкоторая интимность. Ободрен-

ный молодой человѣкъ началъ все дольше и дольше простоявать у прилавка продавщицы, началь приносить Шиллера и читать изъ него наиболѣе возвышенныя и трогающія душу мѣста. Нѣмочка внимательно слушала и все болѣе и болѣе задумывалась во время чтенія. Восхищенный Аксаковъ съ восторгомъ наблюдалъ это впечатлѣніе высокой поэзіи великаго поэта. Но вотъ въ одно изъ посѣщеній цѣпѣтной лавочки продавщица ему прямо заявляетъ, что Шиллеръ Шиллеромъ, а что онъ ей отбиваетъ покупателей, что объ его продолжительныхъ посѣщеніяхъ много говорятъ сосѣди и что если онъ хочетъ продолжать знакомство, то ей было бы желательно получать отъ него что-нибудь посущественнѣе стиховъ, за что, въ свою очередь, она, не требуя отъ него наложения на себя брачныхъ узъ, готова всецѣло отдаться въ его распоряженіе. Въ ужасѣ слушать эти рѣчи упавшій съ неба прямо въ лужу идеалистъ и въ ужасѣ бѣжалъ изъ цѣпѣтной лавочки, а когда впослѣдствіи пріятели, узнавши отъ него въ минуту откровенности всю исторію, пробовали дразнить его ѿ, лицо Аксакова перекапивалось отъ внутренняго страданія.

Этотъ разсказъ въ настоящее время приходится признать легендою, и вотъ почему.

Въ „Космополисѣ“ 1898 г. г. Князевъ напечаталъ письма, которыя Аксаковъ писалъ изъ-за границы родителямъ и родственникамъ своимъ Картапевскимъ. Письма очень интересны для характеристики Аксакова. Онъ тутъ весь, со своею безграничною любовью къ родителямъ, со своею бесконечною беспомощностью въ практической жизни, всегда восторгающійся, всегда полный самыхъ высокихъ помысловъ. Характерны также письма для объясненія глубокоорганическаго предрасположенія К. Аксакова къ славянофильству. Любовь его ко всему русскому была прямѣ фанатическая, и заграничная жизнь нимало его не захватывала.

Онъ, конечно, восторгается многимъ: готическими церквами, картинными галереями, горными ландшафтами Саксонской Швейцаріи, Фирвальдштедскимъ озеромъ и др. Но собственно заграничный быть, заграничные порядки, такъ глубоко повлиявшие на другихъ русскихъ путешественниковъ, на Тургенева, напр., не только совершенно не дѣйствовали

на міросозерцаніе Аксакова, а, напротивъ того, еще укрѣпляли его любовь къ русскимъ формамъ жизни. Описывая отдалыяя проявленія нѣмецкой образованности и культурности, онъ ни разу не вздохнетъ, не проведеть параллелей съ русской дикостью, не подумаетъ съ тоскою: да почему же у насъ этого нѣтъ? Совсѣмъ наоборотъ, онъ во всемъ находить материалъ для того, чтобы восторгаться всѣмъ русскимъ, начиная съ русской физы и кончая вотъ какими областями национальныхъ свойствъ: „Пруссаки народъ образованный, бодрый, но нѣтъ въ нихъ этого ума (*!)*, этой силы, какая видна въ русскомъ народѣ“. „Все напоминаетъ“, говорить онъ въ другомъ мѣстѣ, „что вы въ странѣ образованной, въ странѣ наукъ; особенно въ Берлинѣ вы это чувствуете живѣе; честь и слава нѣмцамъ! Все, что дано имъ отъ природы, все развили они до высшей степени и продолжаютъ развивать, но *субстанція* народа (говоря ихъ же выраженіемъ) *ниже, гораздо ниже субстанціи русского народа*. Другими словами: больше талантовъ дано русскому, нежели нѣмцу; но въ томъ и состоить заслуга и преимущество послѣдняго, что онъ развилъ, обработалъ все, что дано ему. И однако, несмотря на то, сей чувствуетъ разность въ субстанціяхъ этихъ двухъ народовъ, видна птица по полету: маленький орленокъ—уже все не то, что выросшій коршуныъ“.

Уже съ первыхъ писемъ Аксаковъ рвется домой и еле-еле выдерживаетъ пять мѣсяцевъ, ограничившись Германіей и Швейцаріей и не стремясь даже въ Парижъ.

Въ частности по отношенію къ эпизоду, только что рассказанному, письма дѣлаютъ его совершенно невѣроятнымъ. Начать съ того, что (какъ видно изъ материала г. Князева), Аксаковъ предпринялъ поѣздку, чтобы разсѣять сердечную тоску—онъ влюбился въ одну дальнюю родственницу, но не встрѣтилъ взаимности. Изъ писемъ ясно, что рана не зажила, и что образъ любимой лѣтушки все время носился предъ нимъ. Возможно ли, поэтому, психологически, чтобы чуждавшіяся женщины идеальный юноша такъ быстро и при томъ одновременно затѣять бы сколько-нибудь интимное новое сближеніе? А главное—весь этотъ эпизодъ съ цвѣточницей фактически не могъ имѣть мѣста. Аксаковъ всего-то на всѣго въ Берлинѣ быть четыре дня, все время бѣгать

по музеямъ, а вечеромъ посещать театры. Въ другихъ городахъ онъ оставался еще меньше.

Но если мнимый эпизодъ съ берлинской цвѣточницей слѣдуетъ признать легендой, то все-таки и какъ выдумка онъ не теряетъ своего значенія въ біографії К. Аксакова. Вотъ уже гдѣ можно сказать: *se non e vero, e ben trovato*. Рассказъ, во всякомъ случаѣ, ярко характеризуетъ, какое представление имѣли объ Аксаковѣ въ литературныхъ кружкахъ.

---

Когда я въ первый разъ привезъ легендарный разсказъ о берлинской цвѣточнице по тѣмъ материаламъ для біографіи Константина Аксакова, которые тогда имѣлись, мнѣ этотъ эпизодъ казался „первой и послѣдней въ жизни его попыткой сблизиться съ женщиной“.

Теперь, на основаніи данныхъ семейной переписки, приходится внести иѣкоторую поправку. Настоящаго сближенія съ женщиной у Константина Аксакова не было, но женщина онъ вообще не чуждался, и у него было иѣсколько увлеченій. Неудача одного, какъ мы уже знаемъ, погнала его въ Германію. Въ 1846 г. Иванъ дразнить брата одновременнымъ ухаживаніемъ за Свербѣевой и Ховриной (Пер. т. I, 379), а въ 1849 г. онъ пишетъ родителямъ: „все это заикаетъ мою душу крѣпкой бронею и противъ вліянія женской красоты. Константина въ этомъ отношеніи мягче, къ тому же онъ подкупенъ“ (Пер. II, 102). Были и попытки близкихъ женить Константина (Пер. II, 324), но онъничѣмъ не окончились.

И этотъ Геркулесъ умеръ лѣвственникомъ. Непреклонный ригористъ, онъ и представить себѣ не могъ нарушенія заповѣдей, которыхъ считались священными.

#### IV.

#### Бездѣятельность. Борьба за русскую одежду.

Человѣкъ фанатической преданности тѣмъ идеямъ, которыхъ онъ признавалъ правильными и праведными, Константина Аксаковъ быть, однако, совершенно лишенъ активности, обыкновенно присущей фанатикамъ. Отличительной чертой его духовной жизни, совсѣмъ наоборотъ, является рѣдкое отсутствіе дѣятельнаго начала. А если говорить менѣе высокимъ стилемъ,—онъ просто былъ чрезвычайно лѣпъ нивѣ про-водилъ время въ большой праздности. Если Константина Аксаковъ занять видное мѣсто въ исторіи русской мысли, то только благодаря большимъ природнымъ способностямъ и любви къ обобщеніямъ, не всегда вѣрнымъ, но всегда широкимъ.

Лѣпъ была неотъемлемымъ качествомъ Константина Сергеевича съ дѣтства. Съ восторгомъ отзывалась въ письмахъ къ Погодину о „прекрасной головѣ“ 14-ти-лѣтняго ученика своего, Юрий Венелинъ тутъ-же жалуется и на его лѣпость. (Барсуковъ, Жизнь Погодина, III, 107). Корить Константина Сергеевича его лѣпью даже не считалось неделикатностью. Гоголь, конечно, быть очень близокъ съ Аксаковыми, но, все-таки, какъ-то странно читать тѣ предостереженія и наставленія, которыя онъ посыпалъ изъ-за границы (въ началѣ 40-хъ годовъ) Константину Сергеевичу, въ то время уже замѣтному человѣку въ литературѣ и обществѣ. Въ одномъ письмѣ онъ ему говорить о „непримиримомъ опасномъ врагѣ русскаго человѣка“—„врагъ этотъ лѣпъ“ (Шенрокъ, Письма Го-

голя, II, 103), а черезъ нѣсколько времени уже безъ малѣйшаго стѣсненія ставить точки надъ і: „стражните пустоту и праздность вашей жизни, передъ вами поприще великое, а вы дремлете за бабьей прылкой“ (II, 246).

Переписка младшаго брата Ивана, натуры чрезвычайно живой и подвижной, вся пересыпана укорами по адресу старшаго брата: „Ахъ, Константинь, Константинь, 27 лѣтъ и не готова диссертациѣ, и не вышло на свѣтъ зреѣлыхъ очищенныхъ плодовъ, которыхъ всякий ожидать былъ въ правѣ“ (Переписка, т. I, 98; такие же укоры I, 169). Ивана даже сердила эта беспечная праздность на родительской счетъ: „я не говорю про Константина, который смотрѣть съ серьезной стороны, но какъ-то мало думаетъ о средствахъ, да и лѣнивъ невыносимо. Ему хочется вдругъ дать карамболя“ (I, 250). Укорялъ Иванъ такимъ образомъ брата, когда тому было 27 лѣтъ; укорялъ онъ его точно такимъ же образомъ, когда ему перевалило за тридцать: „какъ мнѣ досадно и грустно“, писалъ онъ въ 1848 году, „что Константинь хандритъ и ничего не дѣлаетъ, онъ, которому столько дѣла“. (II, 5). На ту же тему переписывался съ Константиномъ Сергеевичемъ и его закадычный другъ Юрий Самаринъ: „Самаринъ говорилъ мнѣ, что написалъ большое письмо къ Константину съ воззwaniemъ къ тѣтельности“ (II, 104). Забавно читать о тѣхъ чисто-педагогическихъ мѣрахъ, къ которымъ хотѣть прибѣгнуть младшій братъ, чтобы бороться съ лѣнию старшаго брата: онъ серьезнѣйшимъ образомъ требовалъ, чтобы Константинь ежедневно посыпать ему рапортчики о своихъ занятіяхъ! (II, 290).

Константинь Сергеевичъ, видимо, даже не много читать. Объ этомъ можно судить и по сочиненіямъ его, совсѣмъ не блещущимъ эрудицію: мы увидимъ дальше, что мастерская диссертациѣ сработана по какому-нибудь десятку сочиненій. Другіе вожди славянофильства тоже праздно проводили жизнь, мало работали, мало писали. Но Хомяковъ, напримѣръ, поглощалъ огромное количество книгъ и благодаря этому поражалъ разнообразiemъ и богатствомъ своей эрудиціи. А Константина Аксакова братъ Иванъ дразнилъ привычкою „дремать съ семи часовъ вечера“ (II, 390).

При такой праздности, бездѣятельности и при такомъ отсутствіи даже чисто личной жизни, едва ли не крупнейшимъ изъ виѣшнихъ фактовъ биографіи Константина Аксакова является его борьба за русскую одежду и за право отпустить „русскую“ бороду.

Если взглянуть на эту борьбу, длившуюся около 5 лѣтъ, поверхностно, она кажется и мелочной, и смѣшной. Но стоитъ только присмотрѣться къ ней внимательнѣе, и мы тутъ найдемъ не одно только комическое. Много надо было душевнаго мужества, чтобы выносить эту борьбу, а подъ конецъ быть и моментъ прямо трагической.

Рѣшеніе Константина Аксакова носить русскую бороду, замѣнить иѣмецкую пляшку якобы русской (а на самомъ лѣтѣ персидской) мурмолкой, иѣмецкій сюртукъ и фракъ чѣмъ-то среднимъ между армякомъ и запуномъ—было результатомъ весьма серьезнаго размышиленія. Оно знаменовало собою окончательное раздѣленіе русской общественно-политической мысли на два великихъ русла.

Послѣ знаменитыхъ московскихъ „всенощныхъ бѣній“ зимы 1842—43 г. „западные“ и „славяне“ объявили другъ другу рѣшительную войну. Передовыми застрѣльщиками явились два закадычныхъ друга: съ одной стороны Бѣлинскій, съ другой—„Бѣлинскій славянофильства“—Константинъ Аксаковъ. Оба дошли до послѣдней крайности въ рѣзкости выпадовъ и въ желаніи афишировать свое міросозерцаніе. Но въ то время какъ Бѣлинскій, конечно, по сколько это было возможно въ желѣзныхъ тискахъ николаевской цензуры, свидѣтельствовать въ „Отечественныхъ Запискахъ“, мало писавшій Аксаковъ долженъ быть какъ-нибудь иначе проявить свой задоръ.

И вотъ онъ надумалъ дать яркое виѣшнее проявленіе своихъ русскихъ чувствъ, сдѣлать шагъ къ сближенію съ народомъ не только въ общности вѣрованій и политической настроенности, но и въ чисто бытовомъ отношеніи. Онъ рѣшилъ и наружно не отличаться.

Путь былъ выбранъ удачно. Эффектъ появленія Константина Сергеевича въ „русскомъ“ костюмѣ былъ огромный, обѣ этомъ заговорили всѣ.

Заговорили, однако, всего менѣе сочувственно. И благо бы отнеслись враждебно враги, это бы не смущало и усиливало бы только желаніе сердить недруговъ. Но въ томъ-то и дѣло, что вышучивали самые близкіе люди. Одинъ только отецъ пошелъ по стопамъ „самодержавствовавшаго“ въ домѣ, какъ выражался Погодинъ (Барсуковъ, т. VII, 409), сына и тоже нарядился „по-русски“. А братъ Иванъ прямо потѣсался:

„Итакъ, Константина снять съ себя дагеротипъ въ русскомъ костюмѣ: истый москвичъ, съ татарскою фамилиею и нормандскаго происхожденія, въ костюмѣ XVII столѣтія, спитомъ французскимъ портнымъ, изобрѣтеніемъ западнымъ XIX вѣка, передать черты лица и Святославской шапки, мѣдной доскѣ для пріятеля, свѣтскаго молодого человѣка. Ходилось бы очень посмотретьъ. Только продѣлка съ ветчиной (?) мясо даже не смышила. Неужели прежніе примѣры не приносятъ ему никакой пользы? Я, право, серьезно этимъ огорчаюсь. Зачѣмъ прослывать чудакомъ, оригиналомъ?“ (I, 160).

Какъ впослѣдствіи Герценъ, Иванъ Сергеевичъ подтверждаетъ сомнѣнію національность наряда Константина и въ одномъ изъ своихъ писемъ задаетъ вопросъ: „какое впечатлѣніе на крестьянъ произвѣль костюмъ Кости? Я думать, что онъ тщетно старался увѣрить ихъ, что это костюмъ, когда-то русскій. Впрочемъ, борода убѣдительна“ (I, 173). Въ общемъ, Иванъ не терялъ надежды „обнять Костю русскимъ, въ европейскомъ костюмѣ и безъ бороды“ (I, 218).

Чрезвычайно критически отнесся другъ семьи Гоголь. Получивъ въ Италии отъ Шевырева извѣстіе, что Константина Сергеевича нарядился въ „зипунъ“ (объ этомъ переписывались!), Гоголь въ отвѣтномъ письмѣ далъ замѣчательную въ своей откровенности характеристику энтузиаста-дѣятельника:

„Меня смутило также твое извѣстіе о Константинѣ Аксаковѣ. Борода, зипунъ и проч. Онъ просто дурачится, а между тѣмъ, дурачество это неминуемо должно было случиться. Этотъ человѣкъ боленъ избыtkомъ силъ физическихъ и нравственныхъ; тѣ и другія въ немъ накоплялись, не имѣя проходовъ извергаться. И въ физическомъ и нравствен-

номъ отношении онъ остался дѣственникъ. Какъ въ физическомъ, если человѣкъ, достигнувъ тридцати лѣтъ не женился, дѣлается боленъ, такъ и въ нравственномъ. Для него даже лучше было бы, еслибы онъ въ молодости..... Но воздержаніе во всѣхъ разсѣяніяхъ жизни и плоти устремило всѣ силы у него къ духу. Онъ долженъ быть неминуемо сдѣлаться фанатикомъ,—такъ я думалъ съ самаго начала“ (Письма Гоголя въ изд. Шенрока III, 117).

Другой другъ семьи—знаменитая А. О. Смирнова тоже безусловно отрицательно отнеслась къ новому костюму Константина Сергеевича и совершенно не стѣснялась вставлять въ письма къ Сергею Тимофеевичу энергическіе соображенія: „платье замѣнить фракомъ“ (Переп. I, 281; объ этомъ же I, 284).

Патріотическій маскарадъ Константина Аксакова вскорѣ сталъ предметомъ литературного выщучиванія, и при томъ вовсе не со стороны враждебныхъ ему людей. Выпустилъ его, напримѣръ молодой Аполлонъ Григорьевъ въ водевилѣ, напечатанномъ въ „Пантонѣ“ (1845 г., X; см. объ этомъ въ Перепискѣ Ив. Аксакова I, 312); выпустилъ нѣсколько позднѣе гр. Сологубъ въ одномъ изъ своихъ водевилей. Тургеневъ, хотя и примыкалъ литературно къ Бѣлинскому и западнической журналистикѣ, былъ лично очень друженъ съ семействомъ Аксаковыхъ. И все-таки онъ не постыдился въ „Онодворцѣ Овсяниковѣ“ пародировать вѣшнее народничаніе Константина Аксакова въ лицѣ безуспѣшно подлаивающагося къ музыкамъ помѣщика Любозвонова.

Итакъ, всѣ только выщучивали. Никто не негодовалъ, никто не ругался, всѣ улыбались. А это-ли не самое тяжкое изъ всѣхъ испытаній партійной борьбы? C'est le ridicule qui tue, справедливо говорятъ французы.

И, повидимому, всеобщее осужденіе не осталось совсѣмъ безъ вліянія. Черезъ годъ постѣ облаченія въ русское платье, былъ моментъ, когда Константинъ Сергеевичъ собирался принять обычный обликъ московскаго дворянина. По крайней мѣрѣ въ одномъ изъ писемъ Ивана Аксакова изъ Калуги, 1845 года мы находимъ такое мѣсто:

„Прихожу къ А. О. (Смирновой), она меня спрашиваетъ:

знаю ли я la grande nouvelle— „Я хотѣть объявить ее вамъ“, отвѣчалъ я, подозрѣвая въ чемъ дѣло. Ей пишеть Скалонъ изъ Москвы, что Аксаковъ обрилъ бороду и надѣлъ фракъ. Забавно, что онъ сообщаетъ это, прежде, чѣмъ это случилось, потому что мы въ одно время получили письма, и мнѣ Вы пишете, что это имѣть случиться, а ей пишутъ, что уже случилось». (Пер. I, 305).

Дѣйствительно ли, однако, случилось? Едва ли. Несомнѣнно, конечно, что по временамъ Константина Сергеевича появлялся въ европейскомъ платьѣ и безъ бороды. На мастерскомъ диспутѣ своемъ (1847 г.) онъ, само собою разумѣется, былъ не въ запущѣ. Но столь-же несомнѣнно, что въ общемъ Константина Сергеевича свое „русское“ обличье сохранилъ до 1849 года, когда разыгралась по этому поводу характернѣйшая исторія.

Этотъ эпизодъ принадлежитъ къ числу яркихъ проявленій той болѣзнистой подозрительности, которую знаменуетъ семилѣтіе 1848—1855 г. Въ другомъ томъ настоящаго собранія будетъ данъ обстоятельный разсказъ о мрачныхъ годахъ, которые даже консервативный историкъ Де-Пуле назвать periodомъ „бѣшеной реакціи“. Черезъ семь лѣтъ, въ 1862 году, *официальная записка* назвала мѣропріятія 1848—1855 гг. въ области печати „цензурнымъ терроромъ“. Мы дальше увидимъ, что цензурный терроръ коснулся и Константина Аксакова. Сейчасъ-же намъ приходится знакомиться съ энергическими мѣропріятіями могущественнѣйшаго изъ правительствъ противъ излишней растительности на подбородкахъ вѣрнѣйшихъ изъ его подданныхъ.

Горьба съ чрезмѣрной растительностью на головѣ еще имѣла иѣкоторый смыслъ. Несомнѣнно, что и иѣсколько лѣтъ до 1848 г., и въ 1848—49 гг. длинные волосы были въ Европѣ своего рода вывѣской свободнаго образа мыслей. Но собственно борода ничего революціоннаго собою не знаменовала. Тѣмъ не менѣе въ 1849 году старикъ Аксаковъ и его старшій сынъ черезъ полицію были извѣщены о томъ, что они должны сбрить бороды и кстати уже снять и русское платье. Подробности этого пассажа изложены въ иѣсколь-

кихъ письмахъ Сергѣя Тимофеевича и Константина Сергѣевича къ Ивану Сергѣевичу. Приведемъ ихъ цѣликомъ, чтобы читатель изъ тона письма увидѣть, что передъ нами не водевиль, а настоящая драма.

24 Апрѣля 1849 г. Сергѣй Тим. пишетъ: „Завтра ѳдеть Поповъ, милый другъ Иванъ, и какъ онъ пріѣдетъ скорѣе почты, то завтра съ почтой писать не буду. Обо всемъ, что можетъ разсказать тебѣ Поповъ, я писать не стану, но разскажу о томъ, что собственно до насъ касается. Вслѣдствіе словъ Графа Орлова, сказанныхъ сначала для передачи прямо Хомякову, а потомъ—Самарину, для передачи всѣмъ намъ носящимъ бороды, я написалъ письмо къ Перфильеву, [важный чиновникъ полиціи], которое и посыпаю тебѣ. Я отослали его къ Перфильеву съ Сашей Воейк. при другомъ письмѣ, въ которомъ просилъ и училъ, какъ получить отвѣтъ удовлетворительный: впрочемъ, ученіе было безполезно. Перфильевъ, предварительно высказавъ свое доброе мнѣніе о всемъ нашемъ семействѣ и о своемъ давнишнемъ со мною знакомствѣ, подалъ мое письмо Графу. Орловъ, прочтя его вслухъ очень внимательно, нѣсколько времени подумавъ, сложилъ письмо, положилъ къ себѣ на столъ и сказатъ: „Скажите, пожалуста, Сергѣю Тимоѳеевичу, чтобъ онъ извинилъ меня, что я къ нему не писалъ. Въ Петербургѣ я не успѣлъ написать, а здѣсь не отѣчталъ на его письмо потому, что сынъ его давно долженъ быть въ Москвѣ (Перфильевъ не знать, здѣсь ли ты и потому не могъ ему возразить), и онъ знать отъ него всѣ подробности дѣла“. Потомъ принялъся хвалить тебя и Константина, про котораго прибавилъ, что онъ мечтатель, доходящій до излишества и крайности, но человѣкъ строгой нравственной чистоты, и вдругъ сказатъ: „Скажите пожалуста, съ чего они взяли, что есть какое-то гоненіе противъ русскаго платья? Увѣрите С. Т., что онъ можетъ быть совершенно спокоенъ. Мы очень хорошо знаемъ всю благонамѣренность Московскаго Русскаго направления. Вамъ не нужно увѣрють меня въ томъ, что дѣти такого отца, какъ С. Т., не могутъ имѣть дурного направления. Онъ 35 лѣтъ другъ съ Кавелинымъ, а это вѣрное ручательство. Ему нечего опасаться. Будетъ только цирку-

лярь отъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ ко всѣмъ губернскимъ предводителямъ, что Государю не угодно, чтобы русскіе дворяне носили бороды: ибо съ иѣкотораго времени изъ всѣхъ губерній получаются извѣстія, что число бородъ очень умножилось. На Западѣ бороды—знакъ, вывѣска извѣстнаго образа мыслей; у насъ этого иѣть, но Государь считаетъ, что борода будетъ мѣшать дворянину служить по выборамъ".

„25 Апрѣля. Понедѣльникъ. Очень жалѣю, что вчера занимался диктованіемъ къ тебѣ пустыхъ рѣчей Графа Орлова. Все это совершилъ вадоръ, обманъ и ложь, и вы съ Самариномъ ничего хорошаго ждать не можете и не должны. Вчера получили мы копію съ циркуляра относительно нашихъ бородъ. Сегодня я ѿѣзжилъ къ Перфильеву и напечаталъ въ немъ совершенно другого человѣка. Онъ отперся отъ всего того, что онъ говорилъ мнѣ отъ имени Орлова, говоря, что я не такъ понялъ, что онъ никогда не подразумѣвалъ бороды, а только русское платье, что онъ самъ считаетъ бороду при русскомъ платьѣ опаснѣе всѣхъ другихъ бородъ, что онъ соѣдѣтъ намъ обрѣться при первомъ извѣщеніи отъ полиції: ибо въ противномъ случаѣ можемъ имѣть большая непріятности. Когда я сказалъ, что напишу къ Орлову, чтобы онъ доложилъ Государю, то Перфильевъ возразилъ, что никогда Орловъ не будетъ докладывать Государю, а сдѣлаетъ мнѣ отвѣтъ непріятный. Однимъ словомъ сказать: мы простились съ Перфильевымъ не какъ пріятели, а какъ враждебныхъ мнѣній люди, сохраняющіе только наружно другъ къ другу уваженіе. Я сказалъ ему, что въ первый разъ вижу его такимъ, а онъ отвѣчалъ мнѣ, что всегда таковъ, какимъ долженъ быть.—Не могу рѣшить, что причиною такой перемѣны: полученные имъ наставленія отъ Графа Орлова въ другомъ духѣ, или то, что, по моей нескромности, все сказанное мнѣ Перфильевымъ отъ себя и отъ имени Графа Орлова сдѣлалось извѣстнымъ многимъ и вѣроятно дошло до Закревскаго. Сейчасъ получили письмо отъ тебя, милый другъ Иванъ, отъ 21 Апрѣля. Слава Богу, что ты здоровъ. Но я не слишкомъ надѣюсь на скорый твой пріѣздъ, иначе не стоило обо всемъ иномъ писать къ тебѣ. Попову я подробности о Перфильевѣ также не рассказывалъ, а сказалъ

просто, что онъ считаетъ это дѣло невозвратно рѣшеннымъ. Итакъ, конецъ кратковременному возстановленію русскаго платья, хотя не на многихъ плечахъ! Конецъ надеждъ на обращеніе къ русскому направленію. Все это было предательство. Опасались тронуть, думая, что насть много, что общество намъ сочувствуетъ; но увѣрившись въ противномъ, и въ душѣ все-таки не любя насть, хотя безъ всякой причины, сейчасъ рѣшились задавить наше направленіе. Мнѣ это ничего, я уже прожилъ мой вѣкъ, а тяжело мнѣ смотрѣть на Константина, у котораго отнята всякая общественная дѣятельность, даже хоть своимъ наружнымъ видомъ. Мы рѣшаемся закуториться въ деревню навсегда. Я сю минуту бы ускакать въ деревню, еслибы мнѣ не было крайности оставаться въ Москвѣ, чтобы уладить свои денежныя дѣла, чего скоро сдѣлать я никакъ не могу. Прощай, мой другъ!"

Константинъ Сергеевичъ пишетъ по тому же поводу: „26 Апрѣля. Милый Иванъ! Итакъ, Русскому Дворянину нельзя носить Русскаго платья!—Говорить, какъ несомнѣнное, что здѣсь полученъ циркуляръ отъ Министра В. Д., въ которомъ сказано, что Дворянинъ, какъ имѣющій право носить мундиръ, не можетъ носить бороды. Борода при Русской одеждѣ необходима; или лучше: борода есть часть Русской одежды; съ воспрещенiemъ бороды воспрещается и Русское платье. Признаюсь тебѣ, на меня находитъ мысль: не сказано-ли это о бородахъ западныхъ, которыхъ я самъ сильно не люблю, о бородахъ при платьѣ иностраннѣ—тогда другое дѣло; тогда это было бы скорѣе оправданіемъ Русской одежды; ибо въ циркулярѣ сказано, что Государь считаетъ недостойнымъ Русскаго Дворянина подражати западной модѣ. Совершенная истина. Но въ такомъ случаѣ, эти слова совершиенно уже не относятся къ тѣмъ, которые, какъ Отецъ<sup>1)</sup>, какъ я, не только не подражаютъ западной модѣ, но совершенно отъ нея отказались. Я бы такъ и понялъ циркуляръ, но въ окончаніи говорится о дворянахъ вообще, и

1) Не желая звать отца иностранными словами „папаша“, „папочка“, Константинъ Серг. передѣлать слово „отецъ“ въ ласкательное „отечинка“. С. В.

эти послѣднія слова заставляютъ думать, что и носяще Русскую одежду не изъяты отсюда.

Какъ скоро объявить намъ циркуляръ, мы, я и Отесинъка, исполнимъ немедля объявленное въ немъ приказаніе. Борода не составляетъ для насъ нравственнаго, религіознаго убѣжденія. Но тяжело будетъ это для меня и конечно еще тяже-  
лѣе для Отесинки; ибо въ его лѣта вдругъ измѣнить свою наружность, согласную съ его возрастомъ, образомъ жизни и мыслями, оскорбительнѣе какъ-то, чѣмъ въ мои средніе годы.

Наружность, одежда считается многими за бездѣлицу. Ты знаешь, милый Иванъ, что я думаю иначе. Наружность со-  
ставляетъ, такъ сказать, тонъ жизни, а *c'est le ton, qui fait la musique*; тонъ, строй жизни — главное. Вотъ почему Петръ, вводя иноzemное, кинулся на русскую одежду. Вотъ почему мода сдѣлалась проводникомъ всѣхъ западныхъ бредней, всѣхъ разнородныхъ грѣховъ, и *сервилизма и либерализма*<sup>1)</sup>. Вотъ почему и теперь освобожденіе отъ западной моды было бы, если не полнымъ, то весьма значительнымъ освобожде-  
ніемъ отъ вліянія западнаго зла. И наконецъ, вотъ почему не могу я повѣрить: чтобы Государь напѣть, въ которомъ такъ часто высказывается Русское чувство, который въ самомъ циркулярѣ выразилъ свое негодованіе противъ подражанія Западу, чтобы Государь напѣть былъ противъ Русской одежды. Нѣтъ! этого быть не можетъ!

Во всякомъ случаѣ, мы, я и Отесинъка намѣрены посту-  
пить такъ, какъ я уже написалъ тебѣ, то-есть: снять бороды и платье; ибо официальное сомнѣніе наше не рѣшено; но мы надѣемся, что оно разрѣшится въ самую радостную для Рус-  
ской души сторону, и Русская мысль Государя, въ самомъ циркулярѣ выразившаяся, разсѣеть всякое недоумѣніе.

Какъ хорошо, еслибы представить въ историческомъ очеркѣ роли, которая разыгрывали въ теченіи полутораста лѣтъ съ Петра въ Россіи,—платье нѣмецкое, иностранное,— и платье Русское. Здѣсь былъ бы видѣнъ тонъ и строй той и другой жизни. Много гнусныхъ попытокъ и измѣнъ пят-  
нашуть платье иностранное! О, сколько зла, сколько зла при-  
несъ намъ западъ! и сколько еще зла можетъ принести онъ,

<sup>1)</sup> Курсивы К. С. Аксакова.

если не прекратится его вліяніе, котораго одинъ изъ главныхъ проводниковъ—мода.

Прощай, милый братъ и другъ Иванъ: я высказать тебѣ свои мысли. Крѣпко обнимаю тебя; пріѣзжай скорѣе. Другъ и братъ Константина Аксаковъ<sup>4</sup>.

*Сергій Тим.* приписываетъ къ этому письму: „Нечего и говорить, что я вполнѣ раздѣляю все то, что пишетъ къ тебѣ братъ, милый другъ Иванъ. Писать сегодня не успѣваю, а напишу завтра; и къ сему же надѣюсь сегодня достать циркуляръ, который ходить уже по всей Москвѣ. Черезъ Предводителя мы получимъ его не скоро. Развѣ въ Москвѣ объявлять его дворянамъ черезъ полицію“.

*Серг. Тим. пишеть 27 Апрѣля.* „Милый другъ Иванъ! Письмо твое отъ 21 Апрѣля мы получили третьяго дня. Благодаримъ Бога, что ты здоровъ. У насть также все идетъ по прежнему. Но-настоящему это письмо не должно бы застать тебя въ Петербургѣ; но одинъ Богъ знаетъ, что у васъ тамъ дѣлается и когда мы тебя увидимъ. Все покрыто какою то неизвѣстностью, неясностью и сомнѣніемъ, которое теперь, относительно нашего русскаго платья и бороды, достигло высшей степени. Ты уже знаешь, что, когда разнесся слухъ по Москвѣ о намѣреніи правительства уничтожить моду носенія бороды, то я, имѣя полное право не причислять себя и Константина къ числу людей, щеголяющихъ только бородами, писалъ письмо къ Перфильеву и просилъ довести мои объясненія по сему предмету до графа Орлова: отвѣтъ былъ неточный, но успокойтельный. Теперь полученье въ Москвѣ циркуляра отъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ ко всѣмъ губернскимъ Предводителямъ дворянства, который, вѣроятно, ты знаешь и въ которомъ, по моему крайнему, добросовѣстному разумѣнію, нѣть ничего относящагося до меня и Константина: ибо насть, людей, ведущихъ борьбу противъ введенія западныхъ мыслей и обычаевъ и вслѣдствіе того надѣвшихъ русское платье съ бородою, нельзѧ обвинить въ „страсти подражанія западнымъ привычкамъ“ или „въ увлечениіи подражанію западнымъ затѣямъ, такъ называемой, моды“. Скорѣе можно предположить въ насть подражаніе старинѣ, тѣмъ временамъ, когда на Святой Руси и дворянне несли

русское платье. Но въ насть, ты очень хорошо знаешь, пѣть страсти подражанія; въ насть это простое желаніе, потребность русского сердца, носить свою родную, народную одежду, въ тѣхъ обстоятельствахъ жизни, когда она не противорѣчить обязанностямъ неслужащаго дворянина. Что же касается до тѣхъ случаевъ, когда мы были бы принуждены воспользоваться правомъ ношения мундира, то борода также можетъ быть снята, какъ и домашнее платье. Безъ всякихъ сомнѣній, г. Предводитель дворянства или полицейскія власти, приводя въ исполненіе циркуляръ, не будутъ смотрѣть съ моей точки зрѣнія и понимать такимъ образомъ слова циркуляра. Они предъявятъ намъ его къ исполненію, чего я ожидаю каждую минуту. Благоговѣя предъ волею Государя, мы готовы ее исполнить безъ ропота. Но мы не знаемъ, исполнимъ ли ее, если вмѣсто нечестивой западной бороды сбрѣмъ русскую, православную бороду? Согласись, что это будетъ даже комическое явленіе. По истинѣ не знаю, что дѣлать и къ кому обратиться для объясненія этого дѣла. Самый прямой путь, когда намъ будетъ объявленъ циркуляръ официально, обратиться съ симъ вопросомъ къ исполнительной власти, т. е.: къ Графу Закревскому, если получимъ предписаніе черезъ полицію или къ губернскому Предводителю, если получимъ предписаніе отъ него. Но и та и другая власть не захочетъ войти въ разсмотрѣніе нашихъ объясненій; первая же изъ нихъ можетъ поступить такъ грубо и круто, что я на старости лѣтъ не снесу незаслуженного оскорблѣнія и могу подвергнуть себя и свое семейство дурнымъ послѣдствіямъ. Я рѣшаюсь, исполнивъ то, чего отъ меня требовать будутъ, написать къ Министру Внутреннихъ Дѣлъ или къ Графу Орлову и просить ихъ повергнуть мои всеподданнѣйшія объясненія къ стопамъ Государя Императора. Многіе изъ порядочныхъ людей и вся умствующая посредственность думаютъ и говорятъ, что наружный видъ ничего не значитъ; они или не понимаютъ дѣла или лгутъ. Я по крайней мѣрѣ долженъ сознаться въ слабости, что сб҃рю мою почтенную сѣдую бороду съ сердечнымъ огорченіемъ. Миѣ даже будетъ совѣстно и стыдно какъ-то смотрѣть на всѣхъ меня окружающихъ. Константинъ, котораго миѣнія

на этот счетъ гораздо глубже и фанатичнѣе моихъ, готовится перенестъ это оскорбительное событие съ великодушною кротостью, которая изумляетъ и трогаетъ мое отцовское сердце“.

*Письмо С. Т. Аксакова начальнику тайной полиції Перфильеву отъ 13 апрѣля 1849 г.: „Вашему Превосходительству безъ сомнѣнія известно происшествіе, случившееся съ моимъ сыномъ, служащимъ въ Петербургѣ<sup>1)</sup>. Хотя я совершенно убѣжденъ въ его невинности, доказанной благополучнымъ окончаніемъ этого дѣла; но тѣмъ не менѣе я и всѣ мое семейство, не зная причины и опасаясь постѣдствій, остаемся въ беспокойствѣ и сомнѣніи. Къ этому присоединились слухи, достойные вѣроятія, что всѣмъ носящимъ бороды даны будутъ сначала сбрить ихъ, а въ случаѣ непринятія этого совѣта, и самое приказаніе. Не желая дождаться ни того, ни другаго, желая привести дѣло въ ясность, до отъѣзда Государя изъ Москвы, я покорѣйше прошу Ваше Превосходительство довести до свѣдѣнія Графа Орлова слѣдующія мои объясненія: я и старшій сынъ мой, нигдѣ неслужащіе, носимъ бороды вмѣстѣ съ русскимъ платьемъ. Борода составляетъ необходимую принадлежность русской одежды: сбрить бороды—значить скинуть русскую одежду. Мы оба, я уже по старости и болѣзни, а сынъ мой по расположению духа и ради ученыхъ занятій, надѣвъ русское платье вѣтѣдствіе задушевнаго убѣженія, тѣмъ самыми отказались отъ свѣтскаго общества и проводимъ жизнь уединенно, въ типинѣ семейнаго круга. Считаю ненужнымъ распространяться о томъ, что въ поступкѣ нашемъ нѣть ничего неблагонамѣреннаго, никакой посторонней мысли. Я льщу себя надеждою, что Ваше Превосходительство сами убѣждены въ искренности и правдѣ моихъ словъ и не откажетесь удосто-*

<sup>1)</sup> Въ мартѣ 1849 г. Иванъ Аксаковъ былъ арестованъ. Произошло это частично благодаря тому, что онъ былъ очень друженъ съ Юриемъ Самариномъ, тоже тогда подвергшемся нелѣпѣйшему аресту. А частично потому, что, по мазому обычая того времени, даже переписка Ивана Сергеевича съ родителями перехватывалась и тамъ были усмотрѣны разныя дерзости, для чиновника недозволительныя. Черезъ 4 дня его отпустили. С. В.

върить въ томъ Графа Орлова. Но если, по какимъ бы то ни было причинамъ, пребываніе въ Москвѣ русскаго дворяншина, въ рускомъ платьѣ, даже исключительно въ собственномъ домѣ, появленіе его на улицѣ и въ храмѣ Божіемъ, можетъ показаться предосудительнымъ, то мы съ сыномъ немедленно перѣдемъ въ деревню и не будемъ вѣзжать въ Москву до тѣхъ порь, пока мѣстное начальство того не позволить. Оставить навсегда Москву съ ея святынею, историческими памятниками, роднымъ и народнымъ значеніемъ, тяжело для русскаго сердца; но, если на то будетъ воля Государя Императора, какъ настоящіе русскіе люди, исполнимъ ее безъ ропота. Есть нравственнаго рода оскорблѣніе въ перемѣнѣ своего наружнаго вида! Путемъ цѣлой жизни дойдя до убѣждѣнія, что неслужащему русскому человѣку нужно ходить въ рускомъ платьѣ и съ бородой—вдругъ торжественно отъ него отказаться, обриться и переодѣться—тѣжелѣ, чѣмъ доживать свой вѣкъ въ деревенскомъ уединеніи".

Я увѣренъ, что Ваше Превосходительство, а равно и Его Сіятельство Графъ Орловъ, не оставите моихъ объясненій безъ вниманія, а меня безъ увѣдомленія о точной волѣ Государя Императора.

*Письмо С. Т. Аксакова Графу Алекс. Фед. Орлову.* Я имѣю честь доводить до свѣдѣнія Вашего Сіятельства, черезъ Генерала Перфильева, мои покорнѣйшія объясненія относительно носимаго мною и сыномъ моимъ русскаго платья съ необходимью при немъ бородою. Ваше Сіятельство приняли ихъ благосклонно и успокойтельно для насть. Нынѣ полученье въ Москвѣ циркуляръ отъ Г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ ю всѣмъ губернскимъ Предводителямъ дворянства о томъ, что дворянамъ не прилично носить бороды, въ которомъ по моему крайнему разумѣнію пѣть ничего относящагося до меня и моего сына; ибо насть—людей, питающихъ убѣжденія, противоположныя западнымъ обычаямъ и вслѣдствіе того нальвшихъ русское платье, нельзя обвинить въ „страсти подражанія западнымъ привычкамъ“ или въ „увлечениіи къ подражанію западнымъ ратъямъ такъ называемой моды“. Скорѣе можно предположить въ насть подражаніе старинѣ, тѣмъ временамъ, когда на Святой Руси и дворяне носили русское платье. Но

во мнѣ и сынѣ моемъ нѣть никакого стремленія къ подражанію; въ насъ это простое желаніе, потребность русскаго сердца, носить свою родную, народную одежду въ тѣхъ обстоятельствахъ жизни, когда она не противорѣчить обязанностямъ дворянинна, находящагося въ отставкѣ.—Ненужнымъ считаю объяснять, что, въ случаѣ приведенія въ дѣйствіе права ношения мундира, борода также можетъ быть снята, какъ и домашнее платье. Но, вѣроятно, не всѣ Гг. Предводители дворянства будутъ смотрѣть съ такой точки зрѣнія и понимать такимъ образомъ слова циркуляра. Очевидно предстаиваетъ вопросъ: могу ли я считать себя и сына моего, носящихъ одежду и бороду русскую, непринадлежащими къ числу людей, носящихъ при нѣмецкомъ платье бороду западную? Можетъ ли такое возраженіе быть принято въ уваженіе Предводителемъ дворянства или полицейской властью?

Обстоятельство, для другихъ ничтожное, можетъ быть очень важно для того, у кого нарушается задушевная мысль, угнетается сердечное убѣжденіе, а потому, если Вашему Сиятельству не угодно будетъ принять на себя разрѣшеніе моихъ сомнѣній, то я осмѣливаюсь покорнѣйше просить Васъ: повергнуть ихъ къ Августѣйшимъ стопамъ Государя Императора".

Издатели переписки прибавляютъ:

„Объясненія Сергія Тимофеевича ни къ чему не привели: онъ и Константина Сергеевича получили приказъ явиться въ полицію дать расписку о сбрьтіи бороды, что и было сделано Константиномъ, который послѣ того уже никогда не носилъ ни русского платья, ни бороды<sup>1)</sup>). А къ Сергію Тим., по болѣзни его, пришли взять подпись на домъ. Платье же свое, вродѣ запуна, Сергій Тимофеевичъ по болѣнности своей продолжалъ носить до конца своей жизни".

Глубокое волненіе, которымъ проникнута приведенная сей-часъ переписка, показываетъ, что мы впадемъ въ грубую ошибку, если отнесемся къ вознѣ съ русскимъ платьемъ, какъ къ мелочному вздору. Это крикъ раненаго сердца. Сергій Тимофеевичъ былъ глубоко-искренній человѣкъ и когда

<sup>1)</sup> Такъ-ли? На общепринятомъ портретѣ Галлерей Мюнстера, видимо относящемся ко второй половинѣ 1850-хъ гг., когда К. С. было подъ сорокъ, борода есть. С. В.

онъ пишетъ: „мы рѣшаемся закупориться въ деревнѣ на-всегда“, то тутъ слышится настоящая трагическая нота. И развѣ онъ не правъ, когда говоритъ: „тѣжело мнѣ смотрѣть на Константина, у котораго отнята всякая общественная дѣятельность, даже хотя своимъ наружнымъ видомъ“? По тому времени, когда опалѣвшая отъ безграничнаго могущества власть старалась подвести все подъ одинъ казарменный ранжиръ, нарушить Высочайше установленный шаблонъ было, несомнѣнно, проявленіемъ чего-то похожаго на общественность. А что для Константина Аксакова въ ишениѣ русскаго платья, дѣйствительно, быть какою-то суррогатъ общественности, видно изъ того, что позднѣе, во второй половинѣ 1850-хъ годовъ, когда открылась возможность настоящей общественной дѣятельности, онъ не сдѣлалъ ни малѣйшей попытки снова нарядиться въ запунь и мурмолку. Онъ произноситъ замѣчательныи рѣчи, пишетъ весьма замѣчательныи публицистическія статьи, но уже отъ маскараднаго эффекта русскаго платья отказывается навсегда.

Конечно, очень характерна для славянофильства та „великодушная кротость“, съ которой, по выражению Сергѣя Тимофеевича, Константина Аксаковъ „готовился перенести“ это „оскорбительное событіе“. И готовился, и перенесъ безъ малѣйшаго сопротивленія. Еще старикъ-отецъ волновался и, какъ мы читали выше, собирался что-то такое сдѣлать, что могло бы повести для него и для „семейства“ къ „дурнымъ послѣдствіямъ“. А сынъ ничѣмъ не реагировалъ.

Но тутъ мы уже имѣемъ дѣло съ тою главною особенностью славянофильства, благодаря которому это во многихъ отношеніяхъ оппозиціонное движение было политически никако и прошло безслѣдно для исторіи освобожденія Россіи отъ гнета абсолютизма. Теорія Константина Аксакова предоставляла „всю полноту власти“ правительству, хотя бы это было правительство Николая I-го, а себѣ отмежевало „свободу духа“. Въ данномъ случаѣ это было свободой безмолвнаго страданія. Иванъ Аксаковъ, когда эпопея сбритія, по Высочайшему повелѣнію, бороды закончилась, пишетъ:

„Радъ, что вы уѣзжаете въ деревню, очень радъ этому и за Константина, потому что тамъ отдохнеть его *больная и грустная душа*. (Пер., II, стр. 145).

V.

## Диссертација. Театральныя пьесы. „Московскій Сборникъ“.

Въ 1847 г. Константина Аксаковъ, послѣ длиннаго ряда лѣтъ лѣнивой работы, статья, наконецъ, магистромъ. Дальше будетъ сказано о диссертациі по существу. Пока отмѣтимъ виѣшнюю исторію ея, тѣ цензурныя мытарства, хотя, казалось-бы, что могъ такого сказать Аксаковъ о Ломоносовѣ! Нашелся, однако, въ ней „кануперъ“, какъ выражается цензоръ въ Некрасовской „Газетной“. Гордившійся своею просвѣщенностью и покровительствомъ наукѣ попечитель гр. Строгоновъ, писать 3 января 1847 г. министру нар. просв. Уварову:

,Въ декабрѣ мѣсяцѣ 1845 года одобрено было къ напечатанію соображеніемъ Московскаго университета, писанное на степень магистра, разсужденіе кандидата Аксакова подъ заглавіемъ: *Ломоносовъ въ Истории Русской Литературы и Русского языка*. Книга эта нынѣ вышла изъ печати, и одинъ экземпляръ оной доставленъ ко мнѣ самимъ авторомъ. По разсмотрѣніи этого сочиненія я нашелъ въ немъ многія мысли и выраженія, отъ страницы 44 до 60, весьма рѣзакія и неприличныя, относящіяся до Петра Великаго и политическихъ его преобразованій. Можетъ быть, ученое содержаніе книги и допускаетъ такого рода сужденія о дѣйствіяхъ Великаго Преобразователя,—сужденія, выраженные въ формѣ не для всякаго доступной, но тѣмъ не менѣе я призналь ихъ съ своей стороны вовсе неумѣстными и непозволительными въ диссертациі, назначеннай для публичнаго диспута;

почему и предписалъ ректору Московскаго университета, пристановивъ продажу оной, подвергнуть ее новой цензурѣ декана I-го отдѣленія филологическаго факультета и выпустить при этомъ весь отдѣлъ, заключающійся отъ 44 до 60 страницы, а также предложилъ и адѣшнему цензурному комитету, чтобы ни въ одномъ изъ выходящихъ въ Москвѣ повременныхъ изданій не дозволять никакихъ разборовъ помянутаго сочиненія. Для предупрежденія же могутнхъ дойти до свѣдѣнія вашего сіятельства какихъ-либо извѣстій объ этой книгѣ отъ посторонняго вѣдомства, я считаю долгомъ представить при семъ на ваше благоусмотрѣніе одинъ экземпляръ оной, съ тѣмъ, что если вы найдете нужнымъ сдѣлать относительно ея какія-либо новыя распоряженія, то я буду ожидать объ этомъ вашего, милостиваго государя, увѣдомленія. Вмѣстѣ съ симъ, имѣя въ виду направлениe нѣкоторыхъ С.-Петербургскихъ журналовъ, готовыхъ воспользоваться выходомъ подобнаго рода сочиненій, чтобы толковать и объяснять его къ соблазну другихъ, я полагаю бы съ своей стороны необходимымъ, если-бы противъ этого прияты были такія же мѣры, какія предложены мною Московскому цензурному комитету". (Барсуковъ, Жизнь Погодина, т. VIII, 343).

Неожиданныя приидрики къ книгѣ, пропущенной факультетомъ, членами котораго были такие столпы рабской благона-мѣренности, какъ Погодинъ, Шевыревъ, Давыдовъ, настолько были неожиданны, что Иванъ Аксаковъ даже сдѣлалъ предположеніе, что графа Строгонова "вѣрно кто-нибудь подъучиваетъ" (Пер., I, 406). На самомъ дѣлѣ, конечно, все это дѣжалось отъ собственнаго усердія.

6 марта 1847 г. Константина Сергеевича защищала очищенную отъ скверны диссертациою свою.

"По свидѣтельству очевидцевъ, большая аудиторія въ новомъ зданіи университета, где происходила диспутъ, была полна. Здѣсь собрался "весь московский умъ обоихъ половъ". Диспутъ былъ живъ и разнообразенъ. Первые возраженія были сдѣланы Шевыревымъ, деканомъ философскаго факультета; они касались языка церковно-славянскаго. Споръ продолжаемъ быть Бодянскимъ, отъ котораго, какъ замѣчено, на диспутахъ всегда услышинъ дѣльный, фактическія и

оригинальная замѣчанія". Возражали также Катковъ, Буславьевъ и Соловьевъ. Въ заключеніе Шевыревъ выразилъ мнѣніе факультета и свое собственное о диссертациі, и Аксаковъ возведенъ быть на степень магистра<sup>4</sup>. (Барсуковъ, Жизнь Погодина, VIII, стр. 344).

Въ цѣлыхъ воспоминаніяхъ о Константинѣ Аксаковѣ, Бицьна (Н. М. Павлова), разсказывается, со словъ проф. Ф. М. Дмитріева (впослѣдствіи попечителя Спб. округа), слѣдующій характерный эпизодъ диспута:

„На всѣ возраженія Константина Сергеевича отвѣщать живо и ничего не уступать изъ собственныхъ тезисовъ. Но послѣ одного сдѣланнаго ему замѣчанія, магистрантъ вдругъ воскликнулъ: „ахъ, какое дѣльное возраженіе!“, и это съ такой дѣтской искренностью и съ такимъ невольнымъ движениемъ руки, поднесенной къ волосамъ, что вся аудиторія разразилась смѣхомъ. Ясно было, что не личное самолюбіе, а самый предметъ спора занимать диспутанта“ („Русск. Архивъ“ 1885 г., № 3).

Степень магистра могла-бы доставить Аксакову каѳедру. Объ этомъ еще до защиты диссертациі старался Погодинъ, но надо было Ѳхать въ Киевъ, и это не упбалось Константину Сергеевичу, безумно привязанному къ дому, где ему такъ мило и беззаботно жилось и где „всѣ ему поклоняются“, какъ отмѣчаетъ въ своемъ дневникѣ Погодинъ. Погодинъ, всегда не любившій Константина Аксакова, не выносившій его авторитетнаго тона и упрекавшій его, совсѣмъ незаслуженно, въ суетности, объяснялъ отказъ Ѳхать въ Киевъ честолюбіемъ: „не хочетъ, желаетъ сказать первое молодое слово въ Москвѣ и несетъ обѣ пей дичь“ (Барсуковъ, VIII, стр. 109). Это объясненіе безусловно невѣрно. Сказать „молодое слово въ Москвѣ“ Константину Сергеевичу, конечно, хотѣлось, [но главная причина нежеланія Ѳхать въ Киевъ просто въ отсутствіи всякой активности. Вѣдь вотъ въ 1849 г. Аксакову, видимо, представлялась возможность стать профессоромъ въ Москвѣ, но и то ничего не вышло и, кажется, по винѣ Константина Сергеевича. По крайней мѣрѣ Иванъ пишетъ: „завтрашній день въ Петербургѣ, вѣроятно, послѣдуетъ назначеніе новаго министра. Кто-то будетъ? Если Строгоновъ, и если онъ дѣйствительно таковъ, какъ вы пи-

шете, то съ Богомъ! Пусть Константинъ беретъ кафедру. Я отъ всей души благословляю его на этотъ подвигъ; это единственный родъ службы, ему приличный“ (Пер. II, 261). Если „пусть беретъ“, значить предлагали.

Послѣ защиты диссертаций важнѣйшимъ интересомъ Константина Сергеевича явилась его драма „Освобожденіе Москвы въ 1612 году“. Мы тоже еще вернемся къ ея содержанію, а пока отмѣтимъ ея цензурныя мытарства.

Театръ, и притомъ въ формѣ наименѣе вяжущейся съ представленіемъ о главарѣ и знаменоносцѣ литературно-политической партии, давно привлекалъ Аксакова. Онъ сочинилъ въ 40-хъ годахъ нѣсколько водевилей. Сочинилъ и поставилъ на сценѣ. Успѣхъ былъ средний. Въ первомъ изъ этихъ водевилей— „Водоемъ“, поставленномъ, кажется, въ 1844 г. было кое-что, въ чёмъ сказалось и credo автора, но это не особенно интересовало публику. По крайней мѣрѣ, даже Языковъ въ то время ожесточенно и непристойно воевавшій съ „западными“ писать брату своему Александру:

„Водоемъ“ К. Аксакова былъ представленъ, но, кажется, не произвелъ ожиданного дѣйствія. Публики было много, потому что дескать цѣны были самыя незначительныя. Куплеты о Питерѣ (Петербургъ тамъ названъ „городомъ съ именемъ чужимъ“) были сказаны хорошо, а о Москве очень плохо: вяло и невыразительно. *Хлопали и вызывали только свои, нани*. („Русск. Старина“ 1903 г., т. 113, стр. 538).

„Водоемъ“ и напечатанъ не былъ, и никакихъ слѣдовъ о постановкѣ его нѣть въ столь обстоятельной семейной перепискѣ Аксаковыхъ—происшествіе, значить, не очень большое. За то довольно много говорится въ перепискѣ о водевилѣ „Почтовая карета“, представленномъ 24 апрѣля 1845 г. По словамъ Ивана, дававшаго отчетъ родителямъ (они были тогда въ своей подмосковной—Абрамцевѣ) Константинъ „можетъ быть вполнѣ доволенъ, да ужъ и доволенъ“ (Переп., I, 316). Водевиль, однажды, всего на всѣго шель 2 раза.

Водевилямъ Константинъ „Аксаковъ, не заблуждавшійся насчетъ художественныхъ силъ своихъ, не придавалъ значенія. На „Освобожденіе-же Москвы“ онъ смотрѣлъ серьезно, придавая ему значеніе политического profession de foi.

Но разъ политика, неизбѣжны были цензурныя гоненія.

Помятая уже предварительно (ср. Переписку, т. I, стр. 439), она была снята послѣ первого-же представлѣнія, 14 декабря 1850 г. Какъ произведеніе литературное, драма провалилась совершенно. Когда она появилась въ печати (1848 г.), Погодинъ записалъ въ свое мѣсячное дневникъ: „Такая дрянь, что изъ руки вонъ“ (Барсуковъ, IX, 458). Погодинъ счелъ даже нужнымъ напечатать крайне-отрицательную рецензію въ свое мѣсячное журналь („Москвитянинъ“, май 1848 г.), настолько отрицательную, что порвалась 20-лѣтняя тѣснѣйшая дружба съ Аксаковскими домомъ. Ослѣпленный любовью къ сыну Сергею Тимофеевичу увидѣлъ въ отзывѣ Погодина исключительно результаты „давно затаенной злобы на Константина“ (Барсуковъ, IX, 461). Но слабая драма столь-же мало понравилась и другимъ критикамъ.

Однако, въ драмѣ, несомнѣнно, было что-то такое, что заставляло. Она нравилась не только влюбленному въ сына отцу, но и Ивану, который чрезмѣрно снисходительностью совсѣмъ не отличался. Очень нравилась она простымъ людямъ, нѣкоторымъ интеллигентнымъ русскимъ купцамъ напр., некоторымъ Иванъ давалъ читать драму брата. И даже человѣкъ другого лагеря—Соллогубъ многое въ ней хвалилъ. Иванъ писалъ родителямъ въ іюнѣ 1848 г.: „Соллогубъ въ восторгѣ отъ пятаго акта драмы Константина, но утверждаетъ, что это не драма. Драма или не драма, это споръ въ словахъ, ибо надо знать, что разумѣть подъ словомъ драма; я считаю, что это драма, но Соллогубу однажды мнозе въ ней осталось недоступно; онъ говорить также, что Константинъ взялъ только одну хорошую сторону русскаго народа, а не всѣ, и потому драма немножко блѣдна и пр. и пр.“ (Пер. I, 455).

Несомнѣнно заинтересовала она и зрителей тѣмъ, что, какъ никакъ, направляла мысль въисторону вопросовъ государственно-политическихъ. И вотъ этого-то интереса и было достаточно, чтобы власти предержащія заволновались. О вопросахъ государственныхъ въ то время простому обывателю не полагалось размышлять совсѣмъ, хотя бы въ направленіи самомъ благонамѣренномъ. На то было установлено начальство. И тотчасъ-же послѣдовало соотвѣтственное донесеніе въ Петербургъ, въ результатахъ чего драма Аксакова, послѣ одного представлѣнія, была снята со сцены:

„Новый попечитель Московский, В. И. Назимовъ, счелъ долгомъ обратить на нее вниманіе кн. П. А. Ширинскаго Шихматова. „Не могу умолчать“, писалъ онъ, „предъ вашимъ сіятельствомъ, что драма Аксакова, хотя и написана въ духѣ православія, однако, содержитъ въ себѣ такія мысли, которыя легко могутъ возбудить въ простомъ народѣ враждебное расположение противъ высшихъ сословій и вообще подать поводъ къ превратнымъ толкованіямъ. Сочиненіе сие, по моему мнѣнію, не должно быть допускаемо къ печатанію и тѣмъ менѣе являться на сценѣ“. Вслѣдствіе этого кн. Ширинскій-Шихматовъ пожелалъ познакомиться съ сочиненіемъ и просилъ Назимова прислать ему самую книгу. Исполнивъ это желаніе, Назимовъ писалъ министру: „Во время представлениія этой драмы на Московской сценѣ 14 Дек. 1850 года, былъ въ театрѣ большой шумъ. На всѣ возгласы актера при порицаніи бояръ рабѣ кричали: правда, правда. Особенно слова *гласъ народа — гласъ Божій* вызывали сильныя рукоплесканія и громогласное одобреніе райка“. (Барсуковъ, т. IX. стр. 463).

Но еще гораздо болѣе тяжкія цензурные препятствія, и на этотъ разъ даже непреодолимыя, встрѣтились К. Аксакову въ началѣ 50-хъ годовъ при печатаніи нѣкоторыхъ изъ своихъ статей въ „Московскомъ Сборникѣ“.

Издание „Моск. Сборника“ было предпринято славяно-фильскимъ кружкомъ еще въ 1846 г. Въ вышедшемъ тогда томѣ К. Аксаковъ, подъ псевдонимомъ *Имрехъ*, помѣстилъ обширную критическую статью, съ которой мы познакомимся дальше. Когда въ 1852 г. Сборникъ возобновился, Аксаковъ далъ для него статью „О родовомъ бытѣ у славянъ вообще и у русскихъ въ частности“. Но приготовленная имъ для слѣдующаго тома „Моск. Сборника“ (1853 г.) статья о „Богатыряхъ князя Владимира“ своевременно свѣта не увидѣла и была напечатана только въ новое царствованіе. Вызванная ею буря не должна насъ удивить, если вспомнить эпоху, къ которой она относится. И 1853 годъ принадлежитъ къ знаменательному семилѣтію 1848—1855 гг., такъ характерно завершающему собою дoreформенную эпоху. Мы знаемъ уже, что революціонный ураганъ, пронесшійся надъ Европою 1848 года, но оставившій совершенно въ сторонѣ Россію, вызвалъ, тѣмъ не менѣе, у насъ рядъ мѣръ, которыя уже чрезъ нѣсколь-

ко лѣтъ, когда новое царствование замѣнило недовѣріе къ общественнымъ силамъ вѣяніями иного характера, казались невѣроятными до анекдотичности. Не станемъ здѣсь сколько-нибудь подробно останавливаться на подробностяхъ этого страшнаго семилѣтія въ виду того, что о немъ еще будеть обстоятельная рѣчь въ настоящемъ собраніи. Отмѣтимъ только дѣлъ, три детали эпохи „Цензурнаго террора“, непосредственнокасающіяся Константина Аксакова. Черезъ поліцію заставили его сбрить „русскую“ бороду и снять „русскую“ одежду. Чрезъ цензуру рѣшительнѣйшимъ образомъ запретили ему проявлять свое „русское“ міросозерцаніе.

Когда въ 1852 году московскіе славянофилы издали I-й томъ возобновленнаго „Московск. Сборника“, онъ болѣе или менѣе благополучно миновалъ цензурные рифы. Но все-таки тогданѣй министръ народнаго просвѣщенія кн. Ширинскій-Шихматовъ обратилъ вниманіе на „предосудительность направленія Сборника“, находя, что „хотя народность и составляеть одну изъ главныхъ основъ нашего государственного быта, но развитіе понятія о ней не должно быть одностороннее и безусловное; иначе безотчетное стремленіе къ народности можетъ перейти въ крайность и вмѣсто пользы принести существенный вредъ“. Въ виду этого приказано было ко II-му тому Сборника отнести по возможности „внимательно“. Результатомъ такого вниманія было то, что представленный на слѣдующій годъ II-й томъ былъ цѣлкомъ запрещенъ. По отношенію къ Константину Аксакову, московскій цензурный комитетъ находилъ, что онъ,

„подобно Хомякову, старается отыскивать въ сказкахъ и пѣсняхъ признаки того же небывалаго въ Россіи общиннаго порядка дѣлъ. Но кроме того К. Аксаковъ указываетъ на мѣста, гдѣ Соловей Разбойникъ называется великаго князя воромъ, богатырь Тугаринъ Змѣевичъ цѣлуетъ великую княгиню въ уста сахарныя, а Алеша Поповичъ чуть не называетъ ее сукко. Еще въ одной пѣснѣ говорится, что Владимиръ, желая отбить жену у богатыря Данилы, отправилъ его на явную смерть и потому повелѣль убить его; но Данило предупредилъ его и самъ лишилъ себя жизни. К. Аксаковъ прибавляетъ къ этому: „Когда сила побѣждена силою, когда нѣть болѣе ея оскорбительнаго притязанія, Данило говорить: видно я стала неугоденъ князю, и убиваетъ себя; въ этихъ словахъ вовсе не видать ни подобострастія, ни рабскаго чувства; отношения богатырей къ великому князю были основаны на свободной привязанности“ Сверхъ того К. Аксаковъ обращаетъ вниманіе на пѣсню, въ которой

описывается нашествие на Киевъ татарскаго царя Калина. Хотя это и непріятельскій царь, но все-таки неприлично, что сочинитель выписываетъ изъ пѣсни слѣдующіе стихи:

Собака, проклятый ты, Калинъ, царь  
Васъ-то, царей, не бывать, не казнить,  
Не бывать, не казнить и не вѣшать.

Пѣсни и сказки, на которыхъ К. Аксаковъ основалъ статью свою, большую частью, напечатаны: всѣ читали ихъ, относя безцеремонные поступки богатырей къ простотѣ древнихъ правовъ или къ вымыслу составителей сказокъ; одинъ К. Аксаковъ могъ вывести изъ нихъ *небывалымъ въ Россіи*—общину, вольницу и дерзаетъ богатырей ставить противъ великаго князя» (См. „Русск. Стар.” 1875 года № 10).

Кромѣ статьи о богатыряхъ, К. Аксаковъ помѣстилъ въ Сборникъ два стихотворенія. По мѣнію цензора, выступившаго въ роли эстетического критика, стихотворенія „ничтожны по содержанию, но и въ нихъ есть непонятныя мысли и говорится о человѣкѣ, котораго духъ свободенъ и открыть“. Такая „темнота“ дѣлала для цензора „смыслъ стихотвореній подозрительнымъ“.

Наложенiemъ цензорскаго veto дѣло не ограничилось. По разсказу редактора Сборника — Ивана Сергеевича Аксакова („Рус. Арх. 1878 г. № 11), не только Сборникъ въполномъ составѣ былъ запрещенъ (по личному объясненію, данному издателю— „не столько за то, что въ немъ сказано, сколько за то, что умолчано“), но „вмѣсть съ нимъ состоялось повелѣніе: всѣмъ главнымъ участникамъ: братьямъ Аксаковымъ, Ки. Черкасскому, Хомякову, Кирѣевскому не иначе печатать свои статьи, какъ проведя ихъ чрезъ Главное Управление цензуры въ Петербургѣ“. Послѣднее, по свидѣтельству Ивана Аксакова, „равнялось запрещенію“.

А въ довершениe всѣ сотрудники Сборника, въ томъ числѣ К. Аксаковъ, были отданы подъ полицейскій надзоръ. Вѣдомства, наблюдавшія за образомъ мыслей, никакъ не могли отличить благонамѣренійшаго народничанія отъ оппозиціоннаго демократизма. Такъ велись были страхи предъ всякою духовною самостоятельностью. „Мысль и ея движение подозрительны“—превосходно формулировалъ Хомяковъ правительственныйную политику 1848—1855 г. Надо было только повиноваться.

— 2 —

VI.

**Н. Аксаковъ и новое царствованіе. „Молва“.**

Новое царствованіе благодѣтельнѣйшимъ образомъ подѣйствовало на Константина Аксакова, которому всегда нуженъ былъ какой-нибудь виѣшній толчокъ. Годы отъ 1855 до 1859, когда смерть отца повела за собою и смерть сына, являются кульминаціоннымъ пунктомъ духовной жизни Константина Сергѣевича. Онъ выдвигается какъ общественный дѣятель, какъ публицистъ и много работаетъ надъ своими филологическими изслѣдованіями. Къ тому же, въ связи съ внезапнымъ расцвѣтомъ литературной дѣятельности Сергея Тимофеевича, и вся семья въ эти годы жила очень напряженно. Какъ разъ материальныя-то обстоятельства были весьма печальныя, и нѣкогда большое состояніе непрактичнѣйшаго Сергея Тимофеевича почти растаяло. Но такъ велика была радость, которую доставляла жившей единой жизнью семье неожиданно-громадный успѣхъ „Семейной хроники“, что всѣ какъ-то не обращали вниманія ни на предстоящую нищету, ни на надвигавшуюся слѣпоту „отесинки“. Точно свѣтильникъ, который часто особенно ярко вспыхиваетъ именно передъ тѣмъ, какъ погаснуть совсѣмъ, и благословленный домъ Аксаковыхъ за 2—3 года передъ тѣмъ, какъ совершенно разрушиться жить особенно-повышенной жизнью.

На аренѣ общественной дѣятельности Константинъ Сергѣевичъ выдвинулся своею запиской, поданной въ 1855 г. молодому государю и какъ застольный ораторъ. Съ содержаніемъ замѣчательной записи читатель познакомится далѣе,

здѣсь-же отмѣтимъ, что это была первая изъ политическихъ записокъ, которыми, вообще, богаты первые годы царствованія Александра II, когда печальный урокъ Севастопольского разгрома заставилъ власть прислушаться къ „голосу земли“. Число частныхъ записокъ 1855—58 гг. очень значительно, но всегда драгоцѣнъ починъ, и вотъ честь этого почина всецѣло принадлежитъ Константину Аксакову. Онъ весь горѣль пламенными надеждами и черезъ графиню Блудову нашелъ путь передать записку по назначению.

Какъ общественно-политический застольный ораторъ периода ожиданія реформъ Константина Аксаковъ тоже выдвинулся одинъ изъ первыхъ, а пожалуй что и самый первый. Въ то время обѣды и спичи были единственнымъ проявленіемъ общественной жизни. По мѣрѣ того, какъ росло общественное возбужденіе медового мѣсяца эпохи великихъ реформъ, число обѣдовъ общественного характера все увеличивалось, и ихъ устраивали со специальную цѣлью произвести资料 of his kind. Но собственно, тотъ обѣдъ, на которомъ Константина Аксаковъ произнесъ свой первый общественно-политический тостъ, не имѣть никакихъ демонстративныхъ задачъ. Это былъ обѣдъ чисто-артистической, праздновался пятидесятилетній юбилей Щепкина. Вотъ какъ описываетъ его Сергѣй Тимофеевичъ:

„26 ноября (1855) данъ былъ Щепкину обѣдъ въ залѣ живописи и ваянія. Посѣтителей было до 200, и въ томъ числѣ нѣсколько лицъ почетныхъ, то-есть: Перфильевъ, Назимовъ, Трубецкіе, Казнacheевъ и проч. Константинъ прочелъ мою статью, сидя за особымъ столомъ вмѣстѣ съ Щепкинымъ который плакалъ и смѣялся. Слушатели, разумѣется, разсыпались рукоплесканіями. Потомъ присланный изъ Петербурга депутатъ, актеръ Бурдинъ, прочелъ прекрасное поздравление Щепкину отъ Петербургскихъ артистовъ. За обѣдомъ было много спичей. Барсовъ, изъявленіемъ своей благодарности, заставилъ всѣхъ плакать. Погодинъ провозгласилъ тостъ за мое здоровье, который быть принялъ съ такимъ единодушнымъ восторгомъ, что Константинъ съ бокаломъ вошелъ въ средину стола“ и произнесъ нѣсколько благодарственныхъ словъ.

Какъ мы видимъ, въ этой обстановкѣ нѣть нималѣйшихъ эле-

ментовъ общественности. Чествуютъ знаменитаго актера въ присутствіи такихъ высокоофициальныхъ лицъ, какъ генераль отъ полиції Перфильевъ и попечитель Назимовъ, читаются чисто-артистическую характеристику Сергея Тимофеевича и затѣмъ дѣлаются овацио автору характеристики. Сынъ благодарить. Гдѣ тутъ почва для общественности? Но когда что-нибудь переполняетъ человѣка, это часто выражается совершенно непроизвольно, и несомнѣнно неожиданно даже для самого оратора, отвѣтъ его принялъ такую форму:

„Тость для меня дорогъ. Благодарю васъ отъ имени моего отца, благодаря всему душою за ваше сочувствіе. Выраженіе общественнаго мнѣнія драгоценныи, и отецъ мой ставить его выше всего. Я не могу лучше отвѣтать на вашъ тость, столь для меня драгоценныи, какъ предложивъ тость: *въ честь общественнаго мнѣнія!*“ (Переписка III, 215).

Нужно перенестись въ психологію времени, когда всякое выраженіе общественнаго мнѣнія, даже самое благонамѣренное, даже рабское, оскорбляло власть, чтобы понять впечатлѣніе тоста. Вѣдь въ 1850 году было отклонено желаніе дворянства торжественно отпраздновать 25-лѣтній юбилей царствованія Николая, въ 1854 году газетамъ было воспрещено *восхвалять* дѣйствія Генераль-Адмирала!

И впечатлѣніе тоста Константина Аксакова было потрясающее. Сначала всѣ оцѣнили—иѣсколько секундъ, продолжалось молчаніе, а потомъ все „разразилось крикомъ и громомъ рукоплесканій. Всѣ встали съ своихъ мѣсть, чокались, обнимались, незнакомые знакомились. Ни музыкой, ни тостомъ въ честь искусства и театра, не могли унять хлопанія и крики“. (Переписка, III, 215) Но, конечно, самымъ яркимъ показателемъ эффекта было то, что „тость Константина быть запрещена для печати, по настоянію гр. Закревскаго“.

Обѣдь въ честь Щепкина, такимъ образомъ, сталъ предтечою банкетовъ уже прямо-общественного характера, которые начались съ 1856 г., когда унизительный миръ настолько ослабилъ обаяніе власти, что она вынуждена была прислушиваться къ тому самому ненавистному ей „общественному мнѣнію“, въ честь которого Константина Аксаковъ поднялъ свой бокалъ. На всѣхъ банкетахъ такого рода Аксаковъ всегда игралъ видную роль.

Славную страницу биографии Константина Аксакова представляет собою его участие въ „Молвѣ“ 1857 года.

Съ наступлениемъ новаго царствованія опальныя славянофилы, на которыхъ, какъ мы знаемъ, было воздвигнуто такое гоненіе изъ-за „Москов. Сборника“, получили возможность основать свой собственный органъ—„Русскую Бесѣду“. Однимъ изъ ближайшихъ сотрудниковъ сталъ, конечно, Константина Аксаковъ. Но это было изданіе довольно тяжеловѣсное. „Рус. Бесѣда“ выходила всего 4 книгами въ годъ, и назначение ея было развивать основные принципы и вообще обосновывать теоретическую часть славянофильства.

А Константину Сергеевичу, въ которомъ новое царствование вызвало такой приливъ писательской и общественной энергіи, хотѣлось вести энергичную партизанскую войну на два фронта: и со старымъ строемъ, и съ западниками. И вотъ была основана еженедѣльная „Молва“. Издателемъ и редакторомъ газеты былъ молодой юристъ С. М. Шпилевскій, впослѣдствіи профессоръ и директоръ Ярославскаго Лицея. Но душою дѣла былъ Константина Аксаковъ. Ему принадлежать почти всѣ передовая статьи, а сверхъ того онъ напечаталъ въ „Молвѣ“ рядъ стихотвореній, библіографическихъ замѣтокъ и пр. Злополучная статья „Публика и Народъ“, которая вызвала такую бурю въ извѣстныхъ кругахъ, также принадлежитъ ему. Въ библіографическомъ приложеніи я привожу полный списокъ статей Аксакова изъ „Молвы“, либо подписаныхъ его именемъ, либо обозначеныхъ инициалами, либо подписаныхъ псевдонимомъ *Имрекъ*. Но едва-ли списокъ полонъ. Видимо, Аксакову принадлежитъ не мало и мелкихъ анонимныхъ замѣтокъ.

Статьи Аксакова въ „Молвѣ“ по живости изложенія, по ясности и яркости мысли принадлежать къ лучшей части литературнаго наслѣдства его. Тѣмъ не менѣе ихъ мало замѣтили и въ 1857 году, и позже. Я, конечно, говорю не о нашумѣвшей статьѣ „Публика и народъ“, а объ остальныхъ статьяхъ. До такой степени мало о нихъ говорили, что когда въ 1900 году редакція „Русскаго Архива“ пришла благая мысль перепечатать передовыя статьи ставшей великою библіографическою рѣдкостью „Молвы“, то она назвала эти статьи: „Ученые Славянофиловъ по статьямъ газеты

„Молва“ 1857 года“ и снабдила ихъ такимъ примѣчаніемъ:  
Статьи эти безъ подписи. Можно думать, что писать ихъ  
К. С. Аксаковъ; но въ собраніи его сочиненій нѣтъ”.

Конечно, это „можно думать“ есть редакціонный промахъ,  
потому что въ № 19 „Молвы“ есть весьма опредѣленное за-  
явление, подписанное К. Аксаковымъ:

„Нѣкоторые, на основаніи литературныхъ слуховъ при-  
числяютъ меня къ редакції Молвы. Считаю своею обязан-  
ностью объявить, что я не принадлежу къ редакціи.—По-  
стоянное сотрудничество (курсивъ А-ва) мое въ газетѣ огра-  
ничивается отдѣломъ передовыхъ статей. Передовыя статьи,  
не имѣющія никакой подписи принадлежать мнѣ“.

Итакъ должно, а не можно приписать передовицы „Молвы“  
Конст. Аксакову, и предъ нами простой недосмотръ почтен-  
наго редактора. Но недосмотръ чрезвычайно характерный.  
П. И. Бартеневъ бытъ очень близокъ съ славянофилами и  
постоянно вращался въ ихъ средѣ. Ясно, значить, что о да-  
вавшихъ окраску всей газетѣ передовицахъ такъ мало гово-  
рили, что въ очень хорошей памяти П. И. Бартенева не  
осталось даже опредѣленнаго впечатлѣнія объ авторѣ ихъ.

Но если мало обратили вниманія на „Молву“ журналы и  
публика, то ее весьма замѣтили въ сферахъ наблюдающихъ,  
и несмотря на то, что уже начались новыя вѣянія, придирки  
поплыли послѣ первыхъ-же №№.

Срочность благодѣтельно подействовала на работавшаго  
всегда съ прохладцей Константина Сергеевича. Если мы  
присмотримся къ собранію его сочиненій, то увидимъ, что въ  
большинствѣ это все начала и наброски. А тутъ надо было  
каждую недѣлю давать нѣчто законченное, и это дисципли-  
нировало. Благодѣтельно подействовала срочность и на стиль.  
Въ общемъ—я еще возвращусь къ этому—Константинъ Сер-  
геевичъ писать „темно и вяло“. Но въ „Молвѣ“ обычна  
расплывчивость его исчезла. Онъ писать скжато, энергично,  
а роковая для газеты статья „Публика-Народъ“ написана  
прямо блестяще.

Предъ нами, дѣйствительно, „ученье славянофиловъ“,  
основные, долго обдуманные пункты и тезисы общественно-  
политического катехизиса. Первая статья (12 апрѣля) трак-  
туетъ о краеугольномъ камѣ славянофильской программы —

свободъ слова. Тутъ всѣ излюбленныя мысли Константина Аксакова и мѣстами прямой конспектъ знаменитаго стихотворенія его „Свободное Слово“ и даже рядъ отдѣльныхъ выраженій этого въ гораздо болѣшай степени публицистического, чѣмъ поэтическаго произведенія.

„Свободная воля, данная Богомъ—вотъ отличие человѣка отъ бездушной природы, вотъ что образуетъ изъ него существо нравственное. Для природы нѣтъ нравственного вопроса, но для человѣка онъ существуетъ вслѣдствие свободной воли, которая можетъ сдѣлать его и добрымъ и злымъ, и уронить, и воззвысить. Отсюда безконечная дѣятельность духа человѣческаго, вѣчное стремленіе впередъ, вѣчное созиданіе себя. Отсюда эта смѣсь срѣтыхъ и темныхъ сторонъ въ человѣчествѣ и человѣкъ. Для человѣка, какъ бы низко ни пала онъ, всегда есть возможность подняться, лишь бы воля въ немъ не переставала дѣйствовать. Всего хуже апатія, усыпленіе, уныніе, отсутствіе воли, тогда теряется человѣкъ свое значеніе и достоинство.

Нравственный подвигъ жизни предлежитъ не только человѣку, но и народамъ, и каждый человѣкъ, и каждый народъ совершаютъ его непремѣнно *самостоятельно*; въ противномъ случаѣ не совершаютъ вовсе. Самостоятельность каждого не исключаетъ возможности взаимного согласія, но, разумѣется, согласія свободнаго, независимаго. Гдѣ же нѣть самостоятельности духа, тамъ рабство духа и подражательность; тамъ нѣть дѣятельности, а одна суетливость.

Нравственное дѣло должно и совершаться нравственнымъ путемъ, безъ помощи виѣшней принудительной силы. Ничего не можетъ быть вреднѣе, какъ вторженіе грубой силы въ нравственные вопросы. Тамъ, гдѣ грубая сила думаетъ подкрѣпить истину, она подрываетъ ее, ибо вносить сомнѣніе въ ея собственной, внутренней силѣ; такъ что лучше для истины имѣть грубую силу себѣ врагомъ, чѣмъ сподвижницей. Одно есть оружіе нравственной истины—это свободное убѣжденіе, это *слово*, Вотъ единственный мечь духа Вспомнимъ прекрасные стихи поэта, обращенные къ человѣку:

И ты, когда на битвѣ сть ложью  
Идешь за правду думъ твоихъ,  
Не налагай на правду Божью  
Гнилую тѣхнѣсть лать земныхъ.  
Доспѣхъ Саула—ей окова,  
Сауловъ тиагостенъ шеломъ;  
Ея оружье—Божье слово,  
А Божье слово—Божій громъ.

Слово—это знамя человѣка на землѣ. Созданное изъ звука самимъ человѣкомъ, все проникнутое сознаніемъ, оно одухотворяетъ міръ видимый, воплощаетъ міръ невидимый. Здѣсь-то, въ этой области слова,

достойно совершается, или совокупное стремление человечества, или борьба мыслей въ тѣхъ случаяхъ, когда искатели истины спорятъ и разнорѣчатъ между собою".

Самъ человѣкъ глубоко убѣжденный, Аксаковъ не только признаетъ свободу чужихъ мнѣній, но считаетъ всякой идеиной „споръ и борьбу—неотъемлемой принадлежностью самостроящагося человечества". „Люди ищутъ истины, и ищутъ ее разно". Вмѣстѣ съ тѣмъ, однако, онъ рѣшительнейший врагъ всякаго сладенъского компромисса, для него, какъ и для Бѣлинского, была только одна истина, и статья заканчивается боевымъ кличемъ:

„Странно было бы желать какого-то сближенія между противоположными сторонами. Когда сойдется въ мысляхъ, совершенно свободно, тогда сблизятся; не сойдутся—не сблизятся. Но никакихъ уступокъ въ своихъ убѣжденіяхъ, ради сближенія, быть не должно. Это было бы смыщеніе и взаимное ослабленіе, въ пользу какого-то нравственного комфорта и умственной лѣни. Нѣтъ, пусть каждая сторона, безъ всякой насилийственной уступки и безъ всякаго насилийственного упорства, исчерпаетъ всѣ силы свои, всю глубину своей мысли; тогда можетъ явиться полная и окончательная победа, тогда борьба можетъ дойти до яснаго и плодотворного результата.

Благословимъ же борьбу! Пусть будетъ она крѣпка, беспощадна честна и добросовѣтна".

Къ числу основоначаль славянофильства вообще и міроозерцанія Константина Аксакова въ частности принадлежить, отношеніе къ народу. Если лучшая часть западничества вмѣнила себѣ въ священную обязанность заботиться о благѣ народа, то при этомъ она, однако, смотрѣла на народъ сверху внизъ. Народъ представлялся западническому народолюбію *tabula rasa*, на которой предстоитъ начертать письмена европейскаго просвѣщенія. Но для Константина Аксакова, какъ для позднѣйшаго демократическаго народничества и Толстого, народная душа всего менѣе „бѣлая бумага, которая не знаетъ и не судить о томъ, что на ней напишутъ". („Молва" № 2). Уже по одному тому „народъ есть та великая сила, та живая связь людей, безъ которой и внѣ которой отдельный человѣкъ быль-бы безполезнымъ эгоистомъ, а все человечество—безплодно отвлеченностю", что въ немъ получило чрезвычайное развитіе „великодушіе общинаго элемента". „Начало общины есть, по преимуществу, начало славянскаго племени и въ особен-

ности русского народа, давшаго ему кромъ слова „община“ (вполнѣ русскаго, но иѣсколько книжнаго) иное, жизненное наименование: *миръ*“

Восторженно относясь къ понятію „народъ“, Аксаковъ подъ этимъ словомъ по преимуществу подразумѣваетъ „простой народъ“, мужика, и ему онъ поеть дифирамбы:

„Простой народъ есть основаніе всего общественнаго зданія страны. И источникъ вещественнаго благосостоянія, и источникъ виѣншнаго могущества, источникъ внутренней силы и жизни, и наконецъ мысль всей страны—пребываются въ простотѣ народѣ. Отдельныя личности, возникая надъ нимъ, могутъ, на поприщѣ личной дѣятельности, личнаго сознанія, служить съ разныхъ сторонъ дѣлу просвѣщенія и человѣческаго преуспѣнія; но тогда только могутъ онъ что-нибудь сдѣлать, когда коренятся въ простотѣ народѣ, когда между личностями и простотой народомъ есть непрерывная живая связь и взаимное пониманіе.

Находясь на нижней ступени лѣтницы житейской, виѣ всякихъ почестей и наружныхъ отличій, простой народъ имѣть за то великія блага человѣческія: братство, цельность жизни и (такъ какъ мы, говоря о простотѣ народѣ, разумѣмъ русскій)—быть общинный.

Напрасно думаютъ, что простой народъ есть безсознательная масса людей. Если бы это было такъ, то онъ быль бы тоже, что неразумная стихія, которую можно направить и въ ту и въ другую сторону. Нѣть, простой народъ имѣть глубокія, основанныя убѣжденія—условія существованія для всей страны. Защищая эти убѣжденія, онъ, точно, въ силѣ своей равняется стихіи; но это стихія разумная, имѣющая правственную волю; это стихія только по дружному, цѣльному своему составу и дѣйствію. Есть прекрасное выраженіе на Руси для такого проявленія народной силы: *стали всѣ, какъ одна человѣкъ*. Русская исторія показываетъ намъ, какъ глубока и тверда основа вѣры въ русскомъ народѣ, какъ отстаивалъ онъ святость своихъ православныхъ убѣжденій.

Напрасно также думаютъ, что простой народъ есть какой-то слѣпой поклонникъ обычая, что онъ, передъ чѣмъ бы то ни было, рабствуетъ духомъ. Правда, онъ не представляетъ легкаго подвижнаго явленія, то въ ту, то въ другую сторону направляемаго вѣтромъ; какъ все истинное и дѣйствительное, онъ крѣпокъ на ногахъ и не шатается изъ стороны въ сторону; онъ понимаетъ, что преданіе, что преемство жизни есть необходимое условіе жизни; онъ связуетъ, поддерживаетъ, а не рветъ пить жизни, идущую изъ прошедшаго въ будущее. Простой народъ есть стражъ преданія и блеститель старины; во въ то же время онъ не есть слѣпой рабъ ея. Да и было же время, когда старина была новизною. Простой народъ принимаетъ новое, но не скоро, не легко-мысленно, не изъ преарѣнія къ старинѣ, не изъ благоговѣнія къ новизнѣ. То, что онъ приметъ, приметъ онъ самобытно, усвоить прочно и перенесетъ въ свою жизнь. Легкомысленные личности, для которыхъ

жизнь есть непрерывный маскарадъ, или убѣжденія которыхъ, если и постоянныя, не имѣютъ корня въ странѣ самой и плаваютъ въ какой-то отвлеченной атмосферѣ,—какъ ошибаются онъ, принимая обдуманность народа, его мѣрный и вѣрный шагъ, среди прыгающихъ и бѣгушихъ около него, отдѣльныхъ личностей, за какую-то неподвижность или, по крайней мѣрѣ, за косность. Это показываетъ только, что народа не понимаютъ. У насъ же, въ Россіи, неохота, недовѣрчивость, съ какою народъ принимаетъ новое, имѣть свою историческую законную причину, свое законное оправдание.

Но, начавши говорить: „простой народъ“, мы потомъ стали говорить: „народъ“. Это не случайно и не безъ причины, ибо простой народъ, точно, есть *просто народъ*, или народъ собственно.

Слово: народъ употребляется въ двоякомъ смыслѣ; или оно означаетъ всѣхъ, въ союзъ народномъ живущихъ, безъ различія сословій, ю въ такомъ случаѣ соотвѣтствуетъ болѣе слову: нація; или же оно означаетъ простой народъ, ииашее сословіе, которое есть народъ собственно. Понятно и законно употребленіе этого слова и во второмъ случаѣ. Простой народъ не имѣть никакихъ отличій, никакого другого званія, кромѣ званія человѣка и христіанина, а потому и зовется или *человѣкомъ*, во множествѣ *людьми* (въ лѣтописи *люде*; въ послѣдствіи слово „люди“ получило свое особое значеніе), или *крестьяниномъ*, т.е. христіаниномъ, или же, наконецъ: *народомъ*, что также есть имя кровнаго, но еще болѣе духовнаго союза человѣческаго. Вотъ причина, по которой название народа остается преимущественно за низшимъ со словиемъ.

Итакъ, у простого народа нѣть никакихъ отличій или титуловъ, кромѣ званія человѣческаго или христіанскаго. О, какъ богата эта бѣдность! И, стоя на ииашей ступени, какъ высоко стоять онъ!

Носи званіе только человѣка, только христіанина, онъ, съ этой стороны, есть идеалъ для всего человѣческаго и христіанскаго общества.

Какъ скоро верхніе классы смотрѣть на свои отличія и преимущества (хотя и не во злѣ употребляемыя) не какъ на причину гордости и превосходства надъ другими, но какъ на требуемыя временемъ, порожденныя несовершенствомъ міра сего, явленія, какъ скоро, забывая о нихъ, чувствуютъ въ себѣ только человѣка и христіанина,—тогда становятся и они народомъ.

У насъ значеніе простого народа имѣть свою особую сторону, ибо онъ только и сохранять въ себѣ народныя истинныя основы Россіи; онъ только и не разорвать связи съ прошедшими, съ древнею Русью. Часто гордо смотрѣть на него люди такъ называемаго образованнаго или свѣтскаго, русскаго общества, пренебрегаютъ имъ, называютъ его *мужиками*, обративъ это слово въ брань. Красуясь надъ нимъ и высоко на него посматривая, они забываютъ, что только простой народъ составляетъ условіе и ихъ существованія. Извѣстно прекрасное (сдѣланное русскимъ писателемъ) сравненіе простого народа съ корнями дерева,

на которомъ шумятъ и величаются листья, мѣняющіеся каждый годъ, тогда какъ корни—все одни тѣ же.

Красуйтесь въ добрый часъ,  
говорять корни листьямъ:

Но помните ту разницу межъ насъ,  
Что съ новою весною листъ новый народится;  
А если корень иссушится,—  
Не станеть дерева, ни васъ.

\* \* \*

Вопросъ о народѣ для Константина Аксакова всего менѣе былъ предметомъ академического спора, въ особенности въ 1857 году, когда нетерпѣніе было такъ жгуче, когда такъ отчетливо казалось, что вотъ - вотъ уже наступаетъ долгожданный моментъ освобожденія. Однако, чего-нибудь дѣйствительно вполнѣ опредѣленного еще не было, еще не было даже изданъ знаменитый реескрипты на имя Назимова, которымъ грядущее освобожденіе, — впрочемъ не освобожденіе, а „улучшеніе быта крестьянъ“ было признано неотложною задачею государственной заботы. И потому приходилось еще говорить Эзоповскимъ языккомъ и даже получать за туманные намеки совсѣмъ не туманные реприманды. Вотъ передовица Аксакова въ 20 № „Молвы“, которая и написана-то больше въ стилѣ притчи и поученія и гдѣ крѣпостное право даже по имени не названо. И все-же, она вызвала крайнее неудовольствие.

„Трудъ есть долгъ человѣка, есть его нормальное состояніе на землѣ. Только трудъ даетъ право на наслажденіе жизнью. Каковъ бы ни былъ трудъ: вещественное ли это обрабатываніе земли, работа ли это напряженной мысли—все равно. Вѣ поть лица синѣсти хлѣбъ свой—отъ удѣльть и долгъ человѣка.

Жизнь не есть удовольствіе, какъ думаютъ некоторые: жизнь есть подвигъ, заданный каждому человѣку, жизнь есть трудъ. Худо, если человѣкъ изъ талантovъ, ему Богомъ дарованныхъ, дѣлаетъ себѣ легкое самоуслажденіе, а не смотритъ на нихъ, какъ на тяжелые долги, которые онъ обязанъ выплатить съ лихвой.

Все человѣчество трудится. Всюду кипитъ трудъ, разнообразно совершаемый народами, отдельными лицами. Худо тѣмъ, которые нарушаютъ законъ труда, данный человѣчеству, и праздно наслаждаются плодами чужихъ трудовъ.

Благословенъ трудъ, и да всякий совершааетъ его всю свободною совокупностью силъ своихъ! Не всѣмъ, однако, людямъ данъ удѣльный труда. Мы видимъ, напримѣръ, въ Америкѣ негровъ, работаю-

щихъ скованными руками, совершающихъ тяжелый невольничій трудъ. Мы видимъ это, и сердце наше скорбитъ... Трудъ святъ и воленъ по существу своему. Вольный трудъ споръ и плодоносень; съ нимъ миръ и спокойствие. Твердо уповаю, что Господь благословитъ и всѣхъ людей своихъ благословеніемъ вольного труда".

По неудовольствію, вызванному въ правящихъ сферахъ, къ статьѣ о вольномъ трудѣ примыкаетъ напечатанная въ слѣдующемъ 21 № статейка о русской одеждѣ. Что въ ней предосудительного и нецензурного прямо и понять нельзя.

„Одежда есть одно изъ выражений духа человѣческаго. Самый образъ своей человѣкъ сдѣлалъ измѣнчивымъ и подчинилъ владычеству идеи. Духъ вѣка, духъ народности выражается въ одеждѣ, самомъ естественному, простомъ и свободномъ проявленіи смысла человѣческаго.

Одежда есть въ то же время дѣло народнаго и личнаго вкуса, дѣло эстетического чувства. Принужденіе не должно имѣть мѣста въ дѣлѣ одеждѣ; странно было бы насиливать вкусъ народа или человѣка. Очень естественно, что въ одеждѣ своей человѣкъ можетъ быть воленъ, какъ въ своей причесѣ, въ походкѣ, въ манерахъ и т. п. Одежда должна только подлежать общественному мнѣнію, не имѣющему въ себѣ ничего насильственнаго.

Верхніе классы Россіи давно уже носятъ одежду иностранную. Полтораста лѣтъ тому назадъ введенна она была въ Россіи; какимъ образомъ—объ этомъ говорить исторія.

Славянофилы упрекаютъ въ томъ, что они хотѣли бы воротиться къ русской одеждѣ. Здѣсь, какъ и въ другихъ случаяхъ, мнѣніе ихъ неясно понято. Славянофилы вовсе не желаютъ, чтобы русская одежда была *введена*: въ такомъ случаѣ они предпочли бы лучше иностранное платье, чѣмъ русское, *насильно вводимое*. Славянофилы желаютъ лишь одного: *чтобы всякий могъ одѣваться, какъ кто хочетъ*, и чтобъ русское платье было дозволено въ Россіи, какъ дозволено въ Россіи платье иностранное. Такимъ образомъ, была бы снята съ русской одеждѣ полуторастолѣтняя опала. Тогда для всякаго, кто *пожелаетъ* носить русскую одежду, *можно* будетъ надѣть ее.

Вотъ все, что желаютъ славянофилы въ вопросѣ объ одеждѣ\*.

Московскій цензоръ,—кстати это былъ писатель и другъ семьи Аксаковыхъ Гиляровъ-Платоновъ—ни въ этихъ двухъ статьяхъ, ни во всѣхъ остальныхъ статьяхъ „Молвы“ тоже не находилъ ничего запретнаго. Но сверхъ—цензура Петербурга, какъ видно изъ нижеслѣдующаго письма Вяземскаго, уже съ первыхъ №№ „ обращала вниманіе“ на Аксаковскую газету.

Ки. П. А. Вяземскій, другъ Пушкина, нѣкогда упрекав-

шій его за официальный шовинизмъ эпилога „Кавказскаго Плѣнника“, бытъ теперь товарищемъ министра народ. просвѣщенія. А цензура тогда была въ вѣдѣніи не мин. внутр. дѣль, а народ. просвѣщенія. И вотъ въ качествѣ главноначальствующаго литературнымъ вѣдомствомъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ добраго знакомаго, онъ пишетъ Константину Сергеевичу „дружеское“ письмо. Письмо удивительно-характерное:

„Народная молва вамъ приписываетъ *Молву*, или по крайней мѣрѣ передовую батарейную статью ея, которая подъ заглавиемъ *Москва*, палить и жарить изо всѣхъ орудій... Нынѣ обращаютъ снова мое вниманіе на №№ 20 и 21, а именно на мѣста, въ которыхъ говорится о вольномъ труде и о труде невольномъ и о вольномъ и невольномъ туалѣтѣ.“

Историческій, наследственный вопросъ о крѣпостномъ состояніи въ Россіи есть, безъ сомнѣнія, вопросъ, надъ которымъ призадуматься можно и который каждого благомыслящаго человѣка долженъ озабочивать. Но вы сами согласитесь, что это вопросъ щекотливый и жгучій, и потому самимъ Правительствомъ изъятый изъ среды вопросовъ, предоставленныхъ гласному печатному сужденію и журнальной полемикѣ. Вопросъ сей взяло Правительство на свое рѣшеніе и, такъ сказать, подъ свою ответственность. Слѣдовательно, не для чего, вопреки извѣстнымъ и положительнымъ распоряженіямъ его, вскользь и побочно, поднимать его отвлечеными и риторическими фразами, въ которыхъ нѣтъ никакихъ новыхъ поясненій и доводовъ и не прискакиваетъ ключа къ открытію ларчика, который вовсе не просто открывается<sup>1)</sup>. Упованіе на водвореніе *вольнаго труда* — утопія, которая можетъ сбить съ толку трудящихся. Большая часть труда, особенно того, который совершается въ потѣ лица, есть трудъ по нуждѣ, а вовсе не изъ доброй воли. Трудъ есть наказаніе свыше человѣческому роду и слѣдствіе первороднаго грѣха. Спросите у вольныхъ работниковъ Англіи и Франціи, что думаютъ они о своемъ вольномъ труде, который запираетъ ихъ часовъ на двѣнадцать и болѣе въ сутки въ душныхъ фабрики, чтобы выработать себѣ и дѣтямъ сво-

<sup>1)</sup> Этотъ и дальнѣйшіе курсивы — Вяземскаго.

имъ кусокъ насущнаго хлѣба. Спросите этихъ вольныхъ рабочниковъ, во что обходится имъ и чѣмъ для нихъ кончаются ихъ gr ves, когда вздумаютъ они возвысить заработную плату свою. Нечего смотрѣть вамъ въ Америкѣ на негровъ. И въ вольной Англіи бѣдные люди совершаютъ невольничій труль, потому что ручной, физическій трудъ есть почти всегда и вездѣ неволя. Вводить въ искушеніе несбыточными мечтаніями и эффектными фразами меньшую братію грѣшино и ужъ вовсе неправославно".

Далѣе, князь Вяземскій обращается къ *вольному и невольному туалету* и продолжаетъ: „Частными предписаніями вышаго начальства, такъ называемая Русская одежда не допускается равно всѣмъ сословіямъ. Сей вопросъ официально или полицейски рѣшень. Здѣсь уже не мѣсто выводить печатно, чего желаютъ Славянофилы въ вопросѣ *объ одежде*. Во - первыхъ смѣши признавать за собою прозвище, которое на смѣхъ было пущено Василемъ Львовичемъ Пушкинымъ въ *Бояновъ*. Но это въ сторону. Дѣло въ томъ, что, во избѣженіе соблазна и беспорядка, остается покориться распоряженію полиції. Это — обязанность каждого благороднаго человѣка. Иначе дѣлаешь оппозицію, и какую? Совершенно ребяческую, неприличную взрослымъ людямъ. Все это говорить вамъ не товарищъ министра, а человѣкъ, которому минуло шестьдесятъ пять дѣтъ, который почти весь свой вѣкъ, хорошо или худо провелъ съ первомъ въ рукѣ, который уважаетъ всякое ча [e?] стное убѣжденіе, хотя не всегда съ нимъ соглашается. А потому я позволяю себѣ говорить съ вами откровенно. Если вы, въ пылу убѣжденій своихъ, не хотите сберегать себя и ту частичку благороднной свободы,—все въ мірѣ относительно,—которую нынѣ пользуется печать и журналистика: то мы, хладнокровные и присяжные зрители и цѣнители того, что печатается, должны изъ любви къ литературѣ, изъ сочувствія иуваженія къ званію писателей, оберегать васъ отъ вѣсть санкций и отъ недоброжелателей вашихъ въ особенности и литературы вообще. Сдѣлайте одолженіе во имя Карамзина, Жуковскаго, Пушкина, заколотите иѣсколько нескромныхъ пушекъ на вашей батареѣ. Берите примѣръ съ главныхъ нашихъ учителей. Поле для подвиговъ нашихъ остается еще

обширное и многоплодное. Воздергитесь, ради Бога, отъ пальбы въ заповѣдныя мѣста. Спросите батюшку вашего: онъ страстный охотникъ, но и онъ вамъ скажеть, что охота имѣть свои законы, свои ограниченія. Въ чужихъ дачахъ охотиться не дозволяется, а тѣмъ паче въ казенныхъ. Аминь. Надѣюсь, что все сказанное мною примете, какъ оно было сказано, то-есть, съ любовью и добродушемъ” (*Барсуковъ, Жизнь Погодина, т. XV, стр. 280—82*).

Тутъ прежде всего великолѣпна логика: такъ какъ вопросъ „жгучай“, значитъ очень важный—то его надо изять изъ „среды вопросовъ, предоставленныхъ гласному печатному обсужденію“. Но еще лучше, что за 4 года до освобожденія крестьянъ мысль о вольномъ трудѣ признается утопіей. И наконецъ ни съ чѣмъ несравненно, видимо, вполнѣ искреннее убѣжденіе кн. Петра Андреевича, что говорить людямъ о вольномъ трудѣ—„неправославно“. Вотъ уже поистинѣ никакой врагъ не скажеть того, что въ простотѣ сердечной скажеть подчасъ другъ.

Константина Аксаковъ понималъ, однако, православіе иѣсколько иначе и на дружеское ворчаніе представителя петербургскаго православія не обратилъ достодолжнаго вниманія. Возмездіе не замедлило послѣдовать. Чаша петербургскаго долготерпѣнія—московскій цензоръ по прежнему все пропускалъ—переполнилась, когда въ N 36 появилась блистательная статейка:

### Опытъ синонимовъ.

Публика—народъ.

Было время, когда у насъ не было публики... Возможно ли это? скажутъ мнѣ. Очень возможно и совершенно вѣрно: у насъ не было *публики*, а былъ *народъ*. Это было еще до построенія Петербурга. Публика—явление чисто западное, и была заведена у насъ вмѣстѣ съ разными нововведеніями. Она образовалась очень просто: часть народа отказалась отъ русской жизни, языка и одежды и составила публику, которая и всплыла надъ поверхностью. Она-то, публика, и составляетъ нашу постоянную связь съ Западомъ; выписываетъ оттуда всякие, и материальные и духовные, наряды, преклоняется предъ ними, какъ передъ учителемъ, занимаетъ у него мысли и чувства, платя за это огромную цѣною: временемъ, связью съ народомъ и самою истиной мысли. Пуб-

лика является надъ народомъ, какъ будто его привилегированное выраженіе, въ самомъ же дѣлѣ публика есть искаженіе идеи народа.

Разница между публикою и народомъ у насъ очевидна (мы говоримъ вообще, исключенія сюда не вѣдутъ).

Публика подражаетъ и не имѣть самостоятельности: все, что она принимаетъ чужое, принимаетъ она наружно, становясь всякий разъ сама чужою. Народъ не подражаетъ и совершенно самостоятеленъ; а если что приметъ чужое, то сдѣлаетъ это своимъ, *усвоитъ*. У публики свое обращается въ чужое. У народа чужое обращается въ свое. Часто, когда публика ёдетъ на балъ, народъ идетъ ко всенощной; когда публика танцуетъ, народъ молится. Средоточіе публики въ Москвѣ—Кузнецкій Мостъ. Средоточіе народа—Кремль.

Публика выписываетъ изъ-за моря мысли и чувства, мазурки и польки: народъ черпаетъ жизнь изъ родного источника. Публика говорить по-французски, народъ—по-русски. Публика ходить въ нѣмецкомъ платьѣ, народъ—въ русскомъ. У публики—парижскія моды. У народа—свои русскіе обычая. Публика (большою частью, по крайней мѣрѣ) есть скромное: народъ есть постное. Публика спить, народъ давно уже встаетъ и работаетъ. Публика работаетъ (большою частью ногами по паркету): народъ спить или уже встаетъ опять работать. Публика проираетъ народъ: народъ прощаетъ публикѣ. Публикѣ всего полтораста лѣтъ, а народу годовъ не сочтешь. Публика преходяща: народъ вѣченъ. И въ публикѣ есть золото и грязь, и въ народѣ есть золото и грязь: во въ публикѣ грязь въ золотѣ; въ народѣ—золото въ грязи. У публики—свѣтъ (*monde*, балы и пр.): у народа—міръ (сходка). Публика и народъ имѣютъ эпитеты: публика унасть—почтеннѣйшая, народъ—православный.

„Публика, впередъ! Народъ, назадъ“! такъ воскликнулъ многозначительно одинъ хожалый.

Я уже нѣсколько разъ называлъ эту статейку блестательной. Я готовъ теперь пойти еще дальше и съ точки зрѣнія литературной формы назвать „Опытъ синонимовъ“ однимъ изъ самыхъ замѣтительныхъ явлений русской публицистики. Можно соглашаться съ высказанными въ нихъ мыслями или не соглашаться, но нельзя не восхищаться художественной энергіей, съ которой эти мысли выражены. Какая сила слова, какая яркость афоризмовъ, которыхъ такъ и просятся въ пословицы. Какъ хороши антitezы, какая искрящаяся игра со-поставленій. „Въ публике грязь въ золотѣ, въ народѣ—золото въ грязи“—эффектнѣе не могъ-бы выразиться и самый первоклассный мастеръ слога. Въ общемъ, предъ нами настоящій фейерверкъ крылатыхъ выражений, какой-то густой, густой

литературный настой, гдѣ каждая строка многозначительна и дает не просто мысль, а формулу.

И воть именно въ томъ, что передъ нами какъ-бы собраніе формулъ и заключается объясненіе этого столь необычнаго для Константина Аксакова блеска стиля. Совершенно очевидно, что въ своей статьѣ онъ только перенесъ на бумагу слова, фразы, выраженія, формулы, давныемъ давно продуманныя и выработанныя. Совершенно очевидно, что все это неоднократно говорилось и совмѣстно выковывалось въ афоризмы и на дружескихъ собранияхъ славянофильского кружка, и въ преніяхъ съ западниками. На яркое доказательство правильности моего утвержденія я наткнулся въ письмѣ Константина Аксакова, написанномъ имъ Гоголю еще въ 1848 г. по поводу „Переписки съ друзьями“. Тутъ уже цѣликомъ не только выражена центральная идея статьи „Опыта Синонимовъ“, но даже въ той-же самой оболочки. „Вотъ великая вина, поклоненіе передъ публикою и презрѣніе къ народу (курсивы Аксакова). Знаете вы знаменитое восклицаніе полицеймейстера: *публика впередъ, народъ назадъ*? Это можетъ стать эпиграфомъ къ исторіи Петра“ (Рус. Арх\*. 1890, № 1, стр. 154).

Для безопасности полицеймейстеръ превращенъ въ „Молвѣ“ въ „хожалаго“.

---

„Какъ и слѣдовало (!) ожидать“, говоритъ Барсуковъ, рассказывающій исторію „Молвы“ по материаламъ Погодинскаго архива, статья произвела въ Петербургѣ очень непріятное впечатлѣніе. „23 декабря 1857 года, министръ Народнаго Просвѣщенія писалъ помощнику попечителя Московскаго Ученаго Округа графу А. С. Уварову, между прочимъ, слѣдующее: „Въ Молвѣ напечатана весьма неумѣстная, и по духу и по выраженіямъ, статья подъ заглавиемъ: „Опытъ Синонимовъ. Публика—Народъ“. Подобныя опредѣленія могутъ только служить къ возбужденію враждебныхъ отношеній между различными сословіями общества. Выставлять низшихъ членовъ общества образцами всѣхъ возможныхъ добродѣтелей, а высшихъ примѣрами всѣхъ возможныхъ недостатковъ и нравственныхъ слабостей—вредно и пагубно по послѣдствіямъ,

которые подобные лжеумственные парадоксы могут повлечь за собою. Особенно же въ нынѣшнее время"...

Цензоромъ Молвы былъ Н. П. Гиляровъ-Платоновъ, и А. С. Норовъ на этомъ официальномъ письмѣ собственноручно приписалъ: „Прибавлю къ сему, что единствено по уваженію къ лицу, чрезъ ходатайство коего г. Гиляровъ назначенъ цензоромъ, я ограничиваюсь нынѣ (выговоромъ)."

Вмѣстѣ съ симъ прошу, ваше сиятельство, поручить цензурированіе Молвы цензору Безсмыкину и увѣдомить меня съ первой почтою, кто авторъ упомянутой статьи".

„Не довольствуясь этимъ, А. С. Норовъ сдѣлать объ этой статьѣ К. С. Аксакова, 24 декабря 1857 года, особый всеподданѣйший докладъ, въ которомъ, кромѣ того писалъ, что многія статьи, помѣщаемыя въ *Молву*, отличаются напрѣдѣніемъ, которое не согласуется вполнѣ, ни съ правилами цензуры, ни съ тѣми благонамѣренными начальами, которыхъ должны служить основаніемъ каждому литературному произведению".

„Государь на этомъ докладѣ собственноручно начерталъ карандашемъ слѣдующее: Статья эта мнѣ известна. Нахожу, что она написана въ весьма дурномъ смыслѣ. Объявить Редакціи Молвы, что если и впредь будутъ замѣчены подобныя статьи, то газета сія будетъ запрещена, а редакторъ и цензоръ подвергнутся строгому взысканію".

Очевидно, благодаря именно этой помѣткѣ, и у современниковъ и поаднѣе создалось убѣжденіе, что изданіе „Молвы" было прекращено правительствомъ. Такъ Аполлонъ Григорьевъ писалъ Погодину: „Константина Аксакова погубилъ *Молву*". А въ разныхъ историческихъ справкахъ (ср. напр. „Энциклопед. Словарь" Брокгаузъ-Ефрана, т. XIX, стр. 617) сообщается какъ твердо-установленный фактъ, что „Молва" закрыта по Высочайшему повелѣнію.

На самомъ дѣлѣ „Молва", выпустивши послѣ появленія статьи Аксакова еще два №№—37 и 38, умерла естественною смертью, въ такъ называемой борьбѣ съ равнодушіемъ публики. Подписка на 1858 годъ была объявлена, но, очевидно, мало кто прельстился. Кого могла заинтересовать „Молва"? Время уже начинало нестись на всѣхъ парахъ и удивить его разговорами о вольномъ труде и нападками на большой

свѣтъ было трудно. Одному изъ усмирителей венгерского „возстанія“, графу П. Х. Граббе, статья Константина Аксакова могла конечно показаться „зажженнымъ пальникомъ, брошеннымъ въ пороховой погребъ“. Другой читатель, того же приблизительно разряда, В. А. Мухановъ записалъ въ свой дневникъ: „Въ Москвѣ въ журналѣ Молва, явилась статья Публика и Народъ. Статья произвела раздраженіе. Всѣ напали на ministra Просвѣщенія. Рѣшительно есть люди, которымъ все мало, пока неѣть безпорядковъ“.

Но такие эпигоны Николаевщины становились уже единицами.

Въ дневникѣ того-же Муханова находимъ непишенній злораднаго остроумія анекдотъ:

„У Аксакова, автора статьи Публика и Народъ, украли въ церкви часы, и вместо нихъ положили въ карманъ записку, въ которой написано: „пока Публика молилась, Народъ укралъ у васъ часы“ (Барсуковъ, т. XV, стр. 285).

Конечно, это явно выдумано какимъ-нибудь московскимъ воиномъ итскомъ изъ раздраженной „публики“.

ибо отъ нее же въ кончины Константина Аксакова и до сихъ временъ неизвестно, какъ же въ дальнейшемъ сложилась судьба этого писателя. Слѣдуетъ сказать, что въ 1855 г. Константина Аксакова избранъ былъ членомъ Императорской Академии наукъ, а въ 1856 г. онъ избранъ былъ членомъ Императорской Академии художествъ. Въ 1857 г. Константина Аксакова избранъ былъ членомъ Императорской Академии наукъ, а въ 1858 г. онъ избранъ былъ членомъ Императорской Академии художествъ. Въ 1859 г. Константина Аксакова избранъ былъ членомъ Императорской Академии наукъ, а въ 1860 г. онъ избранъ былъ членомъ Императорской Академии художествъ.

## VII.

### **Послѣдніе годы жизни Константина Сергеевича. Красота его духовной личности.**

По сравненію съ тѣмъ лѣнивымъ прозябаніемъ, за которое его всегда такъ пробиралъ братъ Иванъ, годы 1855—1858, могутъ быть прямо названы періодомъ кипучей дѣятельности Константина Аксакова. Онъ и общественнымъ дѣятельностью быть, и боевымъ журналистомъ, и дѣятельно работалъ въ излюбленной области филологии, и даже собирался, хотя и неудачно, быть профессоромъ (см. обѣ этомъ дальше, въ главѣ о филологич. трудахъ К. С.).

Но вся эта вспышка энергіи быстро закончились по мѣрѣ того, какъ явственно обозначилась близкая кончина давно хворавшаго Сергея Тимофеевича. Послѣдовавшая 30 апрѣля 1859 г. смерть отца въ буквальномъ смыслѣ слова нанесла смертельный ударъ и богатырю-сыну.

Безконечно любившій отца сынъ не вынесъ потери главной личной привязанности своей и чрезъ  $1\frac{1}{2}$  года—7 Декабря 1860 г. умеръ отъ легочной чахотки на островѣ Занте. Подробности этого глубоко-трогательнаго и рѣдкаго проявленія сыновней любви будуть приведены дальше.

А раньше чѣмъ перейти къ этому финалу, приведу рядъ свидѣтельствъ современниковъ о личности Константина Сергеевича. При отсутствіи обстоятельной біографіи К. Аксакова, эти свидѣтельства намѣчаютъ основные черты духовной фізіономіи благороднѣйшаго изъ представителей московскаго славянофильства.

Начнемъ съ характеристики, драгоценной тѣмъ, что ее давалъ *врагъ*, человѣкъ всю жизнь свою боровшися съ идеями, наиболѣе дорогими К. Аксакову. Вотъ что писалъ Герцентъ подъ сѣжимъ впечатлѣніемъ смерти Константина Сергеевича:

„Константина Аксакова не смѣялся, какъ Хомяковъ, и не сосредоточивалъ въ безвыходномъ сѣтеваніи, какъ Кирьевскіе. Мужающій юноша, онъ рвался къ дѣлу. Въ его убѣжденіяхъ не неувѣренное пытанье почвы, не печальное сознаніе проповѣдника въ пустынѣ, не темное придуманіе, не дальняя надежды,—а фанатическая вѣра, негерцимая, вѣсничающая, односторонняя, та, которая предваряетъ торжество. Аксаковъ былъ одностороненъ, какъ всякий воинъ,—съ спокойно взывавшимъ эклектизмомъ нельзя сражаться. Онъ былъ окружена враждебной средой, средой сильной и имѣвшей надъ нимъ большія выгоды, ему надобно было пробиваться рядомъ всевозможныхъ непріятелей и водрузить свое знамя. Какая тутъ терпимость!

Вся жизнь его была безусловнымъ протестомъ противъ петровской Руси, противъ петербургскаго періода во имя непризнанной, подавленной жизни русскаго народа. Его діалектика уступала діалектику Хомякова, онъ не былъ поэтъ-мыслитель какъ И. Кирьевскій, но онъ за свою вѣру пошелъ бы на площадь, пошелъ бы на плаху, а когда это чувствуется за словами, онъ становится страшно убѣдительны. Онъ въ начальствъ сороковыхъ годовъ проповѣдывалъ сельскую общину, міръ и артель. Онъ научилъ Гакетгаузена понимать ихъ, и послѣдовательный до дѣлъства, первый опустилъ панталоны въ сапоги и надѣлъ русскую рубашку съ кривымъ воротомъ. „Москва, столица русскаго народа, говорилъ онъ, а Петербургъ только резиденція”.—„И замѣтьте, отвѣчалъ я ему, какъ далеко идетъ это различіе, въ Москвѣ вѣсъ непремѣнно посадить на съльзажу, а въ Петербургѣ сведутъ на гаунтивахту”.

Аксаковъ остался до конца жизни вѣчно восторженнымъ и безнечѣдѣльно благороднымъ юношемъ, онъ увлекался, былъ увлекаемъ, но всегда быть чистъ сердцемъ. Въ 1844 году, когда наши споры дошли до того, что ни „славяне”, ни мы не хотѣли больше встѣрѣваться, я какъ-то шель по улицѣ, К. Аксаковъ щахъ въ саняхъ. Я дружески поклонился ему. Онъ было проѣхать, но вдругъ остановилъ кучера, вышелъ изъ саней и подошелъ ко мнѣ. „Мнѣ было слишкомъ больно”, сказалъ онъ „проехать мимо васъ и не проститься съ вами. Вы понимаете, что послѣ всего, что было между вашими друзьями и моими, я не буду къ вамъ ѳадитъ; жаль, жаль, но дѣлать нечего. Я хотѣлъ пожать вамъ руку и проститься”. Онъ быстро пошелъ къ санямъ, но вдругъ воротился; я стоялъ на томъ же мѣстѣ, мнѣ было грустно; онъ бросился ко мнѣ, обнялъ меня и крѣпко поцѣловалъ. У меня были слезы на глазахъ. Какъ я любилъ его въ эту минуту скоры”.

Приблизительно также относились къ Константину Аксакову и другіе западники. Уже не буду говорить о Бѣлинскомъ. И въ періодъ пѣжной дружбы, о которой была выше

рѣчъ, и позднѣе Бѣлинскій одинаково восторженно цѣнилъ въ Аксаковѣ основное благородное зерно всѣхъ движений его души. Замѣтимъ, что Бѣлинскій никогда собственно не относился слѣпо къ своему другу. Недостатки его онъ сознавалъ весьма опредѣленно, и съ большою психологическою проницательностью выдѣлилъ въ немъ элементъ какой-то нравственной неподвижности и отсутствія той тревоги, которая придаетъ такое неотразимое обаяніе лихорадочному метанію Бѣлинскаго. Но все это, конечно, не могло ослабить общаго впечатлѣнія.

Вотъ некоторые изъ отзывовъ Бѣлинскаго:

„К. Аксакова я чѣмъ болѣе узнаю, тѣмъ болѣе люблю,— пишетъ Бѣлинскій въ ноябрѣ 1837:— это одинъ изъ малолюдной семьи сыновъ божіихъ. Онъ еще дитя... а главное дѣло, еще не искупленъ виѣшнею жизнью, виѣшнею борьбою, которая потому необходимы человѣку, что, какъ толчки, пробуждаютъ въ немъ жизнь и борьбу внутреннюю“.

Въ письмѣ къ Станкевичу, въ сентябрѣ 1839 г., Бѣлинскій говорилъ объ Аксаковѣ: „Ты его знаешь; онъ, коли хочешь, много перемѣнился, но впрочемъ все тотъ же. Въ немъ есть и сила, и глубокость, и энергія; онъ человѣкъ даровитый, теплый, въ высшей степени благородный, но, благодаря своему китайскому элементу, лишающему его движенія впередъ путемъ отрицаній, онъ все еще обрѣтается въ мірѣ призраковъ и фантазій, и даже не понюхать до сихъ поръ дѣйствительности“. (Пыпинъ, Бѣлинскій, 2-ое изд. стр. 138).

„К. Аксаковъ со мной какъ нельзя лучше. Его участіе ко миѣ иногда трогаетъ меня до слезъ. Невозможно быть расположеннѣе и деликатнѣе, какъ онъ со мною. Славный, чудный человѣкъ. Но молодъ такъ, что даже Катковъ годится ему въ дѣдушки. Въ немъ есть все—и сила, и энергія, и глубокость духа, но въ немъ есть одинъ недостатокъ, который меня глубоко огорчаетъ. Это—не прекраснодушіе, которое пройдетъ съ лѣтами, но какой-то китайскій элементъ, который примѣнялся къ прекраснымъ элементамъ его духа. Коли онъ во что засядеть, такъ во-первыхъ, засядеть по уши, а во-вторыхъ—во сто лѣтъ не вытащите вы его и за уши изъ того опущенъца или того понѣтица, которое отъ

праздности забредеть въ его, впрочемъ, необыкновенно умную голову". (*Ibid* стр. 238—239).

„Да, славное дитя Константина, жаль только, что движение въ немъ маловато" (стр. 238).

И еще семь лѣтъ спустя, въ 1846 году, когда между старыми друзьями легъ долгій періодъ самой ожесточенной полемики, Бѣлинскій писалъ:

„Я хорошо знаю лично К. Аксакова: это человѣкъ, въ которомъ благородство—инстинктъ натуры" (*Барсуковъ*, т. IX, стр. 36).

А вотъ своеобразная похвала Василія Боткина:

„Словенізмъ не произвелъ еще ни одного дѣльного человѣка: это или цыганъ, какъ Хомяковъ, или *благородный сонамбулъ Аксаковъ* или монахъ Кирѣевскій—это лучшіе".

Чрезвычайно симпатичными красками обрисовывалъ въ 1861 году личность только что умершаго К. Аксакова одинъ изъ собственниковъ „Современника”—Панаевъ. И если вспомнить, что „Современникъ“ тогда находился въ ожесточенной перепалкѣ съ славянофилами, то мы тутъ опять имѣемъ доказательство необыкновенного нравственнаго обаянія К. Аксакова, про котораго недаромъ Герценъ, въ другомъ мѣстѣ своихъ воспоминаній, говорилъ, что онъ „одинъ изъ тѣхъ противниковъ, которые были ближе намъ многихъ своихъ“.

И такъ какъ это отношеніе къ К. Аксакову можно назвать всеобщимъ, то я и считаю возможнымъ въ заключеніе биографической части настоящей статьи съ полнымъ довѣріемъ привести отрывки изъ воспоминаній горячаго поклонника аксаковскихъ идей—Н. Бицына (псевдонимъ Н. М. Павлова) въ „Рус. Архивѣ“ 1885 г., № 3. Воспоминанія Бицына представляютъ собою въ литературѣ о К. Аксаковѣ наиболѣе цѣльное собраніе отдѣльныхъ свѣдѣній о его характерѣ и нравственной личности.

„Какое множество, быть можетъ, умныхъ людей“, начинаетъ Бицынъ свои воспоминанія, „съ высоты своего практическаго разумѣнія считали Константина Сергеевича ребенкомъ и даже дитей. Какъ они должны были забавляться его простодушно вѣрою въ людей и совершеннымъ невѣдѣніемъ тѣхъ, такъ называемыхъ практическихъ истинъ, что извѣстны даже весьма должностнымъ умникамъ напасть. Но какъ вся эта масса свѣтскихъ мудрецовъ пасовала предъ нимъ, передъ этимъ „младенцемъ на злое“, именно ради его неумолимаго и неподкупнаго прав-

ственного чувства. Никакой сдѣлки съ совѣтствомъ, никакого компромисса или способа уживчивости, никакого modus vivendi кривды съ правдой онъ не допускалъ. „Я ему руки не подаю“, сказаъ мнѣ одинъ разъ Константина Сергеевича про человѣка, весьма извѣстнаго тогда въ московскомъ свѣтѣ. Признаться, меня это удивило, именно потому, что личность, о которой шла рѣча, пользовалась всеобщимъ вѣнчаниемъ почетомъ; трудно было бы и избѣжать встрѣчъ въ обществѣ именно съ этимъ, бывшимъ тогда въ славѣ, общественнымъ дѣятелемъ. — „Я не знаю ничего беззравственнѣе свѣтской нравственности“, продолжалъ какъ бы въ понясненіе своей мысли Константина Сергеевича. „Случалось ли вамъ слышать такое общепринятое про человѣка выраженіе (именно только въ свѣтѣ оно могло родиться!): это — разбойникъ, это — беззравственный человѣкъ, mais c'est un homme tout à fait comme il faut, руку ему можно подать?“.

„Я у нея не бываю и съ ней не говорю“, точно также сказалъ мнѣ разъ Константина Сергеевича про одну извѣстную даму, и это меня удивило тѣмъ болѣе, что съ ея мужемъ Константина Сергеевича быть въ постоянныхъ живыхъ отношеніяхъ.

К. Аксаковъ не позволялъ себѣ самыхъ пустыхъ отступлений отъ истины въ угоду условнымъ свѣтскимъ приличиямъ:

„Одинъ разъ“, разсказываетъ Бицынъ, „пришлось мнѣ просить Константина Сергеевича удѣлить нѣсколько часовъ времени для выслушанія одной рукописи, а къ ней онъ относился и самъ съ живымъ участіемъ. Онъ назначилъ мнѣ быть за другой-же день. Чтевіе началось съ раннаго утра и продолжалось часу до четвертаго. Предъ самымъ началомъ, Константина Сергеевича оговорилъ въ домѣ, что онъ будетъ занятъ и желающихъ видѣть собственно его не приметъ никого. Скоро раздался звонокъ, человѣкъ вошелъ въ комнату и назвалъ фамилію прѣхавшаго. „Сказать, что я занятъ и принять не могу“, отвѣчалъ Константина Сергеевичъ. Въ самомъ непродолжительномъ времени послѣдовала другой звонокъ, потомъ третій. Человѣкъ по прежнему входилъ съ докладомъ. „Занятъ и принять не могу“, по прежнему отвѣчалъ Константина Сергеевичъ. Не помню послѣ кого звонка и доклада, и, наконецъ, не выдержалъ и спросилъ: „почему бы не сказать въ такихъ случаяхъ общепринятаго дома нынѣ?“ „Очень жаль, что это общепринято“, съ живостью возразилъ Константина Сергеевичъ, „но ни въ малыхъ, ни въ большихъ дѣлахъ лгать не вижу надобности. Неужели не проще сказать: не могу принять, чѣмъ нынѣ дома? Тѣмъ болѣе, что, если бы кому-нибудь встрѣтилась теперь дѣйствительная надобность меня видѣть, мнѣ было-бы даже совѣтъ лишить его этой возможности, да еще и соглавъ предъ нынѣ.“ Но вотъ, вы сами видите, настѣнко и не беспокоить. Мнѣ кажется даже, что, привыкнувъ къ моему обычая, то-есть къ тому, что я не отказываю фразой дома нынѣ, сами посѣтили тяготятся теперь настаивать на непремѣнномъ свиданіи, а это бы-

вает при лживом отвѣтѣ *нѣтъ дома*<sup>1</sup>. Было и еще нѣсколько звонковъ. Послѣ одного изъ нихъ человѣкъ доложилъ фамилію одного изъ профессоровъ московскаго университета, оговоривъ, что просить непремѣнно принять хоть минуты на дѣло. Константина Сергеевича, извиняясь за перерывъ чтенія, вышелъ къ тому посѣтителю, и даже менѣе чѣмъ чрезъ дѣло минуты возвратился назадъ. „Вотъ видите-ли“, сказалъ онъ сіяющій, „мы и опять свободны продолжать чтеніе; такой маленький перерывъ почти и не помышлять намъ. А я радъ, что не отказалъ въ пріемѣ: профессоръ хлопочетъ объ одномъ бѣдномъ студентѣ, дѣло идетъ объ его опредѣленіи, а оно и вовсе не состоялось-бы, если-бы я не далъ себя видѣть, теперь же дѣло конечно, и молодой человѣкъ устроенъ. И повѣрьте мнѣ, люди чутки къ правдѣ болѣе, чѣмъ обыкновенно думаютъ. Откажи я ему подъ предлогомъ, что меня дома нѣть и потомъ выиди къ нему по усиленной просьбѣ, онъ продержалъ-бы меня гораздо дольше, чѣмъ теперь, когда ему сразу сказали, что я дома, но заняты“.

Столь же велико было прямодушіе К. Аксакова и въ тѣхъ случаяхъ, когда оно шло прямо въ разрѣзъ съ его личными выгодами. Какъ иллюстрацію Бицынъ приводить уже извѣстный намъ эпизодъ на магистерскомъ диспутѣ (см. выше стр. 53).

Въ тѣсномъ соотношеніи съ этой душевною чистотою находилось и тѣлесное цѣломудріе К. Аксакова, о которомъ Бицынъ, въ связи съ приведеною уже выше цитатою изъ переписки Гоголя, сообщаетъ любопытныя подробности:

„Гоголь въ одномъ изъ своихъ писемъ, теперь уже напечатанномъ въ полномъ изданіи его сочиненій, допустилъ такое выраженіе о Константинѣ Сергеевичѣ: „Этотъ человѣкъ боленъ избыткомъ силъ физическихъ и нравственныхъ, тѣ и другіе въ немъ накапливались, не имѣя проходовъ извергаться. И въ физическомъ и нравственномъ отношеніи онъ остался дѣственникъ. Какъ въ физическомъ, если человѣкъ, достигнувъ тридцати лѣтъ, не женится, то дѣлается боленъ, такъ и въ нравственномъ для него даже было-бы лучше, если-бы онъ въ молодости своей. . . .<sup>1</sup>). Но воздержаніе во всѣхъ разсѣяніяхъ жизни и плоти устремило всѣ силы у него къ духу. Онъ долженъ былъ неминуемо сдѣлаться фанатикомъ“. Гоголь умеръ за долго до возмужанія и кончины Константина Сергеевича. Нѣть ли адѣль, въ приведенныхъ словахъ, немножко того, что зовутъ съ большой головы на здоровую? При усердіи не по разуму и при веригахъ не по силамъ, дѣствительно, происходить болѣзни-

<sup>1</sup>) Приблизительно также относился къ дѣственности К. С. близкій къ славянофильскимъ кружкамъ Николай Бергъ. Онъ писалъ въ 50-хъ гг. Погодину: „Константина Аксакова имѣть, всѣдѣствіе своей дѣственности постоянный судь во всѣхъ органахъ, и это мѣшаетъ ему дѣлать самое простѣшее дѣло, какъ надо“ (Барсуковъ, т. XV, стр. 127). С. В.

ные пароксизмы духа и тѣла. Это тѣ первиболѣзненные припадки, въ которыхъ менѣе всего обличается духъ собственно такъ называемый. Эти пароксизмы составляютъ лишь законное возмездіе и своего рода казнь именно за извращеніе свободного духа: ибо, во всѣхъ явленіяхъ такого рода, собственно говоря, плоть прикидывается духомъ. Самъ Гоголь, какъ извѣстно, на послѣдокт., дѣйствительно, „воздерживался отъ всѣхъ разсѣяній жизни и плоти, и отъ этого всѣ у него силы устремились... только не къ духу, къ сожалѣнію, а именно къ фанатизму. Свобода духа и фанатизмъ двѣ вещи несовмѣстныя. Какъ нельзѧ сознателье и свободнѣе относился Константинъ Сергеевичъ даже къ своему дѣйственному состоянію, о чёмъ говорится въ этомъ печатномъ письмѣ Гоголя. Были другіе коментаторы этого состоянія Константина Сергеевича: они прямо считали его какимъ-то платоническимъ идеалистомъ; сама ужъ природа у него такая, это его физиологическая черта, не больше. На этотъ счетъ и тѣ, и другіе неправы. Это не было фанатизмомъ съ его стороны ни въ основѣ, ни въ послѣдствіяхъ, какъ могли бы заключить иные изъ письма Гоголя: это не было и отсутствіемъ подвига, какъ легкомысленно объясняли другіе. Я посмѣль ему прямо это высказать какъ-то разъ во время нашей бесѣды. „Говорятъ“ сказалъ я, „что въ самомъ организмѣ человѣка заключаются иногда условія для дѣйственнаго состоянія его; иной человѣкъ таковъ ужъ отъ природы, въ томъ иѣть и заслуги съ его стороны. Что вы скажете объ этомъ относительно вѣсъ самихъ?“—„Зачѣмъ такъ думать?“—возразилъ онъ съ живостью.—„Даромъ человѣку ничто не дается, достиженіе чего составляетъ нравственный подвигъ. Это подвигъ воли, и очень тяжелый“. И столько же скромно, сколько гордо, онъ прибавилъ: „Я скажу, по крайней мѣрѣ, о себѣ; иѣть, мнѣ это не даромъ далось“. Послѣднєе было имъ выговорено съ большими усилиемъ.“

При такомъ удивительномъ преобладаніи въ Константина Аксаковѣ духовной натуры надъ физической, намъ станетъ понятной паразительная смерть этого человѣка, не въ переносномъ, а въ буквальномъ смыслѣ умершаго отъ тоски. Смерть поистинѣ паразительная, если припомнить, что Конст. Аксаковѣ былъ атлетъ въ полномъ смыслѣ слова. „Злѣйшая чахотка и сухотка, безъ всякихъ физическихъ поводовъ къ тому, единствено отъ нравственнаго недуга!“ восклицаетъ Бицынъ. „И это въ Константина Сергеевича, чья крѣпость воли въ пословицу и котораго самъ Оверъ (московская знаменитость 50-хъ годовъ) за его желѣзное здоровье звалъ печенѣгомъ“. Умиравшій Сергѣй Тимофеевичъ предчувствовалъ, что столь дорогой его сердцу первенецъ скоро послѣдуетъ за нимъ въ могилу. „Бѣдный Константинъ!“ говорилъ онъ. „Боюсь за него: онъ не перенесетъ“. На воз-

можных успокоения со стороны собеседника, онъ возражалъ однимъ и тѣмъ же: „Нѣтъ! все это было бы возможно при другомъ воспитаніи Константина; а онъ воспитанъ не такъ“.

Предчувствія старика оправдались. 30-го Апрѣля 1859 г. умеръ Сергій Тимофеевичъ, а уже въ срединѣ мая Бицынъ, западши въ редакцію „Русской Бесѣды“,

„услыхалъ мало утѣшительнаго. Константина Сергіевича былъ безнадеженъ: не только свои, и чужіе боялись за него. Его укоряли, что онъ не бережетъ себя, еще прямо и въ томъ, что онъ какъ бы намѣренно убиваетъ себя. Къ этому прибавляли, что онъ страшно измѣнился. Хорошо предупрежденный на этотъ счетъ, я готовился быть особенно осторожнымъ при встрѣчѣ съ нимъ. Переѣхавъ только улицу, ужъ я былъ на Кисловкѣ, а сдѣлавъ еще шаговъ тридцать къ знакомому дому, ужъ видѣлъ палисадникъ за перилами, большія ворота, и изъ воротъ, въ противоположную отъ меня сторону, медленными шагами удалявшуюся фигуру. Я нагналъ всѣльѣ, медленно отходившій отъ меня обернулся. Можно ли было узнать прежняго, бодраго душевно и гѣлесно Константина Сергіевича! Мало сказать: онъ страшно измѣнился въ лицѣ! нѣтъ, а отъ общей искудалости было еще что-то удлиненное и утонченное во всей фигурѣ. Пепельность бороды и усовъ, вдругъ взявшаяся просѣдь, вмѣсто прежняго ихъ цвета; съ ногъ до головы чрезвычайная угрюмость во всемъ видѣ; неподвижный, какой-то внутрь资料 самого себя обращенный, самоуглубленный взоръ и тихость, жуткая тихость,—поразили меня.

— Я иду въ церковь,—сказалъ онъ, — какъ служба отойдетъ — вернусь. Вы меня застанете дома, я жду васъ.

— Но, Константина Сергіевичъ, поберегите себя,—вырвалось у меня совершившо невольно.

Тутъ же, стоя на улицѣ, онъ отвѣчалъ очень серьезно, по тихимъ и задумчивымъ голосомъ, а не какъ бывало: „Да, меня упрекаютъ. На меня даже заводятъ обвиненіе, что я не удерживаюсь отъ горя, даю ему волю и намѣренно разстраиваю себя. Не вѣрьте этому. А просто не могу“.

„Кто разсчитывалъ на время“, говорить въ другомъ мѣстѣ Бицынъ, „надѣясь еще, что само время излѣчитъ—тотъ ошибся вдвойнѣ“. „Время тутъ ничему не поможетъ, повторѣть“ говорилъ онъ мнѣ еще тогда въ Москвѣ, и онъ былъ правъ. Въ горести, давившей все его существо, не было ничего эффектированнаго съ самаго начала: ничего такого, что было бы связано, какъ самъ онъ говорилъ, съ первымъ разстройствомъ; а лишь въ такихъ случаяхъ и помогаетъ время. Это была, напротивъ того, скорбь усилившаяся съ каждымъ днемъ, потому что каждый новый день приносилъ и большее разувѣреніе въ возможности будущаго и настоящаго безъ прошлаго“.

Ярче всего настроеніе Константина Сергіевича сказалось въ одномъ изъ писемъ къ Бицыну, удивительно симпатично

обрисовывающемъ этого высоко-идеального человѣка, сотканнаго изъ однихъ чистыхъ помысловъ и возвышенныхъ порывовъ:

„Вы приглашаете меня къ вамъ въ деревню, братъ показалъ мнѣ письмо ваше. Приглашеніе ваше такъ искренно, въ немъ сказалось такое дружеское движеніе, что мнѣ захотѣлось непремѣнно написать вамъ, и вотъ я пишу. Я всегда очень много цѣнилъ въ жизни привѣтъ и всегда съ такою радостью на него отзывался; но привѣтъ вовсе не такъ часто встрѣчается въ жизни, какъ, можетъ быть, думаютъ. Въ вашихъ словахъ мнѣ послышался именно этотъ привѣтъ, который такъ рѣдокъ. Еслибъ это приглашеніе ваше сдѣлано было бы при батюшкѣ . . . тогда я не проѣздомъ къ Хомякову, а нарочно бы къ вамъ побѣхаль. Но теперь, любезнѣйшій . . . все кончилось. Ни удовольствіе, ни радость жизни для меня существовать не могутъ. Однажды словомъ, жизнь кончилась—жизнь какъ моя. Я здѣсь еще, подъ условіями этой жизни; но это не моя жизнь. Все доброе, все хорошее въ другихъ—я чувствую; отзываюсь на это, какъ и на ваше приглашеніе, и только. Еслибъ вы предлагали какое-нибудь удовольствіе, мнѣ было бы пріятно видѣть ваше желаніе, а отъ самаго удовольствія я бы отказался, потому что его нѣтъ для меня. Такъ теперь и вы все сдѣлали, пригласивъ меня, и дали мнѣ все, что я могу теперь принять. Прежде для меня было бы истиннымъ удовольствіемъ повидаться съ вами у вѣсъ . . . взглянуть на юную семью въ обстановкѣ природы со всей ея непостижимой красотою, которую батюшка передаетъ въ своихъ сочиненіяхъ такъ неподражаемо. Но этого прекраснаго удовольствія для меня теперь быть не можетъ. Это все кончилось. Вы знали Константина Сергеевича, который удить, курить, съ восхищеніемъ радуется жизни и природѣ въ каждомъ ея проявленіи, будь это зима или лѣто, будь это палящее солнце или дождь, промачивающій насеквоздь, Константина Сергеевича, который любитъ слышать въ себѣ силы именно тогда, когда неудобство, стужа или что нибудь подобное ихъ вызываетъ; который въ восхищеніи и крѣпнетъ на телѣгѣ, прыгающей по камнямъ, или подъ дождемъ, его всего обливающимъ,—Константина Сергеевича, который 28 верстъ проходитъ, не присаживаясь, выпиваетъ сливовѣцъ, потомъ квасу и отправляется еще, вавалившись на себя огромныхъ удилица,—удить. Теперь Константина Сергеевича не удить, не курить, смотрѣть и не видѣть природы или болѣзникою ее чувствуетъ и даже отворачивается отъ нея; иѣженкой онъ не сдѣляется, слабымъ тоже; но не слышать въ себѣ этого пріятнаго ощущенія силъ, не ищетъ чего-нибудь понеудобнѣе и потяжелѣе; ему все равно, карета ли или любимая прежде телѣга, въ которой онъ прежде даже и стихи писать. Да, все для меня кончилось, жизнь моя кончилась; жизнь была хороша и исполнена прекрасныхъ радостей; и вотъ я помянулъ себя въ письмѣ къ вамъ. Благодарю же васъ... за все радушіе, какое я видѣль бы у васъ. Обнимая васъ крѣпко.. Я занимаюсь довольно; это я считаю своимъ долгомъ, который я долженъ выполнить. Постараюсь сдѣлать все, что могу, на что имѣю способности, и

такимъ образомъ расплатиться съ долгами. Я точно собираюсь перевѣхать и укладываться. Прощайте... Вашъ Константина Аксаковъ". Былъ post-scriptum: „время дѣйствуетъ на меня совершенно наоборотъ противъ того, какъ полагаютъ".

Письмо это относится къ Августу 1859 г. Всю зиму затѣмъ К. С.

„чахнуль; весной и лѣтомъ заболѣть такъ, что его отправили за границу, въ томъ же 1860-мъ году онъ и скончался 7-го Декабря вдали отъ родины, въ Греческомъ архипелагѣ, на островѣ Занте. За-границею первоклассный знаменитости, иноземные врачи дивились чахоткѣ и сухоткѣ этого богатыря, умиравшаго съ тоски по своемъ отцѣ; собственно, вся и болѣзнь была въ этомъ. Доктора не давали лекарствъ, не прописывали рецептovъ, совѣтовали только развлекать его. Тогда Италия шумѣла именемъ Гарибальди; въ ней пробуждалось народное движение, не совѣтовали пускать туда, а указывали на какія-нибудь „увеселительные воды" или даже на Парижъ, совѣтуя возить на разныя гулянья, а если въ театръ, то исключительно въ водевили, но жить такимъ образомъ для Константина Сергеевича значило не жить. Онъ уже умиралъ, послѣднія оставшіяся средства, хоть для продленія послѣдніхъ дней, медики свели на „теплый морской климатъ", и вотъ онъ попалъ на островъ Занте. Когда пароходъ везъ его къ этому послѣднему пристанищу, онъ съ болѣзнистой грустью глядѣть въ волны и говорить своему неизмѣнному спутнику, сопровождавшему его брату, Ивану Сергеевичу Аксакову: „Неужели, однако, ужъ и кончено? Какъ не ожидалъ я, но чтобы такъ ужъ скоро, кто бы думалъ?"

На пустынномъ островѣ не было русскаго православнаго священника для исповѣди больного; нашелся грекъ, едва говорившій по-французски. У этого-то грека и исповѣдывался умирающій на своемъ нелюбимомъ языкѣ. Что за судьба? И, словно, еще не ironія ли съ ея стороны? Никакой ironіи тутъ нѣть, хотя и знаменательно оно. Свободная вѣра Константина Сергеевича не знала ничего условнаго, и всякий фетишизмъ былъ ей чуждъ. Кто не понималъ и не понимаетъ, что можно снимать шапку въ Спасскихъ воротахъ и креститься на золотыя маковки Кремля и въ то же время не быть фетишистомъ,—тотъ не понимай.

Грекъ, призванный къ умирающему и спѣшившій попросту спрavitъ требу, былъ изумленъ исповѣдью, причащеніемъ и кончиной столь необыкновеннаго человѣка. Самымъ простодушнымъ образомъ выражалъ онъ свое удивленіе и недоумѣніе; онъ просилъ: нельзя-ли ему повидать всѣхъ близкихъ этого человѣка и, главное, матеря покойнаго? Ему хотѣлось передать— и если не придется лично, грекъ просилъ ей передать отъ него—праведникъ скончался, еще не видывалъ исповѣдника примѣровъ такой вѣры на землѣ<sup>1)</sup>. Онъ не прекращалъ своихъ разспросовъ: Да кто-же это былъ? Кто это умеръ передъ нимъ?

1) Бицина обманула память. Мать была присмерти К. С-ча — см. дальше. С. В.

Ему отвѣчали что это былъ Константина Сергеевича Аксаковъ. И что-же можно было сказать больше этого?

И если этотъ праведникъ произвелъ такое глубокое впечатлѣніе на необразованнаго, захолустнаго попа-грека, то удивительно-ли, что огромно было обаяніе, которое онъ производилъ на людей, жившихъ приблизительно такими-же, какъ и онъ самъ, нравственными стремлѣніями:

„Теперь прошло не мало времени со смерти Константина Сергеевича“ говорить Бицынъ, „а встрѣчаясь съ его знакомыми, приходится отъ нихъ слышать и до сихъ поръ неправда-ли, всякий разъ, какъ приходилось, быть съ Константиномъ Сергеевичемъ, послѣ того приходилось и самого себя чувствовать какъ-то чисто; какъ-то нравственнѣе дѣлался съ нимъ, и нравственность чувствовалъ болѣе обязательную для себя“.

Послѣ напечатанія цѣнныхъ воспоминаній Бицына (теперь уже покойнаго) появилась семейная переписка Ивана Аксакова. Тутъ мы, въ III и IV т., находимъ множество свѣдѣній о послѣдніхъ мѣсяцахъ жизни Константина Сергеевича, какъ въ письмахъ брата Ивана и матери Ольги Семеновны, такъ и въ дневникахъ сестеръ Вѣры и Любови.

Собственно для характеристики духовнаго облика Константина Сергеевича эти, сами по себѣ очень интересные, письма и дневники ничего не даютъ. Передъ нами больничный скорбный листъ, картина быстраго разрушенія недавно еще столь замѣчательной и физической, и духовной мощи. Главнымъ образомъ эта переписка и дневники интересны тѣмъ, что еще разъ ярко характеризуютъ удивительную семейную привязанность Аксаковыхъ. Съ какой нѣжностью заботился Иванъ о больномъ братѣ, осенью 1860 г., прервавъ свое путешествіе по славянскимъ землямъ. Онъ объѣздилъ съ нимъ всѣхъ знаменитыхъ врачей Берлина, Гейдельберга, Вѣны, и какъ нянѣка смотрѣть за нимъ во время крайне неудачнаго лечения виноградомъ въ Швейцаріи (Веве). Тѣмъ временемъ двинулась въ Европу матъ съ двумя дочерьми. Всю жизнь проведши съ Константиномъ, Ольга Семеновна не могла вынести разлуки съ умирающимъ сыномъ, и не предаваясь никакимъ иллюзіямъ, рѣшила, все-таки, во чтобы-то ни стало быть при немъ до горестнаго конца. Денежная дѣла семьи были теперь въ самомъ плачевномъ положеніи, но любовь все преодолѣваетъ и другихъ пріязнью заражаетъ. Пришель на помощь старый другъ Сергея Тимофеевича — Княжевичъ, въ то время министръ финансовъ. Онъ далъ 3000 р.

Безконечно грустно было свиданіе въ Бреславль, куда братья выѣхали на встрѣчу матери и сестрамъ, не оставляло никакой надежды консультація со знаменитымъ вѣнскимъ врачемъ Шкодой. И вдобавокъ крайне неудаченъ бытъ се-  
вѣть Шкоды ъхать на Занте. Если бы поѣхали въ Каиръ и даже въ сѣверное мѣсто, но такое, где имѣются печи, было бы лучше. А островъ Іонического архипелага Занте съ точки зрењія даже самыхъ элементарныхъ удобствъ оказался мѣ-  
стомъ ужаснымъ. Ни сколько-нибудь серьезной медицинской помощи, ни подходящаго помѣщенія для больного, ни под-  
ходящей пищи, простого молока нельзѧ было достать. Быстро и мучительно надвигалась смерть. Константина Сергѣевича постоянно душить кашель, доводившій его до совершенного изнеможенія. И нужно читать дневникъ Вѣры Сергѣевны, чтобы видѣть, какъ эти муки отражались на родныхъ. Еще у Ивана Сергѣевича были и глаза для созерцанія роскоши южной природы и воспріимчивость для переживанія политическихъ событій. Но мать и сестры всецѣло сосредоточились на мукахъ безсильной борьбы съ роковымъ недугомъ. Глубоко-вѣрующія, онѣ находили исходъ своей тоскѣ въ за-  
казываніи молебновъ. Жители острова съ изумленіемъ слѣ-  
дили за ихъ яркою молитвою.

Послѣ трехнедѣльного пребыванія на Занте Конст. Сергѣевичъ въ ночь съ 6 на 7 дек. 1860 г. скончался. Само собою сложилось рѣшеніе не разставаться съ дорогимъ прахомъ. Съ далекаго острова гробъ бытъ перевезенъ черезъ Триестъ, Вѣну, Бреславль, Вержболово, Петербургъ, въ Москву. Передъ похоронами, мать, какъ пишетъ Иванъ Сергѣевичъ извѣстному настоятелю посольской церкви въ Вѣнѣ протоіерею Раевскому, „объявила непремѣнное свое желаніе, чтобы гробъ брата бытъ открытъ, чтобы отпѣваніе было повторено. Въ тотъ же понедѣльникъ (2 янв. 1861) отправился я къ Филарету, потомъ подать записку генерал-губернатору и къ величайшему удивленію моему и всѣхъ—казавшееся невозможнымъ исполнилось легко и скоро! Вотъ что значитъ материнская энергія и настойчивость! Разрѣшено было от-  
крыть гробъ, тутъ же, среди Москвы, въ церкви и повторить отпѣваніе: вещь неслыханная! Все это мы успѣли обѣдать въ самый день приѣзда, въ понедѣльникъ, а на дру-

гой день были похороны. Утромъ передъ похоронами вскрыть я гробъ съ замираниемъ сердца: ну, если бальзамированіе не выдержало? Оно вполнѣ выдержало, и братъ лежитъ въ гробу, какъ на другой день смерти. Я думалъ сначала, что видъ умершаго разстроить маменьку и сестерь. Напротивъ, это доставило имъ невыразимое утѣшеніе, особенно тѣмъ, которые не были съ нимъ на Занте и такъ сказать не простились съ нимъ".

Похоронили К. С. въ Симоновомъ монастырѣ, рядомъ съ отцемъ.

Родные искали грустное удовлетвореніе въ томъ, что смерть Конст. Сергеевича вызвала всеобщее соболѣзнованіе. Очень ихъ тронула цитированная выше откликъ Герцена въ „Колоколь“ (Пер., IV, 45). Примѣшивалось, однако, и иное чувство горечи. Такъ, Ольга Семеновна писала Раевскому:

„Вотъ стихи, которые были читаны вчера въ публичномъ засѣданіи Общества любителей русской словесности <sup>1)</sup>, при множествѣ слушателей—мнѣ захотѣлось сообщить вамъ, напрѣдъ добрый иуважаемый сэрлечно другъ Михаилъ Федоровичъ; и вчера же читаны и стихи Хомякова: „Вставайте, оковы распались“—и Константиновы: „Свободное слово“. Съ сильнымъ участіемъ прослушали ихъ, но не произвели они тѣхъ волненій, которыхъ напрасно боялись и въ силу чего прошлаго года не рѣшились прочесть, несмотря на желаніе и просьбу Константина; такъ мнѣ больно это, какое бы наслажденіе было для него услышать ихъ публично! Теперь и съ кафедры Костомаровъ, профессоръ въ Петербургѣ, сказалъ рѣчь о заслугахъ и значеніи Константина въ исторіи и литературѣ, и полторы тысячи было слушателей и вся рукоплескали, а сколько злыхъ было нападокъ! Боже мой! Неважели надо умереть, чтобы отдали справедливость человѣку, а при жизни ничѣмъ не быть утѣшеннъ, никакимъ проявленіемъ! Скорбить моя душа о томъ!“

Пришло вамъ рѣчь Лонгинова о Константинѣ. Всѣ журналы теперь заговорили.. (Пер.. IV, приложенія, 27).

<sup>1)</sup> Рѣчь, очевидно, о стихахъ Плещеева. См. только что вышедшую юбилейную записку „Общ. Люб. Рос. Слов.“ (М. 1911), Приложенія, стр. 107—протоколъ 154-го засѣданія, 26 февр. 1861 г.

### VIII.

#### Стихи Константина Аксакова.

Какъ уже было сказано выше, раньше другихъ родовъ творчества К. Аксаковъ проявилъ свои литературныя способности на поприщѣ стихотворства. Писаніе стиховъ было настѣдственно въ родѣ Аксаковыхъ, и всѣ три представителя его оставили послѣ себя обильное поэтическое наслѣдство.

„Поэтическое“, впрочемъ, больше въ формальномъ значеніи этого слова, потому что сколько-нибудь видное художественное значеніе имѣютъ только стихи Ивана Сергеевича. Стихи Сергея Тимофеевича были весьма посредственны.

Было-бы болѣшою несправедливостью примѣнить послѣдній эпитетъ и къ стихамъ Константина Сергеевича, которые по полету мысли несравненно выше и не лишины интереса съ „гражданской“ точки зрѣнія. Но несомнѣнно, однако же, что рассматриваемые съ чисто-литературной точки зрѣнія, съ точки зрѣнія проявленнаго въ нихъ таланта, они не высоко стоятъ.

Враждебная идея 60-хъ годовъ критика любила и любить подчеркивать, что такъ называемая „гражданская поэзія“, отодвигающая на второй планъ непосредственно-художественные цѣли, введена въ русскую литературу Некрасовымъ и „тенденціозно“ критикою Добролюбова, Писарева и др. Утвержденіе это, однако же, только на половину вѣрно. Если мы присмотримся къ славянофильской поэзіи, мы не преминемъ убѣдиться, что даже въ лицѣ наиболѣе даровитыхъ представителей своихъ—Хомякова и Ивана Аксакова, она за-

долго до движенья 60-хъ годовъ рѣшительно отвергла завѣтъ Пушкина быть поэзію „звуковъ сладкихъ и молитвъ“. „Житейскія волненія“ и „битвы“ всегда были ея главною задачею. Поэзія Константина Аксакова всецѣло имѣеть служебное, публицистическое назначение. Стихи для К. Аксакова были однимъ изъ средствъ проводить свои любимыя идеи. Тѣ же темы, которыя составляютъ предметъ его историческихъ, филологическихъ и публицистическихъ работъ, легли въ основаніе и наиболѣе прочувствованныхъ изъ стихотвореній его. К. Аксаковъ писалъ стихи не порывами, какъ братъ его Иванъ, а въ теченіе всей своей жизни, и все, что только волновало его, какъ публициста и историка, все это онъ выливалъ въ риѳмованнныя строки.

Не именно только въ риѳмованнныя строки.

Если про „гражданскіе мотивы“ 60-хъ годовъ принято говорить, что они представляютъ собою передовыя статьи въ стихахъ, то тѣмъ болѣе примѣнно такое опредѣленіе къ стихотвореніямъ К. Аксакова. Когда я первый разъ писалъ о Константинѣ Аксаковѣ, въ 1887 году, и ознакомился съ его стихотвореніями, я не нашелъ между ними ни одного, которое имѣло бы цѣли непосредственно-художественные. Съ тѣхъ порь число обнародованныхъ стихотвореній нашего поэта-публициста нѣсколько увеличилось<sup>1)</sup>), благодаря изданной его племянникомъ С. Г. Аксаковымъ небольшой книжкѣ „Стихотворенія К. С. Аксакова“ (М. 1909), но выводъ остается неизмѣннымъ. Все поэтическое наслѣдіе Конст. Аксакова представляетъ собою или призывъ „домой“—въ дѣтровскую Русь, или сѣтованія на „оторванность“ интеллигентіи отъ народа, или, наконецъ, отдѣльные пункты программы желательной государственной жизни Россіи.

Но, конечно, не самое содержаніе, только-что отмѣченное, дѣлаетъ стихотворенія К. Аксакова мало-поэтичными. Не въ томъ же, въ самомъ дѣлѣ, состоять истинная поэзія, чтобы воспѣвать исключительно „красу небесъ и ласки милой“.

1) Говорю „нѣсколько увеличилось“, потому что, повидимому, много стихотвореній К. А. еще остается въ рукописи. См. дальше библіогр. примѣчанія.

Если я называю стихи К. Аксакова мало-поэтичными, то, конечно, не за общественно-политическое содержание ихъ, а за недостаточно-поэтичную обработку этого содержания. Поэзія только тогда поэзія, если она говорить не только уму, но и воображению, если она доказывает и объясняет свои тезисы не словами, а образами и картинами. И воть именно образовъ-то и картинъ и нѣть совсѣмъ въ стихотвореніяхъ К. Аксакова. Чтобы не быть голословнымъ, приведу пѣсколько стихотвореній, которые въ ряду поэтическихъ произведений Константина Сергеевича могутъ быть названы наиболѣе сильными и наиболѣе отражающими его стихотворную манеру. Вотъ, напр., напечатанное въ „Днѣ“ 1862 года, стихотвореніе „Возвратъ“, съ призывомъ „домой“, тѣмъ самымъ призывомъ, который надѣлалъ такъ много шума въ началѣ 80-хъ годовъ и неправильно приписывался Ивану Сергеевичу, между тѣмъ какъ на самомъ дѣлѣ онъ принадлежитъ Конст Сергеевичу и относится еще къ 1843 году.

Прошли года тяжелые разлуки,  
Отсутствія исполненья долгой срокъ,  
Прельщенія, сомнѣнія и муки  
Испытаны,—и взять благой урокъ!  
Оторваны могущею рукою,  
Мы бросили отчество свое,  
Умчались вдали, пѣтнясь чужой землею,  
Земли родной преэрѣвши бытіе.  
Преступно мы объ ней позабывали,  
И голосъ къ намъ ея не доходилъ;  
Лишь иногда мы смутно тосковали:  
Насъ жизни ходъ насильственный давилъ!  
Предателей, измѣниковъ не мало  
Межъ нами въ долгомъ странствіи нашлось;  
Въ чужой земль ничто ихъ не смущало,  
Сухой душѣ тамъ весело жилося!  
Слегъ туманъ! предъ нашими очами  
Явилась Русь.. Родной ея призывъ  
Звучить опять, и нашими сердцами  
Вновь овладѣлъ живительный порывъ,  
Конецъ, конецъ томительной разлуки!  
Отсутствію настать желанный срокъ.  
Знакомые тѣснятся въ душу звуки  
И взоръ впёренъ съ любовью на Востокъ  
*Пора домой!* И, пѣсни повторяя  
Старинныя, мы весело идемъ.

Пора домой! Насъ ждеть земля родная,  
Великая въ страданіи пѣмомъ!  
Презрѣніемъ отягчена жестокимъ,  
Народнаго столица торжества,  
Опять полна значеніемъ глубокимъ  
Является великая Москва.  
Постыдное, бесчестное презрѣніе,  
Скорѣе въ прахъ! Свободно сердце вновь,  
И грудь полна тревоги и смятений,  
И душу всю наполнила любовь!  
Друзья, друзья! Тѣснѣе въ кругъ сомкнемся,  
Покорные движенье своему,  
И радостно, и крѣпко обоймемся,  
Любя одно, стремясь къ одному!  
Землѣ родной—все, что намъ Небо дало, въ  
Мы посвятимъ! Пускай заблещетъ мечъ,  
И за нее, какъ въ старину бывало,  
Мы радостно готовы стать и лечь.  
Друзья, друзья! Грядущее обильно,  
Надежды сладкой вѣруйте словамъ.  
И жизнь сама, насы движущая сильно,  
Порукой за будущее намъ!..  
Смотрите—мракъ ужъ робко убѣгаеть,  
На западѣ земли лишь онъ растеть:  
Востокъ горитъ, день не далекъ, свѣтаетъ,  
И скоро солнце красное взойдетъ!

А вотъ другое стихотвореніе („Гуманисту“ въ „Днѣ“ 1862 г., № 8), иллюстрирующее одну изъ наиболѣе занятыхъ мыслей К. Аксакова—о необходимости тѣсной связи съ народомъ, съ „землею“. Поэтъ обращается къ гуманисту съ слѣдующими рѣчами укоризны:

Ты эгоистъ, хотя-бы наслажденья  
Высокія испытывать твой духъ;  
Ты эгоистъ, хотя-бы другихъ мученья  
Болѣзнико тревожили твой слухъ;  
Хотя-бы тебѣ высокое искусство  
Открыло свѣты таинственный во мглѣ,  
Хотя-бы въ тебѣ горѣло свято чувство  
Къ прекрасному, благому на землѣ;  
Хотя-бы своей любовью широкой  
Ты всѣхъ людей и цѣлый міръ объять,  
Хотя-бы ты плакаль и страдаль жестоко  
И радостью прекрасною силь...  
Но ты сидишь съ простертymi руками,

Съ возвышеннымъ мечтаньемъ на члѣвъ,  
Съ блестящими и влажными глазами,  
Уединенъ далекъ на скалѣ:  
Передъ тобой толпа стремится тѣсно—  
Ты полонъ къ ней участья и любви,  
Ты для людей придумаешь міръ чудесный,  
Огонь мечты горить въ твоей крови...  
О, нѣть, не такъ участіе прилично,  
И правды нѣть въ волненіи думъ твоихъ:  
Бѣды людей ты испытуешь лично,  
И плачешь ты не съ ними, а объ нихъ!  
Не понялъ ты великаго значенья  
Въ одинъ потокъ соединенныхъ волнъ!  
Могущества ихъ общаго стремленія  
Не понялъ ты; *своей* тоскою полни!  
Оставь-же *свой* отдельный міръ страданья,  
Гдѣ ты живешь—вдали людей люби!  
Участія не нужны подаянья,  
Изъ цѣлаго не исключай себя.  
Лишь откажись отъ личныхъ притязаній,  
Живую связь: поймешь ты въ мигъ,—и вотъ  
Съ своей судьбой и моремъ колебаній,  
Величественъ является народъ!  
Скорбь общая и общая невзгода  
Тебѣ твои страданья замѣнять,—  
Сильнѣй всего великий гласъ народа,  
Предъ нимъ твои всѣ вопли замолчатъ!  
Пойми себя въ народѣ! Не сжимаетъ,  
Какъ океанъ, твоей свободы онъ:  
Тебѣ онъ только мѣсто назначаетъ,  
Ты общему въ немъ живо покорентъ.  
А безъ того—ты эгоистъ безъ силы,  
И жизнь твоя прекрасная пуста,  
Страданья вялы и оружья гнилы,  
Порывъ бесплоденъ и ложна мечта.  
Съ народомъ лишь заойдетъ свобода зреѣло,  
Могущественъ народа только кликъ,  
Принадлежитъ народу только дѣло,  
И путь его державенъ и великъ!

Извѣстно, вообще, что никто въ русской литературѣ не говорилъ съ такимъ чисто-экстатическимъ воодушевленіемъ о свободѣ слова, какъ славянофилы. Для партии западнически-передовой убѣжденіе въ необходимости свободы слова было понятіемъ настолько азбучнымъ, что не являлось даже и воодушевленія для доказательства такого труизма. Славяно-

филы же, особенно побуждаемые еще и тѣмъ, что въ глазахъ многихъ они сливались въ одно представлениѳ съ Булгаринымъ и Гречемъ, всѣми силами старались очиститься отъ такого позорнаго смѣшнія, и это придавало имъ энтузіазма въ проповѣди самыхъ элементарныхъ принциповъ гражданской жизни. И несомнѣнно, что самымъ пламеннымъ въ русской поэзіи прославленіемъ свободы печати, но, увы, не въ блещущей художественными достоинствами формѣ, является „Свободное Слово“ Константина Аксакова.

Ты—чудо изъ божьихъ чудесъ,  
Ты— мысли свѣтильникъ и пламя,  
Ты—лучь намъ на землю съ небесъ,  
Ты—намъ человѣчества знамя.  
Ты гонишь невѣжества ложь,  
Ты вѣчною жизнью ново,  
Ты къ свѣту, ты къ правдѣ ведешь,  
Свободное слово.

Лишь духъ власть духа дана,—  
Въ животной же силѣ нѣть прока:  
Для истины—гибель она,  
Спасенье—для лжи и порока;  
Враждуетъ ли съ ложью—равно  
Живить его жизнью новой...  
Неправдѣ—опасно одино

Свободное слово.

Ограды властямъ никогда  
Не низди на рабство народа!  
Гдѣ рабство—тамъ бунтъ и бѣда,  
Зашита отъ бунта—свобода.  
Рабъ въ бунтѣ опаснѣй звѣрей,  
На ножъ онъ мѣняетъ оковы...  
Оружье свободныхъ людей—

Свободное слово.

О, слово, даръ Бога святой!  
Кто слово, даръ божескій свижеть,  
Тотъ путь человѣку иной,—  
Путь рабства преступный укажетъ.  
На козлихъ, на вредную рѣчъ  
Въ тебѣ жъ и цѣленье готово  
О, духа единственный мечъ,

Свободное слово!

Это стихотворение, какъ мы знаемъ (стр. 189), было прочтено, въ февралѣ 1861 г., въ Обществѣ Любителей Рос. Словесности. Но появилось оно въ печати только 27 лѣтъ послѣ того, какъ было написано—въ „Руси“ 1880 г. (№ 1). Я первый обратилъ на него подлежащее вниманіе, когда настоящій этюдъ печатался первый разъ (1887), и съ моей легкой руки оно цитируется очень часто. До извѣстной степени, „Свободное Слово“ даже стало лозунгомъ всѣхъ требованій свободы печати и особенно было популярно въ 1904—1905 гг. Большая публика только съ этимъ стихотвореніемъ Конст. Аксакова и знакома.

Указанныя три стихотворенія освѣщають самые дорогіе К. Аксакову пункты его общественнаго міросозерцанія. Каза-лось-бы, значить, что по такому поводу онъ долженъ быть развернутъ весь имѣвшійся въ его творческой способности лирическій павосъ. И между тѣмъ всякий, кто сколько-ни-будь привыкъ разбираться въ поэтическихъ произведеніяхъ и различать въ нихъ настоящее поэтическое золото отъ ми-шурныхъ блестокъ, всякий такой цѣнитель сразу, конечно, почувствуетъ въ приведенныхъ стихотвореніяхъ не только отсутствіе истинно-поэтическихъ образовъ и картинъ, но еще и риторической холода. Послѣднее особенно поразительно по отношенію къ „Свободному слову“. Подъ нимъ имѣется дата „1853 годъ“, т.-е. тотъ годъ, когда разразилась надъ славянофильскимъ кружкомъ вообще и надъ Константиномъ Аксаковымъ въ частности отмѣченная выше цензурная гроза. Такимъ образомъ, стихотвореніе не только отражаетъ собою теоретическое убѣжденіе, но и писано подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ конкретнаго факта, несомнѣнно взволновавшаго автора до глубины души. И тѣмъ не менѣе, все это вмѣстѣ взятое въ результатѣ дало стихотвореніе, замѣчательное только по гражданскому, а никакъ не по поэтическому павосу.

Кстати будеть вообще отмѣтить, что у К. Аксакова не было того, что въ тѣсномъ смыслѣ этого слова принято называть литературнымъ талантомъ. Сынъ и братъ такихъ замѣчательныхъ мастеровъ слова, какъ Сергеѣ Тимофеевичъ и Иванъ Сергеевичъ, Константина Сергеевича самъ, однако же,

всего менѣе можетъ быть названъ стилистомъ. Пушкинское опредѣлѣніе: Такъ онъ писать темно и вяло, по-неволѣ приходить на умъ, когда читаешь путанныя и длинныя тирады, которыми изобилуютъ даже самыя удачныя и выношенныя статьи Константина Аксакова. Человѣкъ, не-знакомый съ биографіею Константина Сергеевича, не знающій, что онъ былъ пламеннымъ, восторженнымъ энтузіастомъ, человѣкъ, руководствующійся только старой эстетической формулой—*le style c'est l'homme*, павѣрное, составить себѣ самое превратное представление о Константии Аксаковѣ, если по его сочиненіямъ захочеть возсоздать душевный обликъ автора. У него было такъ велико паѳосъ мысли, что какъ бы не оставалось достаточно духовныхъ силъ для паѳоса слова.

Отсутствіе *нынѣшей* талантливости—подчеркиваю это опредѣлѣніе, потому что талантливости по существу, талантливости мысли и углубленія у Конст. Аксакова было достаточно—сознавалось въ свое время даже людьми, безусловно къ нему расположеннымъ. Гоголь, напр., относился къ Константину Аксакову прямо съ нѣжностью. Онъ писать Сергею Тимофеевичу въ 1840 году: „но уже когда я мыслю о вѣтѣ и обѣ этомъ юношѣ, полномъ силъ и всякой благодати, который такъ привязался ко мнѣ—я чувствую въ этомъ что-то такое сладкое“ (Пер. Гоголя въ изд. Шенрока, II, 93). И онъ-же не стѣснялся писать тому-же влюбленному въ сына отцу:

„Но вотъ бѣда: у Конст. Серг. *ничьи вовсе слога*. Все, о чемъ ни выражается онъ ясно на словахъ, выходить у него темно, когда напишется на бумагѣ“ (*Ibid* II, 563).

По поводу диссертациі К. Аксакова Погодинъ записалъ въ своемъ дневникѣ: „Есть прекрасныя замѣчанія, но неумѣніе писать совершенное“ (*Барсуковъ*, Жизнь Погодина VIII, 342).

Ужъ на что любилъ и цѣнилъ Константина Аксакова Хомяковъ. Но и онъ вотъ какъ состриль о его слогѣ: „намъ вспоминается“, говорить въ своихъ запискахъ извѣстный сенаторъ Кастроръ Лебедевъ, „слова А. С. Хомякова о томъ, что Степанъ Михайловичъ Багровъ и Константинъ Серге-

вичъ Аксаковъ олицетворили собою ходъ русской жизни: оба отличные люди, но дѣлъ таскаеть за волосы свою Арину Васильевну, а правнукъ пишеть сочиненіе о Ломоносовѣ русскими словами и русскими буквами, такъ, однако, что русскіе люди едва понимаютъ его” („Рус. Арх. 1893, I, 297).

Даже родные относились скептически къ слогу Константина Сергеевича. Такъ, Иванъ въ одномъ письмѣ къ родителямъ съ усмѣшкой вспоминаетъ о „блаженной памяти диссертациіи о Ломоносовѣ”, (Пер. II, 260), а въ другомъ говоритъ: „статья превосходная. Языкъ или слогъ этой статьи даже слишкомъ хороши для Константина, *обыкновенно небрежнаго въ этомъ отношении*” (III, 11).

И наконецъ, самъ Константинъ Сергеевичъ былъ невысокаго мнѣнія о своихъ литературныхъ способностяхъ. Со свойственную ему правдивостью, онъ прямо пишеть Гоголю въ 1851 г. по поводу своей большой драмы: „я не художникъ” („Рус. Архивъ” 1890 г., № 1, стр. 158). И дальше: „что касается до личного своего таланта, я охотно признаю его недостаточность” (ib., 160).

многимъ яко мѣстечко, затою называемое золоту́жкою за то, что золотиши и серебриши рѣфмы, склоняющи отъ золотоглавыя  
головы, а также и золотою же хвостикою, изъ золота, оного въ золоте  
одинъ членъ, позолоченаго, другій изъ серебра, третій изъ золота, а четвертый изъ  
серебра, золотою же головою, и золотою же хвостикою, яже онъ золото  
бѣлое, серебро же синево, и золото же зелено, отъ золота  
зелено, золото же золото, и золото же золото, и золото же золото, и золото же золото,

## IX.

**Драматическая произведение.**

Еще въ болѣйшей степени, чѣмъ стихи, не блещутъ сколько-  
нибудь серьезными литературными достоинствами и драматическая  
произведенія Константина Сергеевича. Я, конечно,  
имѣю возможность говорить только о тѣхъ, которые напечата-  
ны. Но мы уже знаемъ (стр. 54), что водевили Аксакова,  
которые онъ не счѣлъ даже нужнымъ и печатать, общаго  
представленія о драматическомъ творчествѣ его не мѣняютъ.

Какъ и стихотворенія его, драмы Конст. Аксакова имѣютъ  
цѣли не художественные, а дидактическія. Такъ, „Освобо-  
женіе Москвы въ 1612 году“ должно убѣдить читателя въ  
громадномъ историческомъ значеніи „земли“. „Князь Лупо-  
вицкій“ есть сатира на оторванныхъ отъ той же „земли“  
интеллигентовъ нашихъ. Наконецъ, „Олегъ подъ Константи-  
нополемъ“ есть пародія на такъ называемое „скептическое“  
направленіе русской исторіографіи. Авторъ даже и попыткѣ  
не дѣлаетъ создать настоящія драматическая произведенія и  
дать что-нибудь, кроме драматизированныхъ историко-пуб-  
лицистическихъ тезисовъ. Въ наиболѣе серьезнѣ по автор-  
скимъ намѣреніямъ драмѣ Константина Аксакова — „Освобо-  
женіе Москвы“ прямо нѣть никакой интриги, и все дѣй-  
ствіе исключительно вращается около явленій общественныхъ.

По формѣ и относительной легкости выполненія, наиболь-  
шими художественными достоинствами изъ перечисленныхъ  
трехъ драматическихъ произведеній обладаетъ „Олегъ подъ  
Константинополемъ“. Мотивы, послужившіе къ написанію  
этой изданной лѣть 25 спустя (1858 г.) драматической пьесы,  
изложены авторомъ въ предисловії:

„Въ тридцатыхъ годахъ русскую исторію преподавать въ москов-  
скомъ университѣтѣ М. Т. Каченовскій, имя котораго навсегда останется

въ лѣтописяхъ русской исторической науки. Студенты были увлечены скептическимъ его взглядомъ. Молодость любить критическое направление и охотно сомнѣвается. Повидимому, это противорѣчить стремлению вѣрить, стремлению, которое составляетъ отличительную черту молодости, но здѣсь противорѣчие только видимое, ибо самое сомнѣніе молодость часто принимаетъ на вѣру. Въ такомъ, очень нерѣдко одностороннемъ вѣрѣніи къ скептицизму лежитъ часто прекрасная основа все испытать, все прозрѣть своимъ умомъ, ничего не принимать безъ труда и ради авторитета.

Увлекаясь тогда, вмѣсть съ другими, скептическими мнѣніями профессора, я увидѣлъ потому ихъ ошибочность. Тогда, подъ влияніемъ этого скептицизма, написалъ я, съ одобренія товарищей, эту пародію, въ которой преувеличилъ до крайности мнѣніе противниковъ, представивъ Олега государемъ эпохи развитой и просвѣщенной. Вмѣсть съ тѣмъ это была пародія и на стихотворную идеализаций исторіи въ появившихся тогда нѣкоторыхъ патріотическихъ драмахъ, и вообще на звучность стиховъ, иными принимаемыми еще и теперь за поэзію".

Общий тонъ пародіи виденъ хотя-бы изъ разговора между Олегомъ и волхвомъ. Волхвъ приходитъ къ князю и въ ужасѣ разсказываетъ, какой ему приснился странный и дивный сонъ:

На съверѣ, между лѣсовъ дремучихъ,  
Возникнетъ нѣкогда великий градъ,  
Владыко царствъ исполненъ силъ могучихъ,  
Правительственной мудростью богатъ.  
Воздвигнется въ немъ зданіе науки,  
Ему названы въ русскомъ словѣ вѣть,  
И въ этомъ зданыи нѣкогда ученый  
Торжественно всѣ дивныхъ твои  
Дѣла постыдными омрачить сомнѣньемъ  
И, наконецъ, отвергнетъ вовсе ихъ.  
Онъ скажетъ и доводами докажетъ,  
Что не было, Олегъ, тебѣ совсѣмъ;  
Что это вымысли, ложное преданье;  
Что ты народа басня, что ты миѳъ.  
Олегъ въ бѣшенствѣ и съ ужасомъ:  
Я миѳъ?  
Волхвъ.  
Отчаяніе твое понятіо.  
Погибнеть все, когда отвергнутъ даже  
Существованье самое твое.  
  
Олегъ.  
Я миѳъ?

Спокойся, князь! Еще есть средство...

Олегъ, не слушая.

Какъ, варвары? Я мнѣ? Но сердце бѣется

Такъ пламенно въ груди моей! Но кровь

Такъ горячо бѣжитъ по этимъ жиламъ?..

Но этимъ грознымъ уступають силамъ

Всѣ козни, всѣ усилия враговъ!..

Нельзіость! Вадоръ! О, если-бъ только могъ я,

Ученому злодѣю моему

Я-бъ доказаць свое существованье и т. д.

И вотъ, чтобы доказать будущему скептику-ученому, что онъ не мнѣ, Олегъ рѣшается предпринять походъ на Константинополь, прибить къ вратамъ его свой щитъ и вообще оставить прочный слѣдъ въ анналахъ писанной исторіи.

Кромѣ этого основного мотива, въ пародіи есть и побочные эпизоды, какъ, напр., внезапно завязавшійся романъ между греческою царевной и однимъ дулѣбомъ изъ войска Олегова, такой же романъ между кіевлянкой Людмилой и кіевляниномъ Всеславомъ, который погибаетъ въ поединкѣ съ варяжскимъ скальдомъ Ингелотомъ и, наконецъ, третій романъ между тою же греческою царевною, что прельстила дулѣба, и самимъ Олегомъ. Соль всѣхъ этихъ эпизодовъ заключается въ ихъ книжномъ, напыщенномъ языкомъ, немыслимомъ, конечно, въ устахъ первобытныхъ сыновъ Х вѣка.

„Освобожденіе Москвы“, снятое, какъ мы уже знаемъ, съ репертуара послѣ первого же представленія въ 1850 г., не имѣть никакой драматической интриги и потому передать его содержаніе затруднительно. Это просто рядъ беспорядочно-нагроможденныхъ сценъ, иллюстрирующихъ отдельные эпизоды событий 1612 года, сцены, почтиничѣмъ между собою не связанныхъ, кромѣ авторскаго старанія выдвинуть на первый планъ истинный патріотизмъ простого народа и „земли“, поборавшій, въ концѣ концовъ, корыстные происки боярства. Эта центральная идея пьесы ярче всего выражена въ одномъ изъ монологовъ представителя „земли“ Прокофія Ляпунова:

Виноваты много бояре. Много возгордились они. На черныхъ людей свысока смотрѣть; ихъ только християнами называютъ; видимое дѣло что сами ужъ стали не християне.—Горько это; забыли, стало, что все мы браты и все христіане; все мы одной матери дѣти; все мы браты и сродники по христовой вѣрѣ и по русской землѣ. Пусть одинъ боя-

ринь—при немъ его боярство; пусть другой воинь—при немъ его воинство; пусть еще третій земледѣль—при немъ его земледѣліе.—Да вѣдь сегодня онъ земледѣль, а завтра бояринъ, а бояринъ завтра земледѣль. Это все какъ случится, и какъ [приведется, и какой талантъ, и что Богъ дастъ; а непремѣнное и вѣчное то, что всѣ мы, сколько нась ни есть, всѣ братья православные христіане и русскіе люди. А это-то мы и позабыли, не какъ братья стоимъ другъ за друга; возвысились одни передъ другими гордостю. Богъ нась и караетъ. Презрѣль Василій Ивановичъ земской совѣтъ, Богъ и покаралъ его. Преарѣли и вы, бояре, братство и землю; эй, не забывайте земли русской и народа. Больше правды вѣдь простомъ народѣ.—Когда во вторникъ на страстной недѣль сдѣлалась схватка съ поляками, кто стоялъ за Божіе и земское дѣло? Все народъ. Сталъ тутъ и князь Дмитрій Михайловичъ Пожарской; вотъ-то человѣкъ смиренный духомъ, и твердо стоитъ обще съ народомъ за вѣру и землю. Такъ народа-то вы, бояре, не презирайте и надѣ пародомъ не выситесь; вѣдь этимъ вы и сами себя осуждаете и отъ братства себя отрываете. Не разрывайте земскаго союза, не забывайте народа—тогда и вамъ будетъ хорошо и вы родной земль нашей полезны будете,—а безъ того иѣть.—Вѣдь всѣ мы, отъ мала до велика, всѣ христіане православные и русскіе люди, всѣ братья".

Весь этотъ монологъ и по идеямъ своимъ, и даже по слогу скорѣе напоминаетъ одну изъ историко-публицистическихъ статей Аксакова, чѣмъ дѣйствительную рѣчь „думнаго дворянина“. Но автора и не заботила особенно историческая достовѣрность. Какъ и во всемъ, что онъ писалъ, ему было важень предлогъ высказать переполнявшія его чувства того мистического демократизма и той пламенной любви къ древнимъ формамъ русскаго народнаго быта, которыя составляютъ основу всѣхъ его общественныхъ, историческихъ и даже филологическихъ взглядовъ.

Такою же иллюстраціею историко-публицистическихъ воззрѣй Константина Аксакова является третье драматическое произведение его—„комедія“ въ двухъ дѣйствіяхъ съ прологомъ „Князь Луповицкій“.

Комедія имѣть цѣлью доказать, съ одной стороны, до какого комизма доходить оторванность русскихъ „культурныхъ“ людей отъ реальныхъ основъ нашей народной жизни, а съ другой—какія великия сокровища ума и сердца кроются въ невзрачномъ на первый взглядъ мужичкѣ русскомъ. Въ частности, „Князь Луповицкій“ есть подробное развитіе и переложеніе въ лица одной изъ наиболѣе горячихъ крити-

ческихъ статей Константина Аксакова, напечатанной имъ подъ псевдонимомъ *Имреkъ* въ „Моск. Сборникъ“ 1847 г.

Статья эта написана по поводу повѣсти изъ народной жизни кн. Одоевского „Сиротинки“ (напеч. въ сборнике гр. Соллогуба „Вчера и сегодня“) и вмѣстѣ съ нѣкоторыми деталями „Князя Луповицкаго“ рельефно обрисовываетъ одинъ изъ кардинальныхъ пунктовъ міровоззрѣнія Константина Аксакова—его отношеніе къ простому народу.

„Сиротинки“ привели рецензента въ крайнее негодованіе:

„Всегда съ невольными, горькимъ чувствомъ“, говорить онъ, „и съ негодованіемъ читаемъ мы такія повѣсти, гдѣ изображается (будто бы изображается) нашъ народ; невыносимо тяжело и больно, когда какой-нибудь писатель, народу совершенно чуждый, совершенно отъ него оторванный, лицо отвлеченное, какъ все, что оторвано отъ народа, когда такой писатель, полный чувства своего мнѣнія превосходства, вдругъ зговорить снискходительно о народѣ, могущественному хранителю жизненной великой тайны, во всей силѣ своей самобытности предстоящемъ предъ нами, легко и весело съ нимъ разставшимся. Писатель не трудился надъ тѣмъ, чтобы узнать, понять его; для него узнавать и понимать въ немъ нечего; ему стоитъ только снизойти написать о немъ. Превидѣть, когда онъ, для вѣрийшаго изображенія, прибѣгаетъ къ ародному будто бы отѣнку рѣчи, къ народнымъ выраженіямъ, дошедшимъ до его слуха чрезъ переднюю и гостиную. Такой умыщеніиный маскарадъ, такая милостивая поддѣлка, особенно когда пишутъ для врода, оскорбительна. Въ такомъ родѣ и повѣсть кн. Одоевской.“

Немѣнливо и негодуя пересказываетъ затѣмъ Аксаковъ содержаніе повѣсти, которое заключается въ томъ, что икая барыня увозить бѣдную деревенскую дѣвочку, сиротику Настю, въ Петербургъ и та, чрезъ нѣкоторое время, зозвращается въ деревню. Благодаря полученному ей въ дномъ изъ петербургскихъ приютовъ воспитанію, она оказываетъ благотворное влияніе на подъемъ крестьянской нравственности и религіозности. Подводя итоги, возмущенный витникъ говоритъ:

„Итакъ, се село возвышено и преобразовано народъ, имѣющій кое-что въ свои воспоминаніяхъ, имѣющій, какъ народъ, тяжесть и твердость дѣйствительности въ своихъ движеніяхъ и переходахъ,—преобразованъ такъ егко и скоро Настей, воспитанной въ Петербургѣ. Она научила его злиться, онъ не умѣлъ этого, конечно.. Но никакая въ свѣтѣ Настя никакой въ свѣтѣ образованный и воспитанный человѣкъ не можетъ стать наряду съ народомъ и осмѣлиться наставлять его въ этомъ вѣтвѣ,—его, силою вѣры прогнавшаго столько враговъ

ионплем енныхъ. Можно ли такъ легко судить о народѣ, такъ легко воспитывать его посредствомъ какой-нибудь Настя, такого отвлеченнаго и легкаго лица; такъ не знать глубины убѣжденій и многаго, многаго въ народѣ, что для Настя темный лѣсъ, и гдѣ-бы тысячу разъ она потерялась и пала бы, почувствовавъ и понявъ свое бессиліе, если-бъ, къ счастью, могла хоть сколько-нибудь понять его. Можно ли это? Что сказать о такомъ поступкѣ?

Къ счастью, Настя и ей подобные не понимаютъ и не могутъ приблизиться даже къ глубокой сторонѣ народа: это для нихъ непроницаемая тайна, запертое святилище. И сколько людей, именно въ наше время, именно въ нашей землѣ, такихъ, которые оторвались отъ народа отъ естественной тяжести союза съ нимъ, увѣрюющей и утверждающей шаги человѣка, дающей ему дѣйствительность, и пошли летать и носиться, полные гордости и снисхожденія, — такихъ людей, которые, будучи одѣты въ европейское платье и заглянувъ въ европейскія книги выучившись болтать на чужомъ языке и приходить, какъ стѣдуется, въ заемный восторгъ отъ итальянской оперы, подходить съ указкою и бѣдному, необразованному народу и хотѣть черпти путь его народной и внутренней и вицѣальной жизни. Хотя бы они поглотили въ самогъ дѣлѣ всю европейскую мудрость, но если они оторваны отъ народа и хотѣть оставаться въ этой оторванности, въ этомъ попугайномъ разнѣ, если они свысока смотрятъ на него,—они ничтожны. Итакъ, Нася—явление поучительное. Ошибка автора въ томъ, что, когда такой ёловоѣкъ, какъ Настя, прикоснется къ народу, то совсѣмъ не выйдетъ такихъ результатовъ, какіе придумалъ г. авторъ; напротивъ, какъ мыльный пузырь, лопнетъ такая попытка, если только, при перевѣсѣ силы на ея сторонѣ, она не сдавить вицѣальный образомъ народа<sup>4</sup>.

Исторію такого мыльного пузыря Конст. Аксаковъ хотѣть представить въ „Князѣ Луповицкомъ“. Стоитъ становиться на содержаніи этой комедіи, мало замѣчательной съ художественной точки зрѣнія, но интересной тѣмъ, что въ ней авторъ всего цѣльно выразилъ свой взглядъ а современный ему народъ. Типичный кабинетный мыслитель, Константинъ Аксаковъ самъ-то всегда и виталъ въ тѣхъ сферахъ отвлеченностіи отъ реальной, непосредственной народной жизни, за которую онъ такъ пушнилъ края Одоевскаго въ приведенныхъ только-что цитатахъ. Говоря о народѣ, Константинъ Сергеевичъ всегда удалялся въ глубь исторіи и сплавлять въ одно понятіе народъ удѣльного периода, народъ 1612 года и народъ нашихъ дней. Сквозь туманъ во-сторженныхъ словъ о парадныхъ, такъ сказатъ, сторонахъ народной жизни, проявляющихся только въ великихъ историческихъ событияхъ, у Константина Аксакова, какъ у всѣхъ,

впрочемъ, славянофиловъ, трудно было проглядѣть, какъ онъ себѣ рисуетъ народъ въ его повседнѣвномъ, будничномъ быту, и только въ одномъ „Князѣ Луповицкомъ“ онъ сколько-нибудь подробно и остановился на этой повседнѣвной жизни нашего народа. Вотъ почему и любопытно ознакомиться съ названной „комедіей“, самой по себѣ очень слабой, но зато дающей болѣе детальный матеріалъ для оцѣнки практической, жизненной цѣнности народолюбія Конст. Сергеевича. И если еще вспомнить, что „Князь Луповицкій“ писанъ въ 1851 г., т. е. въ тѣ же, приблизительно, годы, когда писались „Записки охотника“ „Антонъ Горемыка“ и другія произведенія изъ народной жизни, исходившія изъ противоположнаго лагеря, то на „комедіи“ Константина Аксакова можно будетъ наглядно прослѣдить разницу между демократизмомъ западническаго лагеря русской интелигенціи и демократизмомъ славянофиловъ.

Содержаніе комедіи состоять вотъ въ чёмъ:

Богатый князь Луповицкій, проживающій въ Парижѣ, въ одно прекрасное послѣ обѣда, объявляетъ своимъ пріятелямъ, что онъ твердо рѣшилъ уѣхать на время въ Россію съ цѣлью „сивилизовать“ своихъ крестьянъ. Пріятели его удерживаютъ. Одинъ изъ нихъ—графъ Долонскій, заявляющій, что для него Россія есть мѣсто, откуда онъ получаетъ деньги, отказывается понимать намѣренія Луповицкаго:

„Вѣдь наши мужики, вѣдь это развѣ люди? Знаешь, какое ихъ назначеніе? Ихъ назначеніе, чтобы мы, люди образованные, могли наслаждаться всѣми удовольствіями сивилизациії, c'est le mot; чтобы я, напримеръ, могъ жить въ Парижѣ и, между прочимъ, обѣдать въ Café de Paris. Вотъ для чего мужики, чтобы намъ давать средства на всѣ сивилизованные удовольствія; c'est leur mission sur la terre, ils ne sont bons, qu'à ça, et c'est encore trop d'honneur pour eux.“

Приблизительно то же самое думаетъ другой пріятель—баронъ Салютинъ, который, кроме того, проводить мысль, что, если уже Луповицкій ни за что не хочетъ отстать отъ своей блажи и непремѣнно уже желаетъ „сивилизовать“ своихъ крѣпостныхъ, то должноъ это сдѣлать силою:

„Э! mon ami, непремѣнно надо употребить силу; даже и убѣждать нечего пробовать; надо знать, съ кѣмъ быть деликатнымъ. Нужна жестянная рука, mon cher,—une main de fer. Такъ только надо учить неразумованный народъ. Сломай его, сдѣлай изъ него тѣсто, fajles en une

pâte,— и потому лъни, что угодно. C'est ainsi, que Pierre le Grand a agi envers nous. Eh bien, кажется, трудъ не потерянъ. Мы можемъ быть ему благодарны за это; мы, надѣюсь, стали вполнѣ образованными людьми, можемъ быть собою довольны. Force brutale est très nécessaire et très utile envers les brutes".

Луповицкій не поддается, однако же, пріятелямъ. Онъ полагаетъ, что „руссій народъ также часть человѣчества“ и что поэтому „къ русскому народу,—ликому, положимъ, необразованному, положимъ, можно, однако же, привить просвѣщеніе европейское“. Планъ его дѣйствій состоить въ томъ, чтобы „сивилизовать“ и придать „видъ“, какой надобно „тѣмъ зародышамъ“, которые уже есть въ народѣ.

„Напримѣръ, благотворительность; вѣдь, конечно, мужикъ дѣлаетъ добро, n'est ce pas? Но какъ онъ дѣлаетъ?—подаетъ нищимъ; это грубо-необразованно, n'est ce pas? Я возьму это свойство въ мужикѣ,—и сивилизую. Онъ будетъ, какъ-нибудь, что-нибудь дѣлать въ пользу бѣдныхъ, какъ мы дѣлаемъ, но баловъ, конечно, у нихъ нельзя завести, нужно что-нибудь другое: ужъ я придумаю“.

И вотъ, запасшись „всѣмъ, что вышло на французскомъ языку объ Россіи“, Луповицкій ёдетъ въ свою деревню, гдѣ, собравши мужиковъ, произноситъ имъ, „ставши въ позу“, съдѣющую рѣчь:

„Съ большими удовольствіемъ принимаю я изыянленіе вашей... вашей признательности, или скорѣе любви ко мнѣ,—любви, еще не заслуженной мною. Но я надѣюсь заслужить ее. Вѣрьте (*одушевляя себя*), о да, вѣрьте, что и я люблю васъ. Я постараюсь устроить вашъ бытъ передать вамъ плоды просвѣщенія, роскошные плоды науки и искусства—(горячась), ничего неожиданнаго для этого, никакихъ трудовъ, ни... безсонныхъ ночей, ни... утомительныхъ дней, ни... препятствія природы, ни человѣческія препятствія не остановятъ меня.— Гдѣ ваши орудія, омоченные не разъ благороднымъ потомъ вашимъ? Гдѣ соха, гдѣ пила? Дайте мнѣ ихъ! Моя рука не побоится прикоснуться къ нимъ, если нужно.— Но важнѣйший трудъ предстоитъ мнѣ, я говорилъ о немъ сей-часъ.—Это тѣ нравственныя сокровища, которыхъ передамъ я вамъ, добытыя мною отъ Запада Европы, это—съмена умственныхъ, которыхъ должны разсѣять и адѣсь.—Вы поймете меня. Ваше сочувствіе, въ которомъ я не сомнѣваюсь, будетъ для меня лестною наградою. Повѣрьте мнѣ, я васъ уважаю, и докажу это! Вы можете считать на меня. (*Пауза*). Господа! и въ вашихъ распорженіяхъ. (*Въ сторону*). Какъ хорошо бы это было по-французски!“

Понятно, что крестьяне въ недоумѣніи молчатъ въ отвѣтъ на эту рѣчь.

Богъе детально развивает Луповицкій отдельные пункты своей „сивилизаціонной“ программы въ разговорѣ со старостой Антономъ. И тутъ-то начинается для Луповицкаго рядъ посрамлений, обусловленныхъ его полнѣйшимъ незнаніемъ народной жизни. Дѣло начинается съ того, что Луповицкій сочтуетъ быть религіозными:

„*Лунов.* Исполняйте, что велитъ вамъ религія или вѣра. *Староста.* Мы исполняемъ, сколько силы нашей. *Лун.* Однако, Антонъ, я вѣдь бытъ сегодня въ церкви; конечно, я пришелъ не къ началу, однако служилъ еще,—и я видѣлъ, что народу не много. *Стар.* Да вы, батюшка, послѣ обѣдни пришли; а это служили молебны, такъ тѣ и остались, кто служилъ, а другіе разошлись. *Лун.* (сконфузившись) Да, точно, да, молебны.—Позволь, однако, позволъ: тамъ священикъ давалъ крестъ пѣловать. *Стар.* Да какъ же, батюшка, это за всяkimъ молебномъ бываетъ. *Лун.* (совсѣмъ сконфузившись) Бываетъ, да, бываетъ, точно (*принимается за завтракъ*). Не хочешь ли ты позавтракать? Я велю тамъ подать (*указываетъ ему на свой завтракъ*). *Стар.* Нѣть, батюшка, не стану. *Лун.* Отчего? *Стар.* У насъ посты, батюшка; это скромное. *Лун.* Постъ,—какой постъ? *Стар.* Петровки, батюшка. *Лун.* Петровки (*кладетъ вилку и ножикъ*). Признаюсь, не знаюъ“.

Потерпѣвъ пораженіе по предмету насажденія религіозности, Луповицкій смотрить въ бумажку, гдѣ у него напѣчены всѣ пункты его „сивилизаціоннаго“ плана и переходить къ насажденію благотворительности:

„*Лун.* Вотъ что я придумаю. Вы устройте у себя благотворительный хороводъ. *Стар.* Что-жъ это будетъ такое? *Лун.* А вотъ что. Когда у васъ соберутся для хоровода,—каждый, кто захочетъ участвовать, дастъ по копѣйкѣ, или по полукупѣ въ общую сумму, для бѣдныхъ; а потомъ эти деньги и будетъ раздавать нищимъ, настоящимъ нищимъ, тѣтъ, кого хоть я назначу.—А? хорошо? *Стар.* Умныя твои рѣчи, батюшка. Только вотъ что: у насъ есть въ церкви кружка для бѣдныхъ. Хороводъ-то, веселье-то зачѣмъ? *Лун.* А веселье-то для того, чтобы охотнѣе дали; иной бы, можетъ быть, безъ этой причины и не подалъ, а для веселыя подастъ. *Стар.* Стало, батюшка, человѣкъ ужъ тутъ не для Бога, а для своей потѣхи нищему подастъ. Гдѣ-жъ тутъ доброе-то дѣло будетъ? Для души-то чѣмъ? *Лун.* Положимъ, добраго дѣла собственно нѣть; для души, какъ ты выражашся, нѣть: да все же польза. *Стар.* Ужъ коли, батюшка, въ такомъ дѣлѣ святотѣ, что нищему подать, для души ничего не будетъ, такъ ужъ тутъ какая польза,—тутъ вредъ, да и какой. Вѣдь, какъ нищаго увидишь—и задохнешь, и подумаешь, что вотъ-де нищая братья, да и подашь, такъ оно для души много. А тутъ что это будетъ? Гамъ, веселье. Что, дескать, вамъ о нищей братіи думать; знай веселись, да себя тѣши: вотъ тебѣ и добroe дѣло сдѣлать.“

Провалившись и тутъ, Луповицкій заводить рѣчъ о грамотѣ и о томъ, чтобы завести школу. Староста согласенъ, что „грамота хорошее дѣло: ученье свѣтъ, а неученье тьма“, но вмѣстѣ съ тѣмъ говорить барину: „тѣмъ школу заводить, батюшка, а ты пономарю дай жалованье за выучку, за каждого, хоть рубля четыре или хоть три, онъ тебѣ и учить станеть и выучить“. Луповицкій соглашается и только желаетъ бы „книгъ накупить, книгу для народа, принаровленныхъ къ понятію народа“.

*Стар.* Какія же это книги, батюшка? *Лун.* Есть много такихъ книгъ, нарочно написанныхъ для простого ума. Въ нихъ разсуждается о предметахъ, нужныхъ для крестьянина; напримѣръ, о томъ, что такое быть? *Стар.* Выѣ? *Лун.* Ну, да, быкъ. Я думаю, быкъ много значить въ нашемъ быту. *Стар.* Неужто же, батюшка, мы быка не знаемъ? Неужели и того не знать, около чего цѣлый вѣкъ ходишь? *Лун.* Тамъ не только о быкѣ; тамъ о нравственныхъ обязанностяхъ; тамъ говорится, что не надо лгать, пьянствовать, ну... и такъ далѣе. Вѣдь эти книги для васъ нужны. *Стар.* И по нашему, батюшка, не годится пьянствовать и лгать; да вѣдь кто-жъ этого не знаетъ? Не дѣлаютъ только. *Лун.* Ну, да все же не худо обѣ этомъ еще почитать. *Стар.* Не худо, кто говорить, только ужъ обѣ этомъ давно написано и хорошо написано; врядъ ли ужъ лучше написать можно. На это ужъ есть книги. *Лун.* Гдѣ? Какія? *Стар.* Священные книги, батюшка. Вотъ ихъ-то ты намъ купи, батюшка, сдѣлай милость».

Заводить, затѣмъ, Луповицкій рѣчъ о неопрятности крестьянской:

„Посмотри, какія у тебя грязныя руки, вѣдь какая разница съ моями (сравниваетъ свою руку съ рукой старости). Просто даже совѣтно. *Стар.* Кому, батюшка, совѣтно? *Лун.* Конечно, тебѣ должно быть со вѣтвию. *Стар.* Э, батюшка, въ навозъ возимся, какъ же быть-то? Оттого батюшка, твои ручки и бѣлы, что наши черны,—ну, и на здоровье“.

Неувѣнчивается болѣшимъ успѣхомъ планъ Луповицкаго поднять крестьянскую нравственность посредствомъ награжденія за добрыя дѣла.

„Луповицкій. Если кто изъ огня кого-нибудь выхватить, ну тамъ, ну какъ-нибудь, еще поможеть, ну, денегъ дастъ —такъ этому я даю кушакъ шелковой, шитый золотомъ, а женщинѣ жемчужныя серыги. Ты, опять-молчиши.—Неужто и это не нравится? *Стар.* Вотъ что, батюшка, я тебѣ скажу. Дѣлаешь человѣку доброе дѣло: вѣдь онъ, батюшка, не изъ награды его дѣлаешь; такъ ты наградою его обидишь, да и доброе-то дѣло ты не добромъ покажешь. А коли для награды доброе дѣло кто сдѣлалъ, такъ ужъ это какое доброе дѣло?—и награждать-то его не за что“.

Такъ-то отбрить простой мужичекъ представителя парижской „сивилизациі“ и, пунктъ за пунктомъ, разрушаетъ всю программу либерального барина, такъ что тотъ, „совершенно сбитый съ толку“, долженъ сказать себѣ: „Battu, complètement battu“. Какъ онъ умень, однако, этотъ Антонъ. Недаромъ говорять, что народъ русскій имѣть умъ, еще бы! бездну ума“.

Но не только предъ умомъ „народа русскаго“ приходится преклониться парижскому „сивилизатору“. Разыгрывается предъ его глазами такое зрѣлище: собираются его крестьяне на сходку затѣмъ, чтобы рѣшить, кого сдать въ рекрутъ. Большинство высказываетъ за то, чтобы отдать безроднаго парня Андрюху. Но такое рѣшеніе вызываетъ рѣзкій протестъ старого крестьянина Прохора:

„Вы хотите Андрюху отдать; онъ, дескать, сирота. Такъ это, выходить, отдаемъ мы въ солдаты безпомощнаго. Сиротство его, выходить, мы ему въ вину ставимъ. Такъ ли? А? Подумайте. Не грѣхъ ли это будетъ? Виновать ли онъ, что сирота? Что некому за него поплакать, да поскорбѣть; такъ вѣдь онъ и самъ тому не радъ; вѣдь его горе—сиротство-то; а тутъ мы къ горю да еще горе на него навалимъ. Такъ, что ли? Нѣтъ, братцы; грѣхъ будетъ миру сироту обидѣть; передъ Богомъ грѣхъ; онъ плакаться на насъ Богу будетъ. Ужъ если нѣтъ у него ни роду, ни племени, некому заступиться, такъ міръ ему застунникъ. Вотъ, по-моему, какъ“.

Слова Прохора производятъ впечатлѣніе. Сходка соглашается, что, дѣйствительно, „грѣхъ будетъ сироту обидѣть“, и рѣшаеть, что у кого больше сыновей, тотъ долженъ выставить рекрута. На бѣду оказывается, что больше всего сыновей у любимаго всѣми старосты Антона. Какъ тутъ быть? Какъ тутъ соблюсти справедливость, какъ сдѣлать, чтобы и старосту не обидѣть и вмѣстѣ съ тѣмъ не заставить „помилованіемъ“ старосты отдуваться кого-нибудь изъ прочихъ крестьянъ. И вотъ, по совѣту того же правдолюба Прохора, сходка постановляетъ купить рекрутскую квитанцію, которая стоитъ ни много, ни мало—800 руб. серебромъ. Съ удивленіемъ узнаетъ объ этомъ рѣшеніи Луповицкій, который былъ увѣренъ, что отдастъ Андрея. „Некому заступиться“, говорить онъ въ изумленіи, „такъ міръ застунникъ... mais c'est sublime, c'est beau, ça!“ „C'est de la clemence, c'est touchant“, говорить онъ затѣмъ по поводу того, чт-

старосту „помиловалъ“ міръ: „il est imposant ce mіrъ. Я сегодня очень доволенъ; сегодня прекрасный для меня день. Міръ познакомилъ меня съ собой своимъ возвышеннымъ, истинно-благороднымъ поступкомъ. Я уѣду отсюда съ большимъ поченіемъ къ народу. Je vous estimate, monsieur le peuple“.

Таково содержаніе комедіи, столь слабой въ литературномъ отношеніи, но очень цѣнной для уясненія основныхъ пунктъ народолюбія Константина Аксакова. Въ историко-публицистическихъ статьяхъ его эти пункты изложены расплывчато, туманно, а главное—разбросанно и отрывочно, такъ что для полученія полной картины пришлось бы прибѣгать къ мозаїкѣ; здѣсь же все ясно до схематичности. Сама собою слагается такая формулировка:

1) Народъ не нуждается ни въ какихъ указаніяхъ, въ особенности со стороны нашихъ нахватавшихъ верховъ европейской цивилизациіи „культурныхъ людей“.

2) У народа есть свое стройное и устойчивое міросозерцаніе, не только вполнѣ пригодное для ежедневной, сѣрой крестьянской жизни, но способное выдержать натискъ міросозерцанія людей, безконечно превосходящихъ мужика образованіемъ и соціальнымъ положеніемъ.

3) Въ частности, у народа есть своя самобытная нравственность и своя, если и не самобытная, то все-таки окраинная самостоятельнымъ пониманіемъ религіозность; на совокупности нравственно-релігіозныхъ представлений народа и строятся соціальные отношенія крестьянской общини.

4) Народная нравственность основана на чувствѣ справедливости. Нравственность и справедливость народа никогда не понимаетъ въ формальномъ, математическомъ смыслѣ. Вотъ почему, строго блюди интересы *всей* общини народа все-таки заботится и о томъ, чтобы не только интересы меньшинства, но даже интересы отдельныхъ личностей не страдали бы отъ соблюдения мірскихъ выгодъ.

5) Религіозность народа, какъ и нравственность его, не виѣщая и не показная. Она есть удовлетвореніе внутренне-го призыва къ добру.

6) Источникъ нравственности и религіозности народа кроется въ исповѣдываемой имъ православной вѣрѣ. Когда староста Антонъ, пунктъ за пунктомъ, разрушилъ всю „сиви-

лизационную" программу своего барина, между „сбитымъ совершенно съ толку“ Луповицкимъ и его собесѣдникомъ проходитъ такой разговоръ:

„Лун. Антонъ, ты гдѣ учился? Стар. Нигдѣ, батюшка.  
Лун. Грамотѣ умѣешь? Стар. Умѣю, батюшка. Лун. Что ты читать? Стар. Церковныя книги, батюшка“.

7) Совокупность всего вынесказанного создала глубоко-своебразный правовой, экономической и нравственный институтъ—крестьянскій „міръ“, который есть хранитель истинно-народныхъ традицій и панацея противъ тѣхъ золь, которые при иномъ строѣ повели бы къ цѣлому ряду соціальныхъ и индивидуальныхъ несправедливостей.

Таковы основные пункты народолюбія Константина Аксакова, прямо вытекающіе изъ его якобы „комедіи“. Но есть въ этой пьесѣ еще кое-что, что не сразу бросается въ глаза и требуетъ кое-какихъ разъясненій. Разъясненій тѣмъ болѣе необходимыхъ, что дѣло идетъ объ основной чертѣ всего міровоззрѣнія Константина Аксакова. Мы говоримъ о томъ *мажорномъ тонѣ*, въ которомъ написанъ „Князь Луповицкій“ и который характеризуетъ не только Константина Аксакова, но и всю славянофильскую школу. Этимъ тономъ Константина Аксакова отличается не только отъ западниковъ сороковыхъ годовъ, но и отъ народниковъ поаднѣйшей формациіи, не менѣе его восторженно относившихся къ складу народной души и къ основамъ народно-общинной жизни. И является у Аксакова этотъ тонъ, потому что *генезисъ* его народолюбія не туть, что у народолюбцевъ противоположнаго лагеря.

Если мы, въ самомъ дѣлѣ, присмотримся къ исторіи западническаго народолюбія, намъ не трудно будетъ убѣдиться, что источникъ его кроется: 1) въ чувствѣ *жалости* нравственно-чуткихъ представителей русскаго культурнаго класса къ бѣдственному положенію мужика и 2) въ чувствѣ *раскаянія*, которое испытывали „сыны народнаго бича“ при мысли о своей причастности грѣху вѣкового угнетенія крѣпостнаго раба. Въ началѣ сороковыхъ годовъ, когда шедшія къ намъ изъ Франціи „филантропическая“, по терминологіи того времени, идеи привели къ необыкновенно яркому пробужденію *общественныхъ* чувствъ, вопросъ о народѣ сталъ однимъ изъ центральныхъ вопросовъ времени. Поколѣніе, вся духовная

жизнь котораго сосредоточилась на размышеніяхъ о томъ, справедливъ или несправедливъ существующій обществен- ный строй, прежде всего стало болѣть душою за „унижен- ныхъ и оскорблennыхъ“ вообще и за русскаго крѣпостного мужика въ частности. Глашатай этого поколѣнія—„неписто- вый Виссаріонъ“, съ тою же восторженною энергіею, съ которой онъ нѣкогда требовалъ отъ писателей служенія чистому искусству, началъ требовать отъ нихъ определен- ной общественной тенденціи, подразумѣвая подъ нею, по пре- имуществу, все ту же защиту „униженныхъ и оскорблennыхъ“ вообще и мужика въ частности. И чутко внимавшіе пламен- ному искателю истины молодые таланты того времени, под- дались неотразимому вліянію горячей убѣждennости Бѣлин- скаго и, точно говорившись, почти въ одинъ и тотъ же годъ, предстали предъ изумленіемъ публикою съ рядомъ пре- восходныхъ произведеній, въ основѣ которыхъ лежали самыя широкія симпатіи къ загнанному простолюдину. Явился Григоровичъ съ „Деревней“ и „Антономъ Горемыкой“, въ которыхъ впервые былъ показанъ человѣкъ въ крѣпостномъ мужикѣ. Явился Тургеневъ съ „Записками охотника“, въ которыхъ то же желаніе очеловѣчить мужика было проведено съ еще большею теплотою. Явились первыя стихотворенія на народныя темы Некрасова, бросившаго подъ новымъ влі- яніемъ прежніе „мечты и звуки“ и посвятившаго отнынѣ свою музу народнымъ *страданіямъ* и психологіи народной души.

Итакъ, желаніе выяснить, что крѣпостной рабъ есть тоже человѣкъ, и что, слѣдовательно, его страданія должны быть облегчены,—вотъ на чемъ зиждется народолюбіе писателей школы Бѣлинскаго. Но именно потому-то въ ихъ произведеніяхъ и не могло быть того мажорнаго тона, того изображенія народа бодрымъ и полнымъ сознанія своихъ внутреннихъ силъ, которое мы встрѣчаемъ въ произведеніяхъ славяно- фильскаго направления.

Правда, могло быть мажорное *негодованіе*, но такъ какъ этому мѣшали цензурныя условія, то въ результатѣ и полу- чилось, что почти всѣ произведенія изъ народной жизни, вы- шедшія изъ-подъ пера людей западническаго лагеря 40-хъ годовъ, написаны въ гуманно-сострадающемъ тонѣ, цѣль ко-

тораго вызвать и въ читатель состраданіе къ крестьянской недолгѣ.

Изъ діаметрально-противоположнаго источника вытекло народолюбіе славянофиловъ или, чтобы держаться ближе предмета настоящаго этюда, народолюбіе Константина Аксакова. Если Тургеневу, Григоровичу, Некрасову мужикъ бытъ близокъ потому, что они въ немъ видѣли *человѣка*, и притомъ человѣка, нуждающагося въ сочувствіи и помощи, то Константину Аксакову мужикъ бытъ дорогъ, главнымъ образомъ, какъ хранитель „истинно-русскихъ“ традицій. Не потому любилъ Константина Аксаковъ мужика, что мужикъ— нашъ менѣшій братъ, и, значитъ, долженъ имѣть такое же мѣсто за столомъ жизненнаго ширшества, какъ и мы сами, а потому, что онъ видѣть въ мужикѣ живой обломокъ дорого го ему древне-русскаго быта. И вотъ почему, совершенно закрывая глаза на реальную действительность и на тѣ печальные условія, среди которыхъ протекала жизнь крѣпостнаго мужика, онъ изображалъ ее въ такихъ оптимистическихъ краскахъ, въ такомъ мажорномъ тонѣ, что иностранецъ, который, не зная другихъ произведеній, рисующихъ крѣпостной бытъ, захотѣть бы по „Князю Луповицкому“, да и по остальнымъ писаніямъ Константина Аксакова составить себѣ представлѣніе о крестьянской жизни въ эпоху крѣпостного права, вынесъ бы изъ этихъ писаній самое розовое впечатлѣніе. Такъ, въ „Князѣ Луповицкомъ“ всѣ крестьяне очень зажиточны и въ порыѣ великолѣпія даютъ 800 рублей, изъ которыхъ 100 даютъ староста, представляющій собою, замѣтьте, не обычный типъ ворюги-старости, обкрадывающаго барина и выжимающаго сокъ изъ мужика и потому имѣющаго въ кубышкѣ не малую толику награбленныхъ денегъ. Напротивъ того, онъ—человѣкъ высоко-честный и, слѣдовательно, вполнѣ нормальнымъ путемъ нажилъ свой достатокъ. Когда, еще неузнанный своими крестьянами, Луповицкій стороны спрашиваваетъ одну изъ попавшихся ему бабъ, какъ живется мужикамъ его деревни, она ему говоритъ: „Намъ грѣхъ Бога гневить, намъ хорошо“. Словомъ, на стоящая Аркадія.

И если бы мы не знали, что Константина Аксакова былъ человѣкъ, весь горѣвшій святымъ огнемъ стремленія къ

истинѣ, то всѣ эти усилия выставить черное бѣлымъ и ликовать тамъ, гдѣ у другихъ вырывались стоны отчаянія, были бы достойны того, чтобы сопричислить ихъ къ славославію Булгаринъхъ и Гречей. Но на самомъ дѣлѣ, конечно, тутъ и рѣчи не можетъ быть о сколько-нибудь намѣренномъ квѣтизмѣ и умыщенномъ закрываніи глазъ. Все лѣло исключительно въ томъ, что, упрекая другихъ въ кабинетности и незнаніи народа, Константина Аксаковъ, какъ улитка прожившій всю свою жизнь въ раковинѣ отцовскаго дома, самъ болѣе другихъ былъ въ этомъ повиненъ и считалъ „знаніемъ“ народа изученіе былинъ Владимира цикла и лѣтописей. Живые же люди, съ которыми ему пришлось водить дружбу послѣ разрыва съ кружкомъ Станкевича и Бѣлинскаго, всѣ эти Хомяковы, Самаринь, Кириевскіе, наконецъ (почти всю жизнь) собственный отецъ его—были люди очень богатые, не имѣвшіе рѣшительно никакой надобности сколько-нибудь дурно обращаться со своими крестьянами. Если мы вспомнимъ, съ какимъ добродушиемъ относится Сергѣй Тимофеевичъ къ крѣпостному праву, то намъ станетъ вполнѣ понятнымъ, что и въ сынѣ его, разъ онъ жизни не зналъ, только теоретическіе импульсы могли создать иное, болѣе озлобленное отношеніе. Но именно теоретическіе-то импульсы и направляли его на иные пути борьбы. Тѣ импульсы, которые вдохновляли бывшихъ друзей Константина Сергѣевича на возможно рѣзкий протестъ противъ темныхъ сторонъ крѣпостного права, для него были несимпатичны уже въ источникуъ своемъ: помимо того, что они шли съ Запада, они говорили о враждѣ и „фронтѣ“, столь нелюбимыхъ имъ. Свое же общее міросозерцаніе и складъ восторженной настуры гнули въ сторону усматриванія положительныхъ сторонъ. Правда, это, въ конечномъ резултатѣ, не умалило отвращенія Константина Аксакова къ крѣпостному праву, въ невависти къ которому онъ едва ли уступалъ кому бы то ни было. Но со стороны-то, для читателя-то, получалось очень странное впечатлѣніе, получался тотъ совершенно неумѣстный мажорный тонъ, то иделическое изображеніе крѣпостного быта, по поводу которого каждый крѣпостникъ и рабовладѣлецъ могъ сказать: зачѣмъ отмѣнять крѣпостное право, когда при немъ народу такъ хорошо живется.

Такимъ образомъ, по главному пункту, въ которомъ могло практически сказаться народолюбіе человѣка 40-хъ годовъ, Константина Аксаковъ проявилъ какой-то академической холодъ, совершенно не вязавшійся съ общимъ, горячимъ складомъ его личнаго и писательскаго облика. Онъ, который произнесъ въ теченіе своей литературной дѣятельности такъ много негодуящихъ словъ по адресу людей и понятій, всего только повинныхъ въ „обезьянничаніи“ европейскихъ „шаблоновъ“, болѣе чѣмъ рѣдко говорилъ о бѣдности и приниженнosti мужика. Предпочитая дѣйствовать на пользу народа изображеніемъ его высокихъ нравственныхъ и умственныхъ качествъ, Аксаковъ весь уходилъ въ панегирическіе дифирамбы его историческому прошлому и современному бодрому самосознанію. Но не имѣть дифирамбъ такого доступа къ сердцу читателя, какъ слово состраданія и сожалѣнія, и вотъ почему народолюбіе „оторванныхъ“ отъ почвы западниковъ было практически плодотворнѣе, чѣмъ народолюбіе одѣвшагося въ мурмолку Константина Сергеевича. Эти „оторванные“ люди получили величайшую награду, какая только можетъ выпасть на долю писателя—ихъ произведенія дали огромный толчокъ освобожденію народа изъ-подъ вѣкового гнета. Все русское общество, начиная съ императора Александра II, именно на Тургеневѣ, Григоровичѣ и частью на Некрасовѣ воспитало свое отвращеніе къ крѣпостному праву, а дифирамбы Константина Аксакова были въ свое время известны только его друзьямъ и журналистамъ, а теперь—историкамъ литературы.

Сформулировавши на стр. 110 основные пункты народолюбія Константина Аксакова и давши затѣмъ характеристику общаго тона этого народолюбія, я ознакомилъ читателя съ одною изъ наиболѣе существенныхъ сторонъ его духовной физіономіи. Переидемъ теперь къ другимъ руководящимъ идеямъ его и къ другимъ родамъ учено-литературной дѣятельности, въ которыхъ разбросывавшійся на всѣ стороны Константина Сергеевича проявлялъ свое разнообразное творчество. Такъ великъ быть пыль этого пламенного иска-теля истины и такъ стремителенъ напоръ переполнив-

шихъ его чувствъ, что онъ въ теченіе 25 лѣтъ своихъ научно-литературныхъ занятій не могъ сконцентрироваться на чёмъ-нибудь одномъ. Стихи, драмы, критика, история вообще, исторія литературы въ частности, публицистика, филология, все это шло въ перемежку и все это интересовало автора не само по себѣ, а какъ средство пропагандировать свои общественно-политические взгляды.

жительствомъ для нихъ, чтобы изъ разговора, фразы, отрывки изъ писемъ, отрывки изъ писемъ изъ той эпохи Были выведены въ хронологическомъ порядке, какъ будто слогомъ альбома, и въ этомъ видѣ якою-то хроникальною обзоръ изъ жизни писателя, отвѣтъ на который, пожалуй, неизбѣжною было бы читать, какъ будто читать книгу, которая имѣла бы въ себѣ пророчество о будущемъ иск.

Слѣдуетъ сказать, что въ хронологическомъ порядке выписаны въ альбомъ:

## X.

### Критическая статья.

Въ хронологическомъ порядкѣ Константина Сергеевича послѣ „изящной словесности“ раньше всего стала работать на поприщѣ критики, начавъ съ мелкихъ рецензій въ „Московск. Наблюдателѣ“, редакціею котораго въ концѣ 30-хъ годовъ завѣдывалъ Бѣлинскій и его друзья. Въ 1842 г. Аксаковъ издастъ небольшую брошюру о „Мертвыхъ душахъ“. Когда я первый разъ писалъ обѣ этой брошюры, я сообщалъ о ней слѣдующее:

Самой брошюры, ставшей чрезвычайною библіографическою рѣдкостью, намъ, къ сожалѣнію, не удалось видѣть, но о ней даютъ весьма полное понятіе двѣ посвященные ей статейки Бѣлинскаго и сердитый отвѣтъ на нихъ, напечатанный задѣтъмъ Константиномъ Аксаковымъ въ „Москвитянинѣ“ 1842 г. (№ 9). Впрочемъ, весь этотъ инцидентъ любопытнѣе не столько самъ по себѣ, сколько для характеристики взаимныхъ отношеній полемизировавшихъ. Недавніе горячіе друзья обмѣнивались такими колкостями, что, со стороны глядя, трудно было допустить мысль, что еще какихъ-нибудь два года раньше противники души не чаяли другъ въ другѣ. Да и самыи объектъ спора — черезчуръ восторженное отношеніе Константина Аксакова къ Гоголю довольно удивителенъ для всякаго, кто знаетъ, что именно въ кружкѣ Бѣлинскаго и развилось пламенное „гоголефильство“ автора брошюры. Но и то сказатъ, „гоголефильство“ „гоголефильству“ рознь. Если у Бѣлинскаго хватило мужества еще въ 1835 г. такъ-

таки en toutes lettres написать, что Гоголь—гений, то это одно изъ самыхъ блестящихъ проявлений его критической проницательности. Но когда не знавшій удержану въ своихъ симпатіяхъ Константина Сергеевича написать, что въ „Мертвыхъ душахъ“ воскресаетъ древній эпосъ и что, по „акту творчества“, рядомъ съ Гоголемъ могутъ быть поставлены только Гомеръ и Шекспиръ, то это была простая безвкусица.

О виѣпней формѣ восторженного по содержанию панегирика Бѣлинскій отозвался такимъ образомъ:

„Брошюра г. Константина Аксакова вся состоить изъ сухихъ, абстрактныхъ построеній, лишенныхъ всякой жизненности, чуждыхъ всякаго непосредственного созерцанія, и поэтому въ ней нѣтъ ни одной яркой мысли, ни одного теплого, задушевнаго слова, которыми озаряются первыи и даже самыи неудачныи попытки талантливыхъ и пылкихъ молодыхъ людей, и потому же въ ея наложеніи видна какако-то вялость, расплывчатость, апатія, неопредѣленность и сбивчивость.“

Зная высокій нравственный обликъ Бѣлинского, невозможно даже на одну минуту допустить, чтобы этотъ отзывъ былъ продиктованъ чѣмъ-нибудь инымъ, кромѣ искренняго желанія дать читателю понятіе о литературной сторонѣ брошючки. Самый же фактъ совершенного несоответствія вялой формы и восторженного содержанія можно объяснить отчасти тѣмъ, что, какъ уже было отмѣчено мною, *паѳосъ мысли и чувства* вообще не соотвѣтствовали въ произведеніяхъ Константина Аксакова *паѳосу изложенія*. А еще болѣе тѣмъ, что брошюшка, судя по выдержкамъ, приведеннымъ у Бѣлинского, писана на томъ малопонятномъ и до-нельзя путанномъ гегеліанскомъ жаргонѣ, который одинъ остроумный московскій профессоръ 40-хъ годовъ назвалъ „птичімъ языкомъ“. Этотъ „птичій языкъ“ портилъ статьи даже такого блестящаго стилиста, какъ Герценъ, который самъ вносялъ вѣдь въ добродушно смѣялся надъ слогомъ своихъ гегеліанскихъ мудрствованій. Мы уже знаемъ, что страсть всюду видѣть подтвержденіе гегеліанскихъ тезисовъ доходила у членовъ кружка Станкевича до того, что „человѣкъ“, который шелъ гулять въ Сокольники, шелъ для того, чтобы отдаваться пантенистическому чувству своего единства съ космосомъ; и если ему попадался по дорогѣ какой-нибудь солдатъ подъ

хмелькомъ или баба, вступавшая въ разговоръ, философъ не просто говорить съ ними, но опредѣлять субстанцію народности въ ея непосредственномъ и случайному явленіи". Брошюра К. Аксакова, даже въ тѣхъ только частяхъ, которыя приведены у Бѣлинскаго, написана точно нарочно для того, чтобы иллюстрировать эту характеристику. Такъ, между прочимъ, по "птичей" терминологіи юнаго гегеліанца выходило, что, любя ъзду на тройкахъ, Чичиковъ не просто любилъ скорую ъзду, а спивался въ это время съ субстанціей русскаго народа, тоже любящаго ъзду на тройкахъ.

Такъ я писалъ о брошюре, не имѣя возможности съ нею ознакомиться, потому что ея въ 1887 г. даже въ Публичной Библіотекѣ не было. Теперь эта великая библіографическая рѣдкость Библіотекой случайно приобрѣтена. Въ виду такой рѣдкости я счѣль не лишнимъ воспроизвести въ приложениі къ настоящему тому небольшую брошюру цѣликомъ.

Ознакомившись съ нею, нельзя не признать отношеніе Бѣлинскаго къ чрезмѣрнымъ восторгамъ своего недавняго друга въ общемъ правильнымъ. Можно, пожалуй, не согласиться съ тѣмъ, чтобы въ брошюре не было "ни одного теплого, задушевнаго слова". Это невѣрно. Теплоты-то въ ней достаточно, но опять приходится отмѣтить, что отсутствіе у Конст. Аксакова дара изложенія сплющъ да рядомъ приводила къ тому, что искренніе восторги его получали ходульное и напыщенное выраженіе.

Отмѣтимъ кстати, что отрицательное отношеніе къ брошюрѣ К. Аксакова было всеобщее. Начать съ того, что Погодинъ при всемъ своемъ "гоголефильствѣ" и при всей своей дружбѣ съ семьею Аксаковыхъ категорически отказался напечатать панегирикъ Константина Сергеевича въ "Москвитянинѣ". А когда брошюра вышла отдельно, то по свидѣтельству Сергея Тимофеевича (въ его "Исторіи моего знакомства съ Гоголемъ"): "всѣ журналисты, всѣ непріятели и даже почти всѣ пріятели Гоголя, говоря буквально, взбѣсились. Градъ ругательствъ, злобныхъ насмѣшекъ и всякихъ рода оскорблений посыпались печатно и письменно на Константина".

Дурное отношение к брошюре объединило такихъ антиподовъ, какъ Бѣлинскій и Шевыревъ, и получился такой курьезъ, что ненавидѣвшій Бѣлинскаго Шевыревъ на него ссылается! „Всеобщій хохотъ читавшихъ брошюру Константина Аксакова, пишетъ Шевыревъ Погодину,—„даже его стороны, были ему возмездіемъ за гордость. Осрамился совершенно! Даже Бѣлинскій въ *Отечественныхъ Запискахъ* сказалъ ему лѣдо“. Веневитинову-же Шевыревъ писалъ: „Павловъ боленъ глазами, и я уже говорю: Гомеръ, Мильтонъ и Павловъ въ pendant къ тѣмъ, которые кричать: Гомеръ, Шекспиръ и Гоголь“ (*Барсуковъ*, Жизнь Погодина, т. IV, 294).

Что касается Гоголя, то онъ былъ крайне недоволенъ брошюрой. Человѣкъ безпредѣльного самомнѣнія, Гоголь, конечно, остался-бы очень доволенъ ею, еслибы ее не подняли на смѣхъ. А теперь онъ сердился (ср., напр. Переписку Гоголя въ изд. Шенрока, т. II, 305) и даже черезъ два года не постыдился въ письмѣ къ Сергею Тимофеевичу сказать, между прочимъ: „Чѣмъ ушибся, тѣмъ и лѣчись,—говорится, а такъ какъ Конст. Сергеевичъ опозорился въ глазахъ свѣта на мнѣ (написавши статью о „Мертвыхъ душахъ“), то мною же долженъ быть подтолкнутъ на прославленіе въ глазахъ того-же свѣта“ (*Ibid.*, 562—563).

---

Пять лѣтъ спустя—въ „Москов. Сборникѣ“ 1847 г. Константина Сергеевича выступаетъ подъ псевдонимомъ *Имрецъ* съ тремя критическими статьями большаго литературнаго значенія. Съ первой изъ нихъ, где авторъ въ лицѣ князя Одоевскаго напустился на всѣхъ „сторванныхъ“ отъ народа интеллигентовъ вообще, мы уже знакомы. Вторая, посвященная „Опыту исторіи русской литературы“ Никитенки вся состоять изъ очень грубыхъ выходокъ противъ петербургскаго профессора, болѣе всего провинившагося предъ рецензентомъ своимъ пренебрежительнымъ отношеніемъ къ допетровской старинѣ. Жестоко ему достается за одно мѣсто, где онъ говоритъ о „звѣрскихъ брадатыхъ лицахъ“ стрѣльцовъ. Но самое большое негодованіе критика возбудила одна тирада Никитенки, защищающая Петровскую ломку такими доводами: „что-за важность, если бы даже для облегченія по этой

дорогъ пришлось бросить иѣкоторыя изъ старинныхъ привычекъ, надѣть новое платье, выбритъ бороду, пить для подѣржанія силь чай и кофе вмѣсто охмѣляющаго питья, отдохнуть отъ трудовъ въ опрятныхъ и удобныхъ домаахъ вмѣсто дымныхъ логовищъ".

"Логовища!" со справедливымъ негодованіемъ восклицаетъ критикъ по поводу этой дѣйствительно возмутительной тирады. "Мѣсто, гдѣ живеть дикий звѣрь! Такъ называетъ г. Никитенко наши крестьянскія избы! Ибо ни къ чему другому не могутъ относиться его слова. Если онъ говорить про прошедшее, то бояре и прежде Петра не живали въ дымныхъ палатахъ; а наши бѣдныя дымныя избы носятъ на себѣ и теперь весь отпечатокъ древней Руси; итакъ, только къ нимъ могутъ относиться эти изумительныя слова. Но, оставя въ сторонѣ такую нѣжность выраженія, которую видно допускаетъ просвещенный и гуманный европеизмъ г. автора, спросимъ: развѣ это зависитъ отъ выбора—опрятный и удобный домъ? Развѣ путь тутъ матеріальныхъ условій богатства? Развѣ не согласился бы всякий промѣнить дымную избу на избу (или домъ), построенную опрятно и удобно?—Кажется—это не нужно доказывать. Налагать же упрекъ бѣдности на народъ, который живеть въ дымныхъ логовищахъ, какъ имѣть духъ сказать г. Никитенко—это цѣвѣносимо".

Вотъ какую ноту взялъ вознегодавшій критикъ въ пылу полемики! Мало она имѣть общаго съ тѣмъ мажорнымъ тономъ, который составляетъ главную особенность большинства другихъ писаній Константина Аксакова, трактующихъ о народѣ. Но это-то и доказываетъ справедливость сказанного мною выше по поводу народолюбія Аксакова, это-то и доказываетъ, что онъ не меньше западниковъ скорбѣть о бѣдности народной, но только класть жалость въ основу своего народолюбія, какъ дѣлали западники, мѣнила ему доктрина, по которой не жалѣть должны мы народъ, а, напротивъ того, завидовать ему и поучаться у него.

Третья статья Имрека-Аксакова въ „Московск. Сборн.“ разбираетъ изданный Некрасовымъ „Петербургскій Сборникъ“, въ составъ котораго, какъ извѣстно, входили произведенія почти всѣхъ представителей тогдашней молодой прогрессивной литературы. Не любилъ ихъ Константина Сергеевичъ, очень не любилъ. И все за ту же „оторванность“ отъ народа. Больше всего, впрочемъ, досталось Достоевскому за „Бѣдныхъ людей“ и „Двойника“, въ которыхъ критикъ видѣлъ неудачное подражаніе Гоголю. Попало и Тургеневу, по мнѣнію критика, пишущему „постоянно плошѣ и плошѣ“.

Поэму Майкова „Двѣ судьбы“ Имрекъ „прочелъ съ непріятнымъ и грустнымъ чувствомъ“. Что же касается статьи Бѣлинского о русской литературѣ, то въ неї петербургской критикъ „обнаружилъ искажение“ и въ общемъ его статья есть „болтовня, повтореніе столько разъ повторявшейся болтовни о русской литературѣ, болтовни, которую встрѣчали мы въ „Отечественныхъ Запискахъ“.

Впрочемъ, не одно только осужденіе вызывали „петербургскіе“ литераторы въ Имрекъ. Такъ какъ вражда къ нимъ была въ московской критикѣ исключительно идеальная, то всякая черточка въ литературной дѣятельности противниковъ, сколько-нибудь симпатичная Константину Сергеевичу и совпадающая съ основами его общественно-политического міросозерцанія, встрѣчала съ его стороны самое горячее одобрение. Такъ, статью Искандера онъ причислилъ къ „числу умныхъ, замѣчательныхъ“. За то причислилъ, что она рѣзко бичевала ту условную ложь, которая у насть въ обществѣ считается признакомъ благовоспитанности и которую, какъ читатель, вѣроятно,помнить изъ приведенныхъ выше воспоминаний Бицына, Константина Аксаковъ ненавидѣть всѣми силами своей невыносившей никакихъ компромиссовъ чистой души.

Удѣлилъ Имрекъ нѣсколько сочувственныхъ строкъ и стихотворенію Некрасова „Въ дорогѣ“, гдѣ такъ симпатично обрисованъ ямщикъ, несчастный въ своемъ неравномъ бракѣ съ крестьянкой, получившей барское воспитаніе. Но въ рѣшительный восторгъ привель его своимъ первымъ отрывкомъ изъ „Записокъ охотника“ Тургеневъ. Только-что отѣлавъ его самымъ немилосерднымъ образомъ за тѣ произведенія, которыми Тургеневъ началъ свою писательскую карьеру, Имрекъ тутъ же поставилъ звѣздочку и въ примѣчаніи написалъ:

„Мы должны указать на появившійся въ 1 № „Современника“ превосходный разсказъ г. Тургенева *Хорь и Калиныч*. Вотъ, что значитъ прикоснуться къ землѣ и къ народу: въ мигъ дается сила! Пока г. Тургеневъ толковалъ о своихъ скучныхъ любвяхъ, да разныхъ апатіяхъ, о своемъ эгоизмѣ,— все выходило вяло и безталантно; но онъ прикоснулся къ народу, прикоснулся къ нему съ участіемъ и сочувствіемъ,

и посмотрите, какъ хорошоъ его разскать! Талантъ, таиншійся въ сочинителѣ, скрывавшійся во все времія, пока онъ силился увѣрить другихъ и себя въ отвлеченныхъ и потому небывалыхъ состояніяхъ души, этотъ талантъ въ мигъ обнаружился и какъ сильнѣ и прекрасно, когда онъ заговорилъ о другомъ. Всѣ отдастъ ему справедливость: по крайней мѣрѣ, мы спѣшимъ сдѣлать это. Дай Богъ г. Тургеневу продолжать по этой дорогѣ\*.

Но всего обстоятельніе изложилъ Константина Сергеевича свой взглядъ на нашу литературу вообще и на писателей эпохи 40-хъ и 50-хъ гг. въ частности въ обширномъ „Обозрѣніи современной литературы“, напечатанномъ въ „Русской Бесѣдѣ“ 1857 г. Обозрѣніе состоитъ изъ небольшихъ замѣчаній чисто-литературнаго свойства, высказанныхъ по поводу отдѣльныхъ произведеній, только-что тогда появившихся, и изъ оценокъ общихъ, которыя даютъ намъ возможность формулировать основные пункты литературныхъ принциповъ Аксакова.

Что касается отдѣльныхъ замѣчаній чисто-литературнаго свойства, то нельзѧ сказать, чтобы они отличались особенною тонкостью и глубиной. Мѣстами же критикъ доходитъ даже до большой безвкусицы. Такъ, находя, что плеяда поэтовъ сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ, т. е. Тютчевъ, Фетъ, Полонскій, Майковъ, Некрасовъ, Мей, Щербина, представляютъ собою сравнительный упадокъ русской поэзіи, онъ кого же изъ оставшихся въ живыхъ представителей „прошедшой эпохи стихотворства“ противопоставляетъ имъ въ позиданіе? „Лира Жуковскаго“, говорить онъ, „еще недавно звучала гармонически съ береговъ Рейна; иногда раздадутся замысловатые, и подчасъ полные чувства, стихи Вяземскаго, умныя и колкіе стихи М. Дмитріева, или по-своему нѣкогда мелодическіе стихи Ф. Глинки“. Чтобы не очень отвлекаться въ сторону, не станемъ пускаться въ требующее детальности разсмотрѣніе вопроса о томъ, насколько „замыловатые“ стихи Вяземскаго и произведенія послѣдніхъ лѣтъ жизни Жуковскаго значительнѣе произведеній вышеперечисленныхъ поэтовъ плеяды 40-хъ и 50-хъ годовъ. Но серьезно противопоставлять имъ какого-нибудь Федора Глинку или

бездарного Михаила Дмитриева, про которого Соболевский такъ вѣрно сказаць:

Онъ камерь-юнкеръ при дворѣ  
И камердинеръ на Парнасѣ,—  
это уже грубѣйшая безвкусица.

Не свидѣтельствуетъ также о тонкости пониманія такая характеристика писательской манеры Тургенева: „У г. Тургенева, собственно въ разсказахъ, не касающихся крестьянскаго быта, развилась чрезмѣрная подробность въ описаніяхъ: такъ и видно, что авторъ не прямо смотрить на предметъ и на человѣка, а наблюдаетъ и списываетъ“ (Курсивъ Аксакова). Онъ чуть не сосчитываетъ жилки на щекахъ, волоски на бровяхъ“. „Жажда быть вѣрнымъ дѣйствительности“, говорить въ другомъ мѣстѣ критикъ, „доходитъ часто до цинизма у г. Тургенева“. Но всего страннѣе читать слѣдующій упрекъ Тургеневу:

„Андрей Колосовъ еще весь проникнутъ тѣмъ лермонтовскимъ направленіемъ, которое подъ ложнымъ видомъ будто бы силы скрываютъ только совершенное бездуше, самый сухой эгоизмъ и крайнее безстыдство; эта сила—вещь весьма дешевая, какъ скоро бороться не съ чѣмъ. Повѣсть „Три портрета“ самымъ возмутительнымъ и оскорбительнымъ образомъ выражаетъ то же направление. Изъ уваженія къ г. Тургеневу мы бы не пожелали видѣть этой повѣсти въ печати“.

Желаніе—поистинѣ удивительное.. Выходитъ, такимъ образомъ, что авторъ виноватъ, если выведенныя имъ лица несимпатичны. Всякій, кто читалъ „Три портрета“, помнить, конечно, какую они даютъ рельефную картину прошлаго, и именно то, что Аксаковъ изъ повѣсти почерпнулъ материалъ для сдѣланной выше (и совершенно правильно) характеристики людей печоринскаго склада, именно это-то и показываетъ, что, какъ художникъ, Тургеневъ исполнилъ свою задачу выпукло и ярко. Для полной послѣдовательности критику слѣдовало бы желать „не видѣть въ печати“ и „Героя нашего времени“, гдѣ впервые выведенъ ченавистный ему „сухой эгоизмъ“, скрывающійся подъ „видомъ будто бы силы“.

Чтобы покончить съ чисто-литературными вопросами разсматриваемой статьи отмѣтимъ въ ней одну подробность, на которую, мало обращали у насъ вниманія и которая, однако, весьма любопытна для исторіи нашихъ литературныхъ теченій.

Уже при разборѣ стихотвореній Константина Аксакова было сказано, что враждебная идея 60-хъ годовъ часть журналистики любила и любить подчеркивать, что такъ называемая „гражданская поэзія“, отодвигающая на второй планъ непосредственно-художественные цѣли, создана въ русской литературѣ Некрасовымъ и прогрессивною критикою Добролюбова и Писарева. Утверждение это я находилъ только наполовину вѣрнымъ, доказывая, что, если присмотрѣться къ славянофильской поэзіи, то нетрудно убѣдиться, что въ лицѣ наиболѣе даровитыхъ представителей своихъ она задолго до движенія 60-хъ годовъ рѣшительно отвергла завѣтъ Пушкина быть поэзіей „звуковъ сладкихъ и молитвъ“ и всецѣло посвящала себя „житейскимъ волненіямъ“ и „битвамъ“.

Въ рассматриваемой статьѣ мы находимъ теоретическое обоснованіе такого пониманія поэзіи и даже прямую проповѣдь тенденціозности:

„Въ наше время“, говорить Константина Аксаковъ, „поэтическое произведение, хотя написанное съ талантомъ (ибо таланты всегда возможны), можетъ быть только средствомъ, однимъ изъ способовъ для изображенія той или другой мысли. Извѣстенъ анекдотъ о математикѣ, который, выслушавъ изящное произведеніе спросилъ: что этимъ доказывается? Какъ ни страненъ этотъ вопросъ въ приведенномъ случаѣ, но есть эпохи въ жизни народной, когда при всякомъ, даже поэтическомъ, произведеніи, является вопросъ, что этимъ доказывается? Таковы эпохи исканій, изслѣдований, трудовыхъ эпохи постиженій и рѣшенія общихъ вопросовъ. Такова наша эпоха“ (стр. 15).

Это общее воззрѣніе критика легло въ основу отдельныхъ характеристикъ его. Такъ, къ Фету онъ относится насыщенно:

„любовь, любовь, любовь; милая, милая и милая: вотъ что на всѣ лады, не уставая, воспѣваетъ г. Фетъ“.

Столь же мало удовлетворяетъ его Мей, хотя онъ отмѣчаетъ у него „звукочный прекрасный стихъ“. Въ антологическихъ стихотвореніяхъ Щербины, которыми такъ восхищались эстетики 40-хъ и 50-хъ годовъ, онъ видѣть только „излишество“ сочувствія къ древнему миру. По поводу же „Губернскихъ очерковъ“, которые кажутся Константину Сер-

гъевичу „не произведеніемъ искусства, а ораторскою рѣчью“, онъ говоритьъ:

„И въ добрый часъ! намъ нужны такія рѣчи. Сочиненія г. Щедрина имѣютъ общественный интересъ—и вотъ главная причина ихъ успѣха. Мы говорили уже, какъ важенъ общественный элементъ въ Россіи, и то, что это существенный элементъ нашей литературы. Законное негодованіе, съ которымъ представлены всѣ общественные искаженія, слышное даже тамъ, где авторъ, позидому, изъ стороны, не можетъ не находить сочувствія во всѣхъ хорошихъ людяхъ и въ цѣломъ обществѣ. Успѣхъ „Губернскихъ очерковъ“ есть утѣшительное явленіе“ (стр. 36).

Если вспомнить, что всѣ только что приведенные нами выдержки относятся къ началу 1857 г., то въ обычныхъ представлениія обѣ исторіи нарожденія на Руси утилитарно-публицистического взгляда на искусство должна быть внесена важная поправка. Принято считать основателемъ публицистической критики въ русской литературѣ Чернышевскаго, Добролюбова и продолжателя ихъ Писарева. Такъ оно, действительно, и есть, потому что та часть русского общества, которая усвоила себѣ новый взглядъ на искусство, вычитала его именно въ пользавшихся огромною популярностью статьяхъ Чернышевскаго, Добролюбова и Писарева, а никакъ не у Константина Аксакова, статьи которого читались самыми незначительными въ тѣ годы кружкомъ адептовъ славянофильства. Въ частности, Фетъ былъ свергнутъ съ пьедестала не насмѣшилъ отвѣщеніемъ критики „Русской Бесѣды“, а вышучиваніемъ критика „Русскаго Слова“. Такимъ образомъ, фактически К. Аксаковъ весьма мало принялъ дѣлу разрушенія старыхъ эстетическихъ понятій. Но такъ какъ писателя можно осуждать или восхвалять исключительно по его намѣреніямъ, а не по тому, написались ли люди, которые вняли его проповѣди, то послѣ приведенныхъ выше всѣ, которые ставятъ насажденіе публицистического взгляда на искусство въ вину Добролюбову и Писареву, должны не забывать въ своихъ діатрибахъ и гла-варя славянофильства—Константина Сергеевича Аксакова. Хронологически онъ раньше провозгласилъ ту теорію служебного значенія искусства, которую знаменуетъ эпоха конца 50-хъ и начала 60-хъ годовъ.

И не только раньше, но отчасти и *рѣзче*, по крайней мѣрѣ, сравнительно съ Добролюбовымъ. Добролюбовъ только внут-

реннимъ смысломъ своихъ статей доказывалъ, что слѣдуетъ цѣнить въ литературныхъ произведеніяхъ ихъ общественное значение. Но такъ-таки прямо написать, что „общественный элементъ есть существенный въ литературѣ нашей“, какъ это написалъ Конст. Аксаковъ, или сочувствовать математику, который требовалъ, чтобы произведеніе искусства что-нибудь „доказывало“, до такого утилитаризма ни авторъ „Темного царства“, ни Чернышевскій не доходили.

Что касается общихъ взглядовъ Константина Аксакова на русскую литературу, то они прежде всего заключаются въ бичеваніи подражательности нашей словесности. Начало этой подражательности онь почему-то ведеть исключительно отъ Петра, хотя ему ли было не знать, какую первенствующую роль игралъ элементъ подражательности въ нашей допетровской словесности, чуть ли не на половину состоявшей изъ прямыхъ переводовъ и передѣлокъ иностранныхъ образцовъ. Въ исторіи „легкаго и веселаго труда подражанія“ и въ ходѣ „глотанія готовой, чужими руками изготовленной умственной пищи“, въ чемъ повинны, „впрочемъ только верхніе классы“, К. Аксаковъ усматриваетъ два периода—до и послѣ Карамзинскаго. Въ первомъ мы подражали западно-европейскому классицизму, который „быть, въ свою очередь, безжизненное поклоненіе древнему миру“. И такъ какъ „эта классическая литература Европы, подражая древнему миру, уже лишенному жизни, была неподвижна“, то и „наша послушная литература, вдвойне подражательная, была въ ту эпоху тоже неподвижна“. Карамзинъ „уничтожилъ это двойственное подражаніе и предложилъ лучше подражать самой Европѣ. Тяжесть двойныхъ оковъ была крайне неудобна и съ радостью взяла наша литература гласу нового дѣятеля, нового подражателя. Съ этой эпохи, съ Карамзина, литература наша, наоборотъ, стала ласкалась подвижна въ высшей степени, ибо элементъ подражанія былъ не классицизмъ европейскій, а сама Западная Европа, въ совокупности всѣхъ своихъ народовъ. Подражать было адѣль гораздо легче, пріятнѣе и интереснѣе,—и вотъ дѣло пошло живѣе. Переимчивость составила съ этихъ порь характеристику нашей литературы“. Но тутъ-то и кроется источникъ ея крупнейшихъ недостатковъ. „Достаточно этой быстроты перемѣнъ для того, чтобы ог҃нить и понять смыслъ

и достоинство нашей словесной деятельности. Мы знаемъ, что серьезный и самобытный ходъ иначе движется, что, при глубинѣ общаго основанія, не легко отдѣлываются отъ одного убѣжденія и принимаютъ другое. Но литература наша —собраніе чужихъ формъ, разныхъ отголосковъ, и только. Вотъ почему такъ быстро мѣняются формы, —не утвержденныя на прочной мысли; вотъ почему безпрестанно переливаются отсвѣты и отблески, лишенные собственнаго свѣта и блеска. Таланты, разумѣется, у насъ есть; но мы говоримъ не объ отдѣльныхъ талантахъ, а объ общемъ ходѣ литературы, котораго не измѣняютъ и таланты". Представляя затѣмъ перечень литературныхъ направлений послѣднихъ десятилѣтій, критикъ говоритъ: „Почти не стоитъ нападать на произведения того или другого литературнаго направлениія или школы: не имѣя поддержки внутри, они падаютъ собственнымъ безсиліемъ, собственнымъ источенiemъ". Для современной ему литературы Аксаковъ не дѣлаетъ исключенія. Онь убѣждень, что „и современная ложь ея не замедлитъ обнаружиться и исчезнуть, и если погодить критиковатъ, то какъ разъ и критиковатъ опоздаешь, ибо все падаетъ само собою".

Но если русская литература полна „лжи“, если она „безплодна“, какъ увѣряетъ критикъ, то что же нужно сдѣлать для того, чтобы лживыя и бесплодныя теченія замѣнились теченіями болѣе плодотворными?

На всѣ эти вопросы статья, какъ она ни обширна и детальна, прямого отвѣта не даетъ. Какъ и всѣ славянофильскія писанія, статья богата неготованіемъ и критикою, но въ положительной части своей, въ начертаніи программы практической деятельности, не идетъ дальше самыхъ общихъ и потому совершенно неопределенныхъ указаний. Нельзя же въ самомъ дѣлѣ, даже при полномъ желаніи постѣдоватъ, назвать указаніемъ слѣдующее мѣсто, хотя оно еще самое опредѣленное во всей статьѣ. Критикъ отмѣчаетъ, что мы всегда жили „чужими, заемными умомъ“, и только теперь напились люди, т. е. славянофилы, которые „догадались, что это не жизнь“. „Но гдѣ же жизнь?—задаетъ вопросъ пророкъ „догадавшагося“ направлениія:

„Этотъ вопросъ, эта потребность, а слѣдовательно, и возможность жизни, жизни настоящей, самобытной, въ насъ пробудилась. Вмѣсть

съ тѣмъ, какъ бы въ отвѣтъ на вопросъ, вниманіе наше обратилось ко всѣмъ самобытнымъ проявленіямъ русской жизни, къ древней исторіи, къ обычаямъ народныхъ, къ устройству народной общественности, къ языку, ко всему, въ чемъ высказывается Русь. Хотя и здѣсь различны точки зрѣнія, хотя подражательный взглядъ и здѣсь еще думаетъ удержаться, но уже образовалось цѣлое направлѣніе, въ сущности очень простое, направлѣніе, основанное на томъ, что русскимъ надо быть русскими, другими словами, что *безъ самостоятельности умственной и жизненной—все должно* (курсивъ автора). Если самостоятельности въ нацѣ нѣть и быть не можетъ, то подобная истина для нацѣ безполезна и нацѣ не возстановить духовно. Если же у нацѣ есть самостоятельность и только лишь подавлена и спрятана, то достаточно сознанія въ ея необходимости, чтобы она пробудилась сама. Поднять огромный вопросъ для русскихъ людей, вопросъ: быть или не быть? Быть же не собою—для человѣка не значить быть".

Можно ли, повторяю, извлечь какое бы то ни было практическое указаніе изъ этого болѣе чѣмъ туманнаго рецепта? И удивительно ли, что сейчасъ приведенные мысли Конст. Аксакова пріобрѣли себѣ кое-какихъ приверженцевъ при жизни его и довольно многочисленныхъ послѣ смерти, но приверженцовъ—теоретиковъ же, т. е., людей, повторявшихъ слова учителя во всей ихъ туманности и неопределенности, и совсѣмъ не пріобрѣли себѣ приверженцевъ—практиковъ, которыми въ даннѣомъ случаѣ могли быть писатели-художники.

И вотъ почему нельзя не назвать крайне неудачнымъ пророчествомъ заключительныя слова рассматриваемой статьи, которая, кроме того, очень любопытны, какъ общее резюме отношенія Константина Аксакова къ современной ему литературѣ:

"Что же скажемъ мы въ заключеніе нашего обозрѣнія современной литературы? Она многоплодна, это не подлежитъ сомнѣнію. Передъ нами множество писателей, и множество произведеній, по нѣть основной мысли, которая бы двигала эту массу повѣстей, романовъ, комедій и пр. Въ самомъ этомъ отсутствіи общей мысли есть свой смыслъ. Это отсутствіе общей мысли, эта безполезность талантовъ выражаютъ, по нашему мнѣнію, прекращеніе литературы, начавшейся съ Кантемира, духъ который въ основаніи былъ—подражательность. Эта литература давала намъ поэтическія произведенія, болѣе или менѣе отвлеченные произведенія истинныхъ талантовъ, попавшихъ на общий ложный путь; она давала намъ ихъ, пока не замкнула своего круга, пока не истощила своихъ силъ, пока не поколебалась вѣра въ ея направлѣніе. Но теперь наступила эта минута, и прежняя литература, послѣ полутораста лѣтъ своей дѣятельности, впала въ совершенное бѣзсиліе. На рубежѣ

ея стоит Гоголь, величайший писатель русский, не договоривший *своего слова* (sic), которое рвалось уже въ новую область. Когда рѣшится задача, чѣмъ станеть русская поэзія,— это дѣло будущаго. Въ настоящее время передъ нами толпа писателей, покинутыхъ духомъ прежней эпохи, свидѣтельствующихъ собою о прекращеніи цѣлаго направлениѣя. У насъ есть иѣсколько авторовъ съ замѣчательнымъ талантомъ, которые, хотя ничего не измѣняютъ въ общемъ состояніи нашей литературы, не даютъ иного направлениѣя ея ходу, но въ нихъ свѣтится какая-то, чутъ видная заря литературнаго будущаго дня; она исчезаетъ, какъ скоро появится солнце".

Подъ появлениемъ солнца тутъ, конечно, разумѣется полное воспринятіе нашою *художественною* литературою славянофильскихъ тенденцій, договариваніе слова, которое не успѣть сказать Гоголь, рвавшійся въ "новую область". И если вспомнить, что стремленіе Гоголя въ "новую область" привело къ "Перепискѣ съ друзьями" и къ исканію "положительныхъ" сторонъ русской жизни тамъ, гдѣ неотуманенный мистицизмъ умъ всего менѣе можетъ ихъ усмотрѣть; если, затѣмъ, бросить хотя бы самый бѣглый взглядъ на ходъ новѣйшей литературы, то, увы, окажется что даромъ литературнаго предвидѣнія Конст. Сергеевичъ не обладалъ. 65 лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ написаны только-что приведенные слова и какъ мало они сбылись. Солнце-то, дѣйствительно, взошло, но только совсѣмъ не съ той стороны, съ какой его ожидалъ Константина Сергеевича. Всѣ эти лишенные "основной мысли" и стоявшіе на "ложномъ пути" таланты далеко ушли отъ той "новой области", куда ихъ звалъ Константина Аксаковъ. И тѣмъ не менѣе они успѣли создать литературу, передъ которой въ изумленіи остановилась привыкшая смотрѣть на насъ, какъ на варваровъ, Западная Европа.

XI.

## Диссертация о Ломоносовѣ

Отъ К. Аксакова-критика перейдемъ къ К. Аксакову-историку литературы, т. е., къ его магистерской диссертациі, появившейся въ 1846 г. и озаглавленной: „Ломоносовъ въ исторіи русской литературы и русского языка“. Въ этой области онъ менѣе всего интересенъ. Какъ научное изслѣдованіе, книга имѣть весьма мало значенія. Но столь же мало значенія она имѣть для обрисовки руководящихъ идеи Константина Сергѣевича. Въ снабженной нѣмецкимъ эпиграфомъ (изъ Гете) диссертациіи своей, К. Аксаковъ еще мало похожъ на того пламенного палладина идеи славянофильства, какимъ онъ явился черезъ нѣсколько лѣтъ. Въ гораздо большей степени книга представляетъ собою свидѣтельство того огромнаго вліянія, которое имѣли на духовную дѣятельность русской интелигенції 40-хъ годовъ идеи Гегеля. Вся обширная диссертациія написана тѣмъ знакомымъ уже намъ гегеліанскимъ жаргономъ, котораго такъ много въ писаніяхъ членовъ кружка Бѣлинскаго, Станкевича и Искандера, где еще недавно вращался Аксаковъ. Но, помимо жаргона, и вся сущность книги гегеліанская, потому что задача автора только въ томъ и состоитъ, чтобы въ исторіи русской литературы вообще и въ исторіи литературной дѣятельности Ломоносова въ частности найти моменты, установленные германскимъ философомъ въ качествѣ абсолютныхъ и непреложныхъ условій всякой исторіи литературы. Благодаря этому пламенному стремленію юнаге *in verba magistri* и представ-  
ствуетъ въ концепціи Аксакова-историка.

вить иллюстрацію теорії излюбленного учителя, диссертація крайне поражаетъ современаго читателя. Достаточно прочитать хотя бы слѣдующія строки, которыми молодой магистръ очерчиваетъ кругъ своего изслѣдованія:

„Смотря на Ломоносова, какъ на лицо въ нашей литературѣ, мы въ правѣ предложить одинъ вопросъ: Ломоносовъ, какъ моментъ въ исторіи русской литературы, вопросъ, который въ своемъ събственному развитіи, вмѣстѣ съ конкретированіемъ самого предмета, является какъ вопросъ: Ломоносовъ въ отношеніи къ языку, къ слогу,—и какъ вопросъ: Ломоносовъ, какъ поэтъ.

Въ сущности эти три вопроса не что иное, какъ одинъ:

*Ломоносовъ какъ моментъ въ исторіи нашей литературы* (курсивъ автора).—вопросъ возможно полный и единственный, который въ своемъ развитіи ставитъ моменты своего конкретированія сообразно съ моментами конкретированія самого предмета (либо вопросъ, изслѣдованіе, есть не что иное, какъ сознаніе самого предмета и имъ условливается) и раздѣляется, такимъ образомъ, диссертацией нашу на три части, именно:

I. Ломоносонъ, какъ моментъ въ исторіи литературы, моментъ самъ въ себѣ, *in abstracto*.

II. Ломоносовъ въ отношеніи къ языку, къ слогу, моментъ чисто-исторический.

III. Ломоносовъ, какъ поэтъ, гдѣ мы отъ чисто-исторического опредѣленія переходимъ къ нему самому, какъ индивидууму, и гдѣ моментъ получаетъ полнѣшее конкретированіе и имѣть значеніе самъ для себя—моментъ личный”.

Такимъ тарабарскимъ языкомъ написана сплошь вся диссертация, заключающая въ себѣ 517 страницъ. Я уже нѣсколько разъ старался подчеркнуть, что, при всей горячности своего личнаго темперамента, Константина Аксаковъ быть очень вялымъ писателемъ или, говоря частнѣе, стилистомъ. Но никогда эта вялость изложенія не сказалась такъ рѣзко, какъ въ диссертациі. Она читается съ чрезвычайно скучою и къ ней вполнѣ приложимъ отзывъ, который далъ Бѣлинскій о брошюркѣ Аксакова, написанной по поводу появленія „Мертвыхъ душъ”. Именно о ней-то и должно сказать, что она „вся состоять изъ сухихъ, абстрактныхъ построеній, лишенныхъ всякой жизненности, чуждыя всякаго непосредственнаго созерцанія, и что, поэтому, въ ней нѣть ни одной яркой мысли, ни одного теплаго, задушевнаго слова, которыми озnamеновываются первыя и даже самыя неудачныя попытки талантливыхъ и пылкихъ молодыхъ людей”.

Но если современаго читателя непрятно поражаетъ впѣ-

шняя сторона диссертациі, то въ такой же степени его удивляетъ и внутреннее содержаніе ея. Начать съ того, что въ книгѣ, озаглавленной „Ломоносовъ въ исторіи русской литературы и русского языка“, Ломоносовъ какъ-то совершенно ни причемъ. Архитектоника книги такая: обширное вступлениѳ, занимающее собою 64 страницы, почти исключительно посвящено изложенію гегеланскихъ представлений объ искусствѣ, изложенію, до нельзя туманному и сбивчивому. Легко ли напр., понять такую фразу:

„стиль вообще показываетъ тайное сочувствіе съ искусствомъ самого материала, являеть точку ихъ соприкосновеній, чрезъ которую материалъ теряетъ свою тяжесть и грубость, и искусство опредѣляется“.

Послѣ введенія философскаго, идеть введеніе историко-литературное, въ которомъ авторъ дѣлаетъ обзоръ языка произведеній до-ломоносовскихъ періодовъ русской письменности. Это историческое введеніе занимаетъ около 250 страницъ. Такимъ образомъ, рѣчь о Ломоносовѣ начинается только съ 327 стр. А такъ какъ съ 439 стр. начинаются приложения (выписки изъ грамотъ и разныхъ литературныхъ произведеній), то и выходить, что собственно Ломоносову изъ 517 страницъ книги уѣдѣлено 110.

Но даже и эти 110 страницъ не всѣ посвящены специальнно Ломоносову, а ровно на половину состоять изъ разныхъ разсужденій эстетического и философскаго содержанія. Такимъ образомъ, въ общемъ получается работа, весьма мало походя на тѣ точныя, исчерпывающія предметъ историко-литературная наслѣдованія, къ которымъ настъ пріучила университетская жизнь. Отмѣтимъ уже, кстати, что диссертациія не обнаруживаетъ и сколько-нибудь обширной эрудиціи автора. Всю жизнь свою разбрасывавшійся въ разныя стороны, Константинъ Сергеевичъ, вообще говоря, былъ человѣкъ съ обширными знаніями. Но собственно специальныхъ знаній въ одной какой-нибудь области у него было не много. Такъ, если мы присмотримся къ источникамъ, которые цитируетъ магистрантъ, то они всего менѣе поразятъ настъ свою многочисленностью. 1-я часть „Актовъ историческихъ“, 1-я часть „Собраний государственныхъ грамотъ“, 1-я и 4-я ч. „Актовъ, собран. археогр. комиссией“, „Сборникъ Кирши Данилова“, — вотъ почти единственный пособія, которыми ма-

магистрантъ пользовался много. А если къ нимъ прибавить еще около десятка лишь эпизодически цитируемыхъ книгъ, то мы получимъ и весь научный багажъ автора. Правда, магистрантъ ссылается иной разъ на Остромирово Евангелие, на лѣтопись Нестора, на „Сказанія“ Князя Курбскаго, на проповѣди єѳофана Прокоповича, на сочиненія Кантемира и, наконецъ, Ломоносова; но нельзя же по поводу этого серьезно говорить объ „эрудиціи“.

Если, въ общемъ, относительно диссертациі Конст. Аксакова можно сказать, что она не блещетъ эрудиціей, то въ частности по поводу той части ея, гдѣ рѣчь идетъ объ эпохѣ Петра, т. е. эпохѣ, наиболѣе важной для предмета разсматриваемаго изслѣдованія, можно прямо сказать, что эрудиція автора недостаточна. Я не стану, конечно, сравнивать изученіе магистрантомъ Петровской эпохи съ тѣмъ знаніемъ ея, которое, напр., обнаружилъ въ своемъ трудѣ „Наука и литература при Петре“—Пекарскій. Но и помимо параллели съ Пекарскимъ, въ сравненіи съ эрудиціей котораго диссертациі К. Аксакова представляется какимъ-то школьническимъ упражненіемъ, помимо, говорю я, такого сравненія, нельзя не признать, что изученіе эпохи Петра по тѣмъ, счетомъ семи, источникамъ<sup>1)</sup>, которые цитируетъ магистрантъ, ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть признано достигающимъ цѣли.

И надо думать, этимъ-то болѣе чѣмъ поверхностнымъ изученіемъ эпохи, породившой писателя, разсмотрѣніе дѣятельности котораго составляетъ предметъ диссертациі, и объясняется то, что характеристика Ломоносова поражаетъ своюю банальностью. То, что говорить магистрантъ о даровитости Ломоносова, объ историческихъ его заслугахъ въ дѣлѣ выработки русскаго стиха, о разнообразіи его дарованій и т. д. все это до такой степени школьнически-извѣстно, хотя прикрыто часто весьма туманною гегеліанскою тарабарниц-  
и

<sup>1)</sup> „Полное Собр. Закон. Россійскихъ“ т. IV и V, проповѣди Стефана Яворскаго, слова и рѣчи єѳофана Прокоповича, рѣчи Гавріла Вужинскаго, сочиненія Кантемира, духовное стихотвореніе Петра Буслаева въ ода о сдачѣ Данцига Тредыяковскаго.

ною, что ради такихъ ничтожныхъ результатовъ рѣшительно не стоило изготавлять книгу въ 500 страницъ.

Есть, впрочемъ, въ диссертациі и не банальная вещь. Но лучше бы ихъ вовсе не было. Болѣе чѣмъ неудачно магистрантъ слѣдующими, притянутыми за волосы доводами старается оправдать Ломоносова отъ обвиненій въ томъ, что онъ ввелъ въ русскій синтаксисъ латино-нѣмецкую конструкцію:

„Мы знаемъ“, говорить онъ, „что многіе, или лучше общее мнѣніе, думаютъ, что синтаксисъ Ломоносова не русскій, что онъ сформированъ по латинскому и частію по нѣмецкому; но мы невольно спрашиваемъ: гдѣ-же критеріумъ этого сужденія? На чѣмъ опираясь, произносить оно свой приговоръ: гдѣ нашло оно синтаксисъ русскій, противъ которого погрѣшилъ Ломоносовъ? Намъ скажутъ: разговоръ, живая рѣчь, по между разговоромъ и письменностью лежитъ необходимая разница. Ихъ нельзя сравнивать между собою. Языкъ, являющійся въ разговорѣ, долженъ быть основаніемъ синтаксиса языка письменнаго, какъ мы сказали выше; но онъ не стоитъ съ нимъ рядомъ; это два, одинъ за другимъ слѣдующіе момента, и разговоръ, какъ сравненіе, не можетъ служить критеріумомъ. Что же встрѣтилъ Ломоносовъ и въ томъ отношеніи, въ которомъ разговоръ важенъ и имѣть значеніе для синтаксиса вышаго, то-есть, какъ основаніе его? Что вообще нашелъ Ломоносовъ, чтобы постигнуть, создать или, лучше, вывести русскій синтаксисъ? Что нашелъ онъ въ русскомъ национальномъ языке? Въ русскомъ языке нашелъ онъ, въ томъ национальномъ видѣ, въ которомъ онъ былъ, полное разнообразіе оборотовъ, *полную синтаксическую свободу*. Это было основаніемъ, собственностью русскаго синтаксиса“.

Оправданіе очень оригинальное. Если синтаксическая свобода была отличительнымъ качествомъ до-ломоносовскаго языка, то зачѣмъ же было накладывать на него оковы тяжеловѣсной латино-нѣмецкой конструкціи? Магистрантъ, впрочемъ, и самъ, видимо, понималъ малую убѣдительность своей защиты, и потому черезъ нѣсколько страницъ онъ выдвинулъ другой доводъ, крайне любопытный въ его устахъ. Согласно гегеліанской философіи, онъ старается доказать, что всякий языкъ сначала, „въ первомъ своемъ моментѣ“, когда онъ нуженъ только какъ средство разговора о предметахъ ежедневнаго быта того или другого народа, есть явленіе „случайное“, т. е. исключительно одной национальности принадлежащее. Но затѣмъ „языкъ всякаго народа отрывается отъ сферы случайной жизни, переходить въ сферу общаго и отъ сферы разговора восходить до сферы письменности“. „Син-

таксисъ и вообще слогъ этой высшей сферы и имѣть въ себѣ общее, собственно свойственное этой сферѣ и, следовательно, встречающееся естественно во всѣхъ языкахъ". Вотъ почему „общее латинской конструкціи вслѣдствіе закона, только-что показанного, доступно языку русскому". Ломоносовъ, следовательно, имѣть право вводить „латинизмы" въ созданный имъ первымъ русскій письменный языкъ:

„Языкъ русскій могъ согласно съ существомъ своимъ подняться въ высшую сферу языка, сферу общаго, открывшуюся тогда, когда общее пробуждается въ народѣ, и онъ возвысился до нея; следовательно, сфера эта и формы общія языка принадлежать ему потому уже самобытно; въ существѣ его лежитъ возможность этихъ формъ, этого синтаксиса: въ немъ уже,—и въ национальной его сферѣ, и такъ же въ отвлеченномъ развитіи мысли въ словѣ,—видимъ мы эти начала, и видимъ главное—свободу синтаксиса. Ломоносовъ былъ гениемъ языка, возведшимъ его въ эту высшую сферу; дѣло его было свободно, и формы, принятія языкомъ, принадлежали уже ему вполнѣ, вытекали изъ его духа". Не отрица затѣмъ того, что „фразы Ломоносова имѣютъ отпечатокъ латинской, собственно въ отѣнкѣ вѣнчанемъ; что Ломоносовъ обращалъ вниманіе на латинскій языкъ, его избралъ, иногда по крайней мѣрѣ, пріемъромъ своимъ", магистрантъ находить только, что „въ образѣ этого языка видѣть и находить онъ общее: онъ бралъ эти обороты, высшей его сферы и свойственные, следовательно, языку русскому. Онъ бралъ ихъ, какъ достояніе языка русскаго и потому еще, что языкъ русскій, какъ именно русскій, самобытно имѣть ихъ или подобные имъ въ себѣ и взятое поводимому изъ чуждаго не было чуждое; онъ занималъ съ полнымъ правомъ собственностіи, и оборотъ какъ бы вновь вырасталъ на русской почвѣ, шель изъ русскаго и съ помощью полной его свободы становился русскимъ".

Такимъ образомъ, вся защита Ломоносова отъ обвиненій въ насажденіи латинской конструкціи сводится не къ отрицанію самого факта, который слишкомъ очевиденъ, а къ соображенію ему путемъ чисто-философскихъ построений иного характера. Но могутъ ли философскіе доводы имѣть значеніе въ такой точной, основанной на строго-фактическихъ данныхъ наукѣ, какъ языкознаніе? То, что говорить магистрантъ объ общности синтаксиса всѣхъ языковъ, дошедшихъ въ своемъ историко-культурномъ развитіи до фазиса письменности, все это, если бы даже было вѣрно, требовало для доказательства своей справедливости рядъ сравнительныхъ со-поставленій синтаксиса различныхъ языковъ. Но магистрантъ и попытки не сдѣлалъ такого фактическаго подтвержденія

своего положенія. И воть почему его диссертациі, рѣшительно ничего нового не вносящая въ исторической своей части, а въ филологической дающая только произвольный философствованія ad majorem gloriam гегеліанства, въ общемъ, не представляла собою никакого вклада въ исторію русской литературы. Въ настоящее время она совершенно забыта.

Чтобы покончить съ диссертацией, отмѣтимъ въ ней еще кое-что, очень любопытное для изученія хода умственныхъ настроений Константина Сергеевича. Всякаго, кто имѣеть представление объ Аксаковѣ, какъ о главарѣ славянофильства, поразили, вѣроятно, цитаты изъ диссертациіи его о Ломоносовѣ, въ которыхъ такъ настойчиво говорится объ *общности* русской и западно-европейской духовной жизни. Настойчивость эта весьма мало вижется съ мыслями о полной *самобытности* русского духа, которыя составляютъ основной тезисъ большинства другихъ писаній Константина Сергеевича. Но еще меньше вижется съ общимъ складомъ міросозерцанія Константина Аксакова восторженное отношеніе къ Петру, которое составляетъ основную черту диссертациіи о Ломоносовѣ. Просто глазамъ своимъ не вѣришь, читая такую характеристику Петровской эпохи:

„Для Россіи настало время рѣшительного освобожденія отъ исключительной национальности, рѣшительного перехода въ другую, вышшую сферу, рѣшительного преобразованія. Началась страшная борьба. Съ одной стороны исключительная национальность, опиравшаяся на уже образовавшуюся положительную силу стрѣльцовъ, старовѣровъ, имѣвшая съ собою если не весь, то большинство народа. Она силилась удержать свои права сохранить жизнь по старинѣ, и, лишенная уже жизни внутри, она хотѣла удержать ея прежній образъ, сохранивъ разъѣдинѣніе призаракъ прежняго опредѣленія, навсегда утратившаго свою дѣйствительность; она упорно противилась новому свѣту и поддерживала ложную свою необходимость. Пробужденная рѣшительнымъ ударомъ, она совокупила всѣ свои силы, поднялась и начала ожесточенный бой за свою минимую современность.—Съ другой стороны, противъ народа, упорствовавшаго въ своемъ национальному опредѣленіи,—Петръ, опиравшійся на дѣйствительную потребность русского народа, сему послѣднему самому можетъ быть неизвѣстную. Онъ рѣшительно возсталъ на эту национальность, сокрушилъ прежнее, только мѣшавшее уже свободному развитію народа. Раскрывая передъ нимъ сферу жизни, онъ круто поворачивалъ въ противоположную сторону, принималъ опредѣленія другихъ народовъ, обильно наполнялъ чуждымы предѣлы Россіи, презирая страхъ национальности, только въ одномъ огражденіи находившей свое спасеніе;

напротивъ, онъ принималъ отъ Запада все, къ чему только дошелъ Западъ въ своемъ развитіи, и настѣжъ распахнулъ для него ворота Россіи, становясь съ нею, какъ была она дотолѣ и тогда, въ рѣзкую противоположность. Дѣйствительность дѣла его побѣдила. Въ страшной кровавой борьбѣ пала навсегда исключительная національность Россіи; наступила новая эпоха".

Болѣе восторженного панегирика не могъ-бы написать самый завзятый западникъ! Но именно оттого-то было-бы ошибочно строить на немъ какіе бы то ни было выводы объ общемъ строѣ міровоззрѣнія Константина Аксакова. Онъ просто указываетъ, что въ началѣ сороковыхъ годовъ, къ которому относится диссертација<sup>1)</sup>, славянофильская доктрина не дифференцировалась еще окончательно. А въ частности Константина Аксаковъ, хотя уже находился въ открытой враждѣ съ членами кружка Бѣлинского и Станкевича, но иѣкоторыя изъ прежнихъ своихъ симпатій еще удерживались въ полной силѣ.

## XII.

### **Филологические труды.**

Диссертация о Ломоносовѣ только на половину относится къ исторіи литературы. Другая-же и притомъ большая часть ея, именно обзоръ языка произведеній до-ломоносовскаго периода, имѣть характеръ чисто филологическій и составляеть, такимъ образомъ, одно изъ звеньевъ цѣлаго цикла филологическихъ работъ, которыми Константина Сергѣевича занимался въ теченіе всей своей жизни. Филология была любимою наукой Константина Аксакова, начиная съ 15 лѣтъ. Онъ ей отдавался съ тою страстью, безъ которой для этого удивительно-цѣльнаго человѣка не были мыслимы сколько-нибудь серьезныя занятія.

Но не только въ филологической *занятія* свои вносились Константина Сергѣевича страсть. Онъ вносила ее также въ *методъ* своихъ лингвистическихъ изслѣдований, которыя лишь постольку его интересовали, поскольку онъ подтверждала тезисы его общественнаго міросозерцанія. Но именно оттого-то эти изслѣдованія весьма мало напоминаютъ за-правскія филологическія сочиненія и, какъ все, что писать Константина Аксаковъ, представляютъ собою рядъ публицистическихъ статей на любимыя темы изслѣдователя. Могло ли оно и быть иначе, когда Константина Сергѣевича приступалъ къ своимъ филологическимъ работамъ съ такими понятіями о наукѣ вообще и о филологии въ частности:

„Всякая живая наука“, говорить онъ въ предисловіи къ „Опыту русской грамматики“, изданию имъ незадолго до смерти (1880), „то-

есть: наука, имѣющая дѣло съ жизнью, имѣть дѣло съ таинствомъ; такова и филология, предметъ которой—слово, этотъ сознательный снимокъ видимаго мѣра, эта воплощенная мысль. Преслѣдуя жизнь въ той или другой области ея проявленія, наука доходитъ до предѣловъ таинственного, до тѣхъ предѣловъ, откуда внутренне становитсѧ вѣшнимъ, духъ—осознательнымъ, безконечное—кочечнымъ. Наука думаетъ иногда выйти изъ затрудненія, принявъ анатомическое возарѣніе, сдѣлаться материальною, сказать, что нѣтъ духа и души, и недостойно ускользнуть такимъ возарѣніемъ, отрицательнымъ и глупымъ, при которомъ совсѣмъ непонятна и жизнь, и смыслъ ея, и то, что даже просто угадывается вѣщая душа наша. Но слава свѣту сознательной мысли! Разумъ самъ обличаетъ ложь всѣхъ материальныхъ теорій, на немъ повидимому основанныхъ, прогоняетъ ихъ тяжелую тьму, самъ низвергаетъ всякое богослуженіе себѣ, самъ знаетъ свои предѣлы и признаетъ непостижимое, открывашееся откровеніемъ духу человѣческому.

Наука есть сознаніе общаго въ явленіи, цѣлаго въ частности; зная свои предѣлы и доходя до нихъ, наука должна необходиимо допустить таинство жизни, не подлежащее уже ея ослзанію, таинство, которое можетъ она угадывать и опредѣлять приблизительно, но которымъ овладѣть она не въ силахъ, ибо это—„таинство жизни“. „Итакъ, мы допускаемъ въ науки (а слѣдовательно, и въ филологии), на границѣ ея, свой таинственный, такъ сказать, мистический элементъ, къ которому необходиимо примыкаетъ вся дѣятельность нашего разума, какъ мы ни стараемся объяснить это“.

Можно быть разнаго мнѣнія о психологической теоріи, легшей въ основаніе только-что приведенного взгляда. Но съ однимъ непремѣнно согласиться всякой беспристрастной читатель, именно съ тѣмъ, что такое возарѣніе на науку, какое было у К. Аксакова, даетъ самый широкій просторъ элементу, всего менѣе терпимому въ настоящей наукѣ—субъективности. Тамъ, где рѣчь идетъ о неподчиняющихся анализу чувствахъ и мистицизмѣ, какъ однѣ изъ главныхъ факторовъ, тамъ можетъ быть мѣсто чему угодно—вѣрѣ, дару проникновенія въ непостижимое и т. п. но никакъ не наукѣ, которая только постольку и наука, поскольку она объективна и такъ сказать нелицепріятно изслѣдуется и констатируется. И особенно неумѣство было припутывать мистицизмъ къ филологии, этой точнѣйшей изъ всѣхъ „словесныхъ“ наукъ, знающей только краснорѣчіе фактовъ и всегда основывающей свои законы на обильномъ количествѣ тщательно сдѣланныхъ наблюдений.

И оттого-то, повторяю, страстныя филологическія діатрибы Константина Аксакова весьма мало напоминаютъ заправскія

филологическая сочиненія, гдѣ о личности автора, о его вкусахъ, симпатіяхъ или антипатіяхъ, политическихъ или общественныхъ убѣжденіяхъ никогда и рѣчи не можетъ быть.

У Константина же Сергеевича все это, какъ на ладони.

Начать съ того, что даже въ самые мелочные, чисто специальные вопросы онъ вносилъ весь запасъ своего обычнаго-страстного отношенія. Какъ уже замѣтилъ Безсоновъ, Константина Аксакова "особенно любилъ звукъ *s*, играющей стола видную роль у насъ и столь много способствующей разысканію филологическому: въ ту же мѣру, онъ *возненавидѣлъ* противника—звукъ *s*, тою ненавистью, которую можетъ питать добрѣйшее сердце къ чему-либо гнусному. Онъ расточалъ этому врагу прозвища „надоѣднаго“, „назойливаго“, „вторгавшагося пролазы“, „услужливато“, „рабскаго“; онъ перенесъ сюда смыслъ приторной угодливости, чуждый собственному его лицу и проникшій къ намъ въ видѣ поддакиванья, какъ рабское „да-сѣ“, „нѣть-сѣ“; потому, какъ самъ говорить обыкновенно съ твердостью „да“ или „нѣть“, такъ навѣрно можно было считать признакомъ, что Аксаковъ недоволенъ или гнѣвенъ, когда онъ начиналъ употреблять „да-сѣ“, „нѣть-сѣ“.

Безсоновъ констатируетъ приведенные факты съ чувствомъ умиленія, видя въ нихъ доказательство того, что Константина Сергеевича держалъ свое знамя „грозно и честно“. Умиленіе вполнѣ законное. Трудно, лѣтѣтъ, представить себѣ болѣе трогательное проявленіе душевной цѣльности и чистоты, какъ эту личную ненависть и любовь къ какимъ-нибудь суффиксамъ. Но нужно ли много доказывать, что такое страстное отношеніе къ дѣлу неизбѣжно ведетъ и къ страстному желанію отыскать непремѣнно то, что изслѣдователю хочется отыскать. А при такомъ желаніи какіе же мыслимы истинно-научные, т. е. соответствующіе дѣятельности результаты? И вотъ почему павѣтственный чешскій ученый Гаталла имѣть возможность сказать про „грамматику“ Константина Аксакова:

„Покойный рѣдко гдѣ подкрѣпляетъ взгляды примѣрами, почерпнутыми изъ письменныхъ и устныхъ памятниковъ языка русскаго, напротивъ—обычно онъ ограничивается такими, которые самъ себѣ *она выдумывалъ* (navymysle)

Это пришлось сказать о Константинѣ Сергеевичѣ! Онъ, который не задумываясь отдалъ бы жизнь за истину, „понавыдумывать!“ И однако же оно такъ. Такого мнѣнія не одинъ Гаталла. И Буслаевъ, и Срезневскій, въ свое время писавшіе о филологическихъ работахъ К. Аксакова, всѣ они того мнѣнія, что труды его полны крайней односторонности и притягиванія за волосы фактъ къ предвзятымъ теоріямъ.

Къ какимъ же именно теоріямъ?

Главнымъ образомъ—о вредоносномъ вліяніи на русскую грамматику „иностранныхъ возврѣній“. Для того, чтобы имѣть такія иностранныя возврѣнія, вовсе не нужно быть, по Аксакову, дѣйствительнымъ иностранцемъ.

„Нѣть сомнѣнія“, говорить Константинъ Сергеевичъ въ началѣ своего изслѣдованія о русскихъ глаголахъ, „что иностранцамъ трудно постигнуть языкъ, имъ чуждый; особенно нѣмцамъ трудно постигнуть языкъ русскій; но една ли легче понять его и русскому, руководимому иностраннымъ возврѣніемъ вообще, хотя бы онъ и не былъ послѣдователемъ именно того или другого иностранца. Не въ томъ главное дѣло, иностранецъ ли по происхожденію сочинитель, но въ томъ, иностранецъ ли онъ по возврѣнію“.

Эти-то иностранныя возврѣнія принесли большой вредъ русскому языкознанію:

„Вмѣстъ съ нашествіемъ иноземного вліянія на всю Россію, на весь ея быть, на всѣ начала, и языкъ нашъ подвергся тому же; его подвели подъ формы и правила иностранной грамматики, ему совершенно чуждой, и, какъ всю жизнь Россія, вадумали и его коверкать и объяснять на чужой ладъ. И для языка должно настать время освободиться отъ этого стѣсняющаго ига иностранного. Мы должны теперь обратиться къ самому языку, изслѣдовать, сознать его и изъ его духа и жизни вывести начало и разумъ его, его грамматику. Она будетъ противорѣчить грамматикѣ общечеловѣческой, но только и *страго* общей, а совсѣмъ не общечеловѣческой—выразившейся извѣстнымъ образомъ у другихъ народовъ и только представляющей свое самобытное проявленіе этого общаго... Въ ней, въ русской грамматикѣ, можетъ быть, полице и глубже явится оно, нежели гдѣ-нибудь. Кто изъ васъ станетъ отвергать общее, человѣческое? Русскій на него самъ имѣть прямое право, а не черезъ посредство какого-нибудь народа; оно самобытно и самостоятельно принадлежитъ ему, какъ и другимъ, и кто знаетъ?—можетъ быть *ему*, *больше*, нежели другимъ, и можетъ быть міръ не видаль еще того общаго, человѣческаго, какое явить великая славянская, именно русская природа.. Да возникнетъ же вполнѣ вся русская самобытность и національность!

Гдѣ же національность шире русской? Да освободится же и языкъ нашъ отъ наложенного на него ига иноземной грамматики, да явится онъ во всей собственной жизни и свободѣ своей” (т. II, стр. 405, 406).

Непремѣнно слѣдуетъ внести въ русское языкоznаніе свои русскія воззрѣнія, которыя должны состоять въ томъ, чтобы мы отказались отъ стремленія непремѣнно отыскать у себя такія же грамматическія формы, какъ въ чужихъ языкахъ. Такъ, по вопросу о глаголахъ:

„Нѣкоторые теоретики, сливая всѣ глагольныя формы<sup>1)</sup>, съ присоединеніемъ даже иныхъ предложныхъ въ одно спряженіе, богатое временами, быть можетъ, думаютъ, что это служить къ чести русскаго языка, что-де не только въ языкахъ чуждыхъ, но и у насъ есть полное спряженіе, что нашъ языкъ въ этомъ имъ не уступаетъ, что у насъ у одного и того же глагола есть всѣ времена. Но здѣсь видны ошибочное чувство и ошибочная мысль. Развѣ только въ томъ состоять честь и слава, чтобы повторить у себя чужое, чтобы пройти по чужой дорогѣ не хуже другихъ? Развѣ нельзя идти по своей дорогѣ, развѣ нельзя, не имѣя чужого, имѣть вмѣсто него свое, совершенно особенное, отличное отъ всѣхъ? Развѣ это свое не можетъ быть еще лучше, еще достойнѣе, и развѣ тогда не больше славы? Но, какъ бы то ни было, мы должны руководиться, при нашихъ изслѣдованіяхъ, не тѣмъ, чтобы стараться отыскать у насъ всѣ чужія особенности, какъ бы, повидимому, онѣ ни были хороши—въ этомъ случаѣ мы впадемъ въ ошибку, чemu примѣръ всѣ наши грамматики,—а тѣмъ, чтобы отыскать и узнать свое, какое бы оно ни было, тогда мы придемъ къ истинному взгляду” (т. II, стр. 410, 411).

И тѣмъ болѣе все это необходимо, что русскія грамматическія формы, по мнѣнію Константина Сергеевича, гораздо совершеннѣе. „Я еисковъко не завидую другимъ языкамъ”, говорить онъ въ книжкѣ о глаголахъ, „и не стану натягивать ихъ поверхностныхъ формъ на русскій глаголь”.

Таково основное направлѣніе филологическихъ стремленій Константина Сергеевича. Въ примѣчаніи мы даемъ нѣсколько специальныхъ деталей практическаго осуществленія ихъ<sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> Т. е. виды глагола—*двигну, двигаю, двигиваль*.

<sup>2)</sup> Особенно выдѣляется стремленіе Константина Аксакова отстоять самостоятельность русскаго глагола, который „управляется съ категоріею времени совершенно самостоятельно и вовсе не похоже на глаголы другихъ языковъ”, именно вотъ какимъ образомъ:

„Глаголь въ русскомъ языкѣ выражаетъ самое дѣйствіе, его сущность. Отъ качества дѣйствія дѣлается уже заключеніе о времени. Поэтому и формами глагола обозначается самое дѣйствіе, время же въ

Здесь же скажемъ объ общемъ характерѣ этого осущест-  
вленія.

Не имѣть все это сколько-нибудь серьезной научной цѣн-  
ности и не принадлежитъ Константина Аксакова къ автори-  
тетнымъ дѣятелямъ русской филологии! Можно было бы при-  
вести въ подтвержденіе сказанаго отзыvъ такого первокла-  
снаго представителя русскаго языкоznанія, какъ Буслаевъ,  
который упрекалъ Константина Аксакова и въ сбивчивости,

---

немъ есть дѣло употребленія; это употребленіе основано на соотвѣтствії глагольныхъ формъ съ временами. Неопредѣленное дѣйствіе, съ точки зреія времени, естественно является неопределеніемъ продолжающимъ поэтому *двигать* образуетъ *время настояще*. Дѣйствіе, какъ мгновеніе, напротивъ, длится не можетъ, следовательно, не можетъ быть настоящимъ; понятое въ минуту своего проявленія, оно является мгновенно наступающимъ, и потому относительно времени принимается и употребляется, какъ будущее время, напримѣръ: *двигну*. Это понятно: если дѣйствіе, какъ мгновеніе не можетъ проявиться въ настоящемъ, то само собою разумѣется, оно можетъ проявиться только въ будущемъ или прошедшемъ; но прошедшее (о немъ надѣемся опять сказать ниже) уже не есть дѣйствіе, не есть глаголъ; стало быть, остается одно будущее. Такъ какъ въ русскомъ глаголѣ (что уже было замѣчено выше) главное дѣло—опредѣленіе самого дѣйствія, а время есть только выводъ, заключеніе, то поэтому дѣйствіе, и неопределенное, и мгновенное, выражается независимо отъ времени, придавая такую жизнь и силу русской рѣчи, и ставя въ недоумѣніе нашихъ филологовъ. Что касается до прошедшаго дѣйствія, то оно не есть дѣйствіе по понятію русскаго языка, и это очень вѣрно. Въ самомъ дѣлѣ, какъ скоро дѣйствіе прошло, гдѣ-же дѣйствіе? его пѣтъ; остается тотъ, кто совершилъ дѣйствіе, предметъ, изъ котораго проистекло оно и въ которомъ пребывало; въ такомъ случаѣ все значеніе дѣйствія переходить на предметъ, дѣйствительно или отвлечено представлenny, и становится уже *качество предмета* или *прилагательнымъ*. Поэтому прошедшее время на нашемъ языкѣ не имѣть соотвѣтственной глагольной формы, но форму отглагольного прилагательного или причастія. Всѣ степени или моменты дѣйствія имѣютъ какъ и слѣдуетъ, свое прошедшее, ибо всякое дѣйствіе можетъ перестать; поэтому всѣ формы глагола, выражающія эти степени, имѣютъ отъ себя форму прошедшаго,—отглагольное прилагаемое (*двигатель*, *двигнуль*, *двигиваль*). Дѣйствіе же, какъ рядъ моментовъ (*двигать*), необходимо является только въ прошедшемъ (*двигиваль*). Въ настоящемъ оно не можетъ быть представлено; ибо дѣйствіе *определенное*, дѣйствіе, какъ осуществленные моменты, не можетъ длиться, не можетъ быть въ настоящемъ, которое, какъ скоро оно, понятно, не отвлечено, а дѣйствительно,—не существуетъ, оно есть только невидимый рѣзецъ, дѣляющій дѣйствіе на прошедшее и будущее. Въ будущемъ дѣйствіе, какъ рядъ моментовъ,

и въ поверхности, и даже въ отсутствіи „надлежащаго запаса этимологическихъ и историческихъ (о языке) свѣдѣній“. Но Буслаевъ, вообще относился неодобрительно къ чрезмѣрному стремлению Константина Сергеевича отстаивать нашу национальную самостоятельность тамъ, гдѣ въ этомъ едва ли предстоитъ серьезная необходимость. Поэтому его неодобрение можетъ быть отнесено не на счетъ дѣйствительной научной малоцѣнности филологическихъ трудовъ Аксак-

---

также представлено быть не можетъ; ибо дѣйствіе грядущее или наступающее, выходящее изъ неопределенности, является при выраженіи всегда какъ одинъ моментъ; о невыразившемся слѣдующемъ моментѣ мы говорить еще не можемъ, ибо его еще нѣть; оно танится въ безразличной отвлеченной силѣ дѣйствія. Рядъ моментовъ можетъ образоваться тогда, когда является рядъ выраженныхъ, слѣдовательно, совершившихся, бывшихъ, прошлыхъ моментовъ. Поэтому дѣйствіе, какъ рядъ моментовъ, понимается и употребляется, относительно времени, только какъ прошедшее, и слѣдовательно, въ глаголѣ, не имѣя собственно глагольной формы, имѣть только форму прошедшаго, т. е. форму отглагольного прилагательного, напримѣръ, *двигивалъ*.

Итакъ, уже съ первого взгляда видно, что Русскій языкъ совершенно особенно и самостоятельно образовать глаголъ. Языкъ нашъ обратилъ внимание на внутреннюю сторону или качество дѣйствія, и отъ качества уже вывелъ, по соотвѣтству, заключеніе о времени.—Такой взглядъ несравненно глубже взгляда другихъ языковъ. Вопросъ качества, вопросъ: *какъ?* есть вопросъ внутренній и обличаетъ взглядъ на сущность самого дѣйствія; вопросъ времени, вопросъ: *когда?* есть вопросъ поверхностный и обличаетъ взглядъ на вышнее проявленіе дѣйствія.

Итакъ, время въ Русскомъ глаголѣ вовсе нѣть. Каждая форма глагола, выражая опредѣленіе самого существа дѣйствія, имѣетъ только отношеніе къ соответствующему, приличному ей, времени. Форма глагола неопределенная относится ко времени настоящему, форма мгновенная—къ будущему, форма многомгновенная—только къ прошедшему. Прошедшее, какъ прекратившееся дѣйствіе и потому уже не какъ глагольная форма, а отглагольное прилагательное, идетъ ко всѣмъ формамъ глагола; но при послѣдней оно исключительно.

Вотъ наша общая мысль о Русскомъ глаголѣ. Вопросъ о временахъ устраивается. Поэтому, съ одной стороны, мынѣе наше противоположно мнѣнію послѣдователей Ломоносова, принявшихъ столько временъ въ Русскомъ глаголѣ и оттого смѣшившихъ въ немъ опредѣленія самого дѣйствія. Съ другой—опровергается мнѣніе Фатера, Таше и ихъ послѣдователей, раздѣлившихъ спряженіе на отдѣльные глаголы и сохранившихъ категорію времени.—Нѣть, всѣ эти формы,—формы одного и того же глагола, но формы не времени, а качества дѣйствія; понятіе же времени, какъ сказано, есть выводное изъ качества дѣйствія.

кова, а на счетъ непріязни къ славянофильству. Вотъ по-  
чему я предпочитаю привести отзывы Срезневскаго. По по-  
воду книжки о глаголахъ онъ писать:

„Рассуждение г. Аксакова не филологическое, а философское; если  
оно пробуждаетъ мысль, то и достигаетъ своей цѣли; а едва ли можно  
сказать, что оно не пробуждаетъ мысли. Нельзя, впрочемъ, не пожалѣть,  
зачѣмъ оно не филологическое, зачѣмъ авторъ не далъ мѣста разбору  
употребленій глаголовъ въ древнемъ славянскомъ языке по иѣсколь-  
кимъ его нарѣчіямъ, и, между прочимъ, въ памятникахъ переводныхъ,  
особенно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ переводчики отступали отъ дословно-  
сти перевода“.

Пять лѣтъ спустя, когда вышелъ первый выпускъ „Рус-  
ской грамматики“, Среаневскій опять подчеркивалъ способ-  
ность Константина Сергеевича „вызвать въ читателѣ силу  
наблюдательности“, говорилъ о „самобытности“ авторскаго  
мышленія и его „независимости“ умственной, о „чутьѣ“  
языка, которымъ авторъ „часто замѣняетъ наблюдательность“,  
и вслѣдъ затѣмъ прибавлялъ: „Несмотря на это, едва ли  
нужно пожелать, чтобы и слѣдующіе выпуски этой книги  
были совершенно таковы, какъ первый. То ли пожелаютъ  
отъ нихъ всѣ, а я со своей стороны позволяю желать себѣ:“

— Чтобы во всѣхъ подобныхъ произведеніяхъ теорія  
языка была строго выводима исключительно изъ однихъ  
наблюденій и чтобы эти наблюденія были производимы не  
надъ какими-нибудь избранными явленіями, и насколько  
можно болѣе были разнообразны.

— Чтобы чутые свойства языка было строго сдерживаемо  
также въ предѣлахъ, допускаемыхъ наблюденіями, и укрѣпля-  
лось изслѣдовательностью: самъ въ себѣ человѣкъ легко  
можетъ смѣшать дѣйствительное чутье съ тѣмъ, что не  
чутье, а только случайное мнѣніе, выведенное изъ немно-  
гихъ данныхъ и опровергаемое другими.

— Чтобы наблюденія были не только производимы полно,  
но представляемы читателю для того, чтобы онъ могъ поло-  
жительнѣе изучить исходъ наблюденій“.

Нужно знать язвительность Срезневскаго, чтобы тотчасъ  
же понять, что за этими очень вѣжливо выраженнымъ  
desiderata въ дѣйствительности скрываются совсѣмъ не вѣж-

ливо задуманные три весьма серьезныхъ упрека. Прежде всего скептикъ и насмѣшникъ, Срезневскій, по разнымъ однако же, причинамъ примыкаль къ направленію, выставлявшему напоказъ свои „руссія“ чувства и потому онъ особенно рѣзко не могъ отнестись къ стремлению Константина Сергеевича создать вполнѣ самобытную и нежелающую знать иностранныхъ образцовъ грамматику. Но по существу его desiderata должны быть поняты въ томъ смыслѣ, что Константинъ Сергеевичъ для своихъ выводовъ: 1) пользовался только „избранными явленіями“, т. е. игнорировалъ тѣ, которыхъ ихъ не подтверждали; 2) не подкреплять ихъ „изслѣдовательностью“, т. е. не заботился о томъ, чтобы его грамматическая индукція были основаны на сколько-нибудь достаточномъ количествѣ фактовъ, и наконецъ, 3) часто вовсе не „представлять читателю наблюденія“, т. е. давать выводы совершенно бездоказательно.

Противъ послѣдняго упрека, крайне тяжелаго по отношенію къ научной работѣ, счѣть необходимымъ возражать издатель и большой почитатель филологическихъ трудовъ Константина Сергеевича—Безсоновъ. По его словамъ, эта „безпримѣрность“, т. е. отсутствіе подкрепляющихъ выводы грамматическихъ примѣровъ, объясняется тѣмъ, что филологическая работы Константина Сергеевича „и не выражались и не сопровождались непремѣнно выписками пера: работавшій—много, если дѣлать замѣтки на самихъ книгахъ,—краткія, летучія. Вся эта бездна прочтеннаго филологическими взоромъ и передуманнаго языкоznательнымъ умомъ—скрывалась внутрь, слагая запасъ громаднѣйшей памяти, какую лишь удавалось намъ встрѣтить въ комъ-либо: она пошла въ дупѣ на созиданіе того величаваго, но не венчественнаго, одухотвореннаго образа, какимъ представлялся русскій языкъ Аксакову. Матеріаль превращался въ живое существо, работа—въ творчество; творчество въ самомъ языкѣ, создавшее языкъ силами народа, и творческій образъ самого языка, изъ языка схваченный взоромъ личнымъ, умомъ художественнымъ, сливались воедино. Мало было бы, сказать, что Аксаковъ „носилъ“ въ себѣ этотъ образъ, и существующій въ природѣ, и оттуда добытый, или что онъ „носился“ съ этимъ образомъ, какъ съ роднымъ и все-таки „внѣшнимъ“

какъ принятъмъ внутрь, и все-таки со стороны: Аксаковъ этимъ жить, вопросъ русскаго языка бытъ для него вопросъ жизни собственной; жизнь личная, казалось, иногда, располагалась по вопросамъ языка и имъ всего чаще отвѣчала. Странно было бы (поэтому) встрѣтить, что Аксаковъ „записываетъ“, трудно было уловить моменты его справокъ по книгѣ.

Такимъ образомъ, самаго факта, отмѣченаго Срезневскимъ и другими критиками, Безсоновъ и не отрицаешь. Онь только даетъ ему другое объясненіе; объясненіе, въ седьмой разъ доказывающее удивительную симпатичность Константина Сергеевича, какъ человѣка, но совсѣмъ не измѣняющее существа дѣла. Въ наукѣ нѣть личнаго довѣрія, вѣрять только въ факты, доступные проверкѣ каждого, а не „чутью“.

Въ заключеніе обзора филологическихъ трудовъ Константина Аксакова приведемъ оцѣнку ихъ, сдѣланную Иваномъ Сергеевичемъ Аксаковымъ. Приводимъ ее не потому, что она заключала въ себѣ что-нибудь новое и что-нибудь такое, чтобы не было высказано выше, а именно потому, чтобы она, правда, съ другой точки зрѣнія и иначе освѣщающая, по существу подтверждаетъ всѣ тѣ упреки, которые сдѣланы выше. Уже если такой восторженный поклонникъ ученолитературной дѣятельности Константина Сергеевича, какъ Иванъ Сергеевичъ, не могъ обойти того факта, что филологические труды Константина Аксакова, главнымъ образомъ, замѣчательны поэтическою и художественною стороною своею, значитъ дѣйствительно, въ пользу научнаго значенія ихъ немногого можно привести доводовъ.

Итакъ, вотъ эта характеристика, въ которой такъ не-трудно отдѣлить факты отъ стараний любящаго брата смягчить ихъ:

„Константинъ Сергеевичъ не быть и, по самой природѣ своей, не могъ быть ученымъ въ смыслѣ нѣмецкаго гелертера; процессъ его ученой работы быть не просто аналитической, но, такъ сказать, и художественный вмѣстѣ, мгновенно объемлющей синтезъ изслѣдуемаго явленія, его „душу живу“ и органическую цѣльность. Его мысль почти всегда пред-

варяла длинный путь логическихъ выводовъ и формального знанія, и нерѣдко, къ удивленію ученыхъ, находила себѣ подтвержденіе или въ цѣлой массѣ научныхъ данныхъ, еще вовсе неизвѣстныхъ Константина Сергѣевичу, или въ послѣдующихъ открытияхъ науки. Было бы ошибочно, впрочемъ, заключать изъ нашихъ словъ, что мы ставимъ ему въ особенную заслугу такой способъ научныхъ изслѣдований и даже отдаляемъ этому способу предпочтеніе предъ всѣми другими. Мы просто указываемъ на художественную стихію, присущую всей дѣятельности К. С., какъ на психическую его особенность, и съ своей стороны свидѣтельствуемъ, что въ его душѣ не было ни тѣни пренебреженія къ строгому методу нѣмецкихъ ученыхъ. Мы полагаемъ, однако же, что эта его особенность, въ свою очередь, не должна бы возбуждать (какъ это до сихъ порь не разъ бывало) пренебреженія со стороны тружениковъ ученаго цеха, и что поэтическое чувство есть также одно изъ познавательныхъ орудій человѣческаго духа, наравицъ съ логическимъ разумомъ. Константина Сергѣевичу, безъ сомнѣнія, недоставало той обширной эрудиціи, которая лежитъ въ основаніи ученыхъ трудовъ германскихъ филологовъ, и того близкаго знакомства съ литературою предмета, которое обнаруживаются многіе изъ русскихъ ученыхъ, особенно въ области сравнительной филологии. Но этотъ недостатокъ, имъ вполнѣ сознаваемый, едва ли не съ избыткомъ восполнялся его филологическимъ чутьемъ, его способностью проникать въ самыя духовныя иѣдра слова и угадывать сокровенную мысль грамматическихъ видоизмѣненій" (Предисловіе къ II т. соч. К. А.).

Увы, представители „ученаго цеха“ этого-то чутья совсѣмъ не усматривали въ филологическихъ фантазіяхъ Константина Аксакова. Вотъ что въ 1857 г. писалъ мягкий и добродушный Буслаевъ своему пріятелю Билиарскому по поводу намѣренія Константина Сергѣевича попасть въ профессора московскаго университета<sup>1)</sup>: „знаете ли, что К. Аксаковъ, авторъ глагола, предлагалъ себя на мѣсто Шевырева?

<sup>1)</sup> Этотъ фактъ, только и извѣстный изъ недавно опубликованного коротень资料а письма Буслаева, до сихъ порь не входилъ въ биографію К. Аксакова.

и я долженъ былъ взять на себя печальную обязанность предъявить въ факультетъ, что вмѣстѣ съ представлениемъ объ Аксаковѣ пойдетъ и его постыдная брошиюра. Впрочемъ, къ чести факультета надо сказать, что за Аксакова не было ни одного *прямого* (курсивъ Буслеева) голоса; только человѣка два, подъ вліяніемъ Крылова и Лешкова, ему мирволовили". (В. М. Истринъ. Письма къ академику П. С. Билярскому, Одесса, 1906 г., стр. 6).

### XIII.

#### Исторические труды. Разрушение теории родового быта. Теория общинно-въчевого уклада.

Перейдемъ теперь къ значительнейшей части духовнаго наслѣдія Константина Сергеевича—его историческими труда мъ, которые почти всѣ относятся къ первой половинѣ пятидесятихъ годовъ.

Но прежде всего, да не выведеть читатель ложнаго заключенія изъ слова „трудамъ“. „Константина Аксакова“, скажу я словами Костомарова, „не оставилъ послѣ себя ни историческихъ повѣствованій, ни даже трудолюбивой обработки источниковъ, онъ по русской истории писалъ мало“. Если мы, въ самомъ дѣлѣ, присмотримся къ I тому собранія сочиненій Констант. Аксакова, посвященному „Сочиненіямъ историческимъ“, то что мы тутъ находимъ? На пространствѣ 600 страницъ—27 статей. Нѣкоторыя изъ нихъ представляютъ собою простые черновые наброски, другіе занимаютъ 6—7 страницъ, а самая значительная какъ по содержанію, такъ и по объему историческая статья Констант. Сергеевича—„О древнемъ бытѣ славянъ вообще и русскихъ въ особенности“ содержитъ въ себѣ всего 65 страницъ. Такимъ образомъ, того, что обыкновенно составляеть главное достоинство заправскихъ историческихъ „трудовъ“ — обстоятельности, читатель не найдетъ въ „Сочиненіяхъ историческихъ“ Констант. Аксакова.

Но не одною обстоятельностью, однако же, обусловливается значение историческихъ работъ. Помимо трудовъ по-

вѣствующихъ, требующихъ детальности и объемистости, есть еще цѣлый разрядъ трудовъ обобщающихъ и критическихъ, значение которыхъ обусловливается широтою проведенныхъ въ нихъ взглядовъ. Къ этому-то разряду трудовъ по философии исторіи и принадлежать историческая и историко-критическая статьи Константина Сергеевича. „Въ немногихъ статьяхъ его“, говорить Костомаровъ, „сохранились животворные мысли, свѣтлые взгляды, которые не напрасно высказаны для науки, и будуть служить путеводными нитями для дальнѣйшихъ изслѣдованій надъ важнѣйшими сторонами нашего прошедшаго“. Слова знаменитаго историка очень субъективны: „свѣтлы“ ли взгляды К. Аксакова или, напротивъ того, вносятъ мракъ, „животворны“ ли они или, напротивъ того, мертвяци, — обѣ эти могутъ быть разныя мнѣнія, хотя несомнѣнно, что въ устахъ Костомарова, отнюдь не принадлежащаго къ славянофильской школѣ, похвала одному изъ главарей славянофильства могла бы служить ручательствомъ ея полнаго беспристрастія. Но, конечно, мы будемъ еще ближе къ истинѣ, если, устранивъ всякую субъективность, скажемъ просто, что исторические взгляды Константина Аксакова очень значительны. Они открываютъ новые горизонты, безспорно обширные.

Мнѣ представляется, что воззрѣнія К. Аксакова на русскую исторію могутъ быть сведены къ четыремъ основнымъ мыслямъ: 1) укладъ первоначальной русской жизни былъ не родовой, а общинно-вѣчевой; 2) русскій народъ рѣзко отдѣлять понятіе „земли“ отъ понятія о государствѣ; 3) древнерусская, до-петровская исторія представляетъ собою картину высоконравственныхъ общественныхъ отношеній. И, наконецъ, какъ общій выводъ изъ предыдущаго, является у Константина Аксакова 4) мысль о томъ, что русскій народъ есть носитель специально ему присущихъ высокихъ доблестей, которыхъ отводятъ ему особое, высокое положеніе во всемирной исторіи. Послѣднюю мысль я бы называлъ мыслью о богоизбранности русского народа.

Теорію общинного быта Константина Аксаковъ высказалъ сначала въ небольшой газетной статьѣ въ „Родовое или общественное явленіе было Изгой“, помещенной въ „Моск. Вѣд.“ 1850 г. (№ 97), а затѣмъ болѣе обстоятельно въ статьѣ „О

древнемъ бытъ у славянъ вообще и у русскихъ въ особенности", напечатанной въ I т. „Моск. Сборника" 1852 года.

Статья начинается съ констатированія того, что нѣмецко-русскіе ученые—Байеръ, Миллеръ, Шлецеръ, „не принадлежа къ русскому народу, не имѣя съ нимъ жизненной связи, принялись толковать его жизнь" и „объяснять русскимъ ихъ исторію". Подъ ихъ вліяніемъ и настоящіе русскіе ученые „смотрѣли также не по-русски на свою исторію" и „изображали русскую исторію такъ, что въ ней русскаго собственно ничего не было видно". „Но дальнѣйшее знакомство съ лѣтописями и грамотами, но быть простого народа, сохранившійся въ своей тысячелѣтней оригинальности, подействовали, наконецъ, на взгляды нашихъ ученыхъ, и желаніе понять русскую исторію настоящимъ образомъ, желаніе самобытнаго возвращенія—пробудились. Политическій взглядъ, гдѣ обыкновенно рисуются князья, войны, дипломатические переговоры и законы, взглядъ Шлецера и (его послѣдователя) Карамзина, бытъ, наконецъ, оставленъ, и въ наше время вниманіе обратилось на быть народный, на общественные, внутреннія причины его жизни". Къ числу представителей такого „желанія самостоятельнаго пониманія" и „возвращенія бытowego" Аксаковъ причисляеть, между прочимъ, Соловьевъ. Но тотъ же Соловьевъ, однако, а вмѣстѣ съ нимъ еще нѣсколько молодыхъ ученыхъ—Кавелинъ, Калачовъ, Афанасьевъ, освободившись отъ взглядовъ одного нѣмца—Шлецера, выдвинули другую нѣмецкую, совсѣмъ не соответствующую русской исторической дѣйствительности, теорію—о родовомъ бытъ у древнихъ славянъ вообще и у русскихъ въ частности, теорію, возвѣщенню извѣстнымъ Эверсомъ.

По мнѣнію Аксакова, теорія о существованіи родового быта у древнихъ славянъ зиждется на томъ, что приверженцы ея „не опредѣлили настоящимъ образомъ, что такое родовой бытъ", и путаютъ два такихъ совершенно различныхъ попытія, какъ быть родовой и быть семейный. Такъ, Соловьевъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ своей исторіи позволяетъ себѣ говорить „семья или родъ", а въ другихъ утверждаетъ, что предки наши не знали семьи; затѣмъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ онъ говоритъ о родоначальникѣ, какъ о правителѣ рода, не знающемъ надъ собою высшей власти, въ чёмъ и

выражается родовое начало, а въ другихъ мѣстахъ оказывается, по Соловьеву же, что „каждый младшій, будучи недоволенъ рѣшеніемъ старшаго, имѣть возможность возстать противъ этого рѣшенія“. Такую же сбивчивость представлений о родовомъ бытѣ Аксаковъ подчеркиваетъ и у Кавелина, который, кромѣ того, возмущаетъ его тѣмъ, что доводить родовой бытъ въ Россіи до Петра Великаго, между тѣмъ какъ даже Соловьевъ говорить, что родовой бытъ начинаетъ исчезать у насть при Ярославѣ.

Остановившись еще на мнѣніяхъ Калачова и Афанасьевы, изъ которыхъ послѣдній особенно смѣшиваетъ семью и родь, Аксаковъ даетъ, затѣмъ, свое собственное опредѣленіе родового быта. Если при изложеніи взглядовъ Кавелина, онъ всего менѣе пріязненно относился къ стараніямъ послѣдняго подвести родовой бытъ у нашихъ предковъ подъ общий законъ развитія общественной жизни, свойственный всѣмъ народамъ, то теперь онъ, все-таки, „не думаетъ отвергать“, что „первоначальный бытъ—есть безспорно родовой“. Но въ чёмъ отличительныя черты этого быта? Сдѣлавши краткій очеркъ хода его нарожденія, Константина Сергеевича говорить: „Что же мы въ немъ видимъ? Мы видимъ, во-первыхъ, что семья въ немъ исчезаетъ, ибо поглощена единствомъ рода и единствомъ родоначальника; во-вторыхъ, что отношения родовыхъ не остаются въ своей чистотѣ, а немедленно получаютъ значеніе гражданское, не переставая быть родовыми. Состояніе напряженное и ложное, стѣсняющее съ одной стороны семью, а съ другой гражданственность. Гражданственность смущаетъ родовые отношения; родовые отношения мѣшаютъ гражданственности и семьи. Такимъ образомъ, семья и родь, семейное и родовое начало не одно и то же, но взаимно исключаютъ или ослабляютъ другъ друга. Гдѣ сильно начало родовое, тамъ нѣть начала семейного или оно слабо. Гдѣ сильно начало семейное, тамъ нѣть родового или же оно находится на слабой ступени. Патріархальное и семейное начало образуютъ двѣ противоположности, хотя, повидимому, истекаютъ изъ одного источника, близки другъ къ другу“.

Но если родовой бытъ, въ только что очерченномъ видѣ, и „быть первою общественную ступенью, черезъ которую прошли, безспорно, всѣ народы“, то, все-таки, „одни только

прошли черезъ него, не останавливаясь, другіе остановились болѣе или менѣе, утвердили за собою этотъ бытъ, формулировали, опредѣлили его явственно, съ болѣшими или менѣшими подробностями, особенностями и отѣнками". Славяне къ числу послѣднихъ народовъ, по мнѣнію К. Аксакова, не принадлежать. Такъ, если мы обратимся къ сказаніямъ древневизантійскихъ историковъ, то что мы находимъ? Прокопій говоритъ, что славяне не повинуются одному мужу, но изначала живутъ при народномъ правлениі *εν δημократіа*. Это свидѣтельство говорить ясно противъ родового быта, ибо демократическое устройство такому быту противорѣчить". Тотъ же Прокопій сообщаетъ, "что у славянъ было обычай совѣщаться вмѣстѣ о своихъ дѣлахъ. Опять свидѣтельство, указывающее ярко на народное или общинное устройство". Маврикій говоритъ, что славяне не знаютъ правительства. Приблизительно то же самое отмѣчаютъ позднѣйшіе хронисты. Такъ, Адамъ Бременскій говоритъ о славянахъ, что они не терпятъ между собою господина или повелителя. Дитмаръ Мерзебургскій, "повѣствуя о вѣчахъ Лутичей и, почти въ тѣхъ же выраженіяхъ, какъ Прокопій, говоря, что они не повинуются одному, а всѣ совѣщаются о дѣлахъ своихъ,— прибавляетъ, что дѣла рѣшались единогласіемъ, которое было необходимо".

Отъ иноземныхъ свидѣтельствъ Константинъ Аксаковъ переходитъ къ разбору двухъ славянскихъ памятниковъ, на нѣкоторыхъ мѣстахъ которыхъ Соловьевъ съ особенною настойчивостью хотѣлъ основать свою теорію родового быта. Памятники эти—1) „Судь Любушки" и 2) Лѣтопись Нестора.

Содержаніе „Суда Любушки"<sup>1)</sup>, какъ извѣстно, состоить въ томъ, что братья Кленовичи спорили объ отцовскомъ наслѣдствѣ и явились за разрѣшеніемъ спора къ княжнѣ Любушѣ. Любуша собираетъ снемъ (сѣм'и) изъ Кметовъ, Леховъ и Владыкъ, предлагаетъ дѣло на ихъ разсмотрѣніе,

<sup>1)</sup> Въ настоящее время можетъ считаться совершенно установленнымъ, что „Судь Любушки" не подлинный памятникъ, а поддѣлка Ганки. Но въ данномъ случаѣ это не имѣть значенія, потому что никакимъ памятникомъ старины Аксаковъ пользуется не для того, чтобы что-нибудь основать на немъ, а только для того, чтобы показать, что его неправильно комментируютъ Соловьевъ.

причём от себя говорить, что по закону въкожизненныхъ боговъ, братья—или должны владѣть вмѣстѣ, или раздѣлиться поровну. Снемъ рѣшаетъ, чтобы оба брата владѣли вмѣстѣ. Старшій братъ недоволенъ этимъ рѣшеніемъ. Онъ съ яростью говорить, что наследство надо дать первенцу, и поносить Любушу за то, что она другого мнѣнія. Тогда въ защиту ея поднимается Ратиборъ, который, усматривая съ словахъ старшаго Кленовича вліяніе нѣмецкихъ обычаевъ, говоритъ: „Не хвально намъ въ нѣмцахъ искать правды, унасть правда по закону святому, которую принесли отцы наши“ и затѣмъ рисуетъ такую картину древне-чешской жизни: „Всякой отецъ воеводить свою челядь (домочадцевъ). Мужи пашутъ, женщины шьютъ одежду, и какъ скоро умираетъ глава челяди, то дѣти всѣ владѣютъ вмѣстѣ наследствомъ, выбирая себѣ владыку изъ рода, который, для пользы, ходить въ славные снемы, ходить съ Кметами, Лехами, Владыками“.

Во всемъ этомъ Соловьевъ видѣтъ родовое устройство, съ его общимъ владѣніемъ и рѣшающей властью родоначальника. Но Аксаковъ видѣтъ тутъ, напротивъ того, полное опроверженіе теоріи родового быта:

„Любуша“, говорить онъ, „предлагаетъ или общее владѣніе, или ровный раздѣлъ. Снемъ рѣшаетъ общее владѣніе. Положимъ, что предметъ суда есть вопросъ родовой, вопросъ именно *родового* владѣнія, наследства. Этотъ вопросъ о наследствѣ рѣшается на основаніи родового устройства (думаетъ г. Соловьевъ) именно словами Ратибora, въ которыхъ изображается родовой бытъ. Допустимъ это. Кѣмъ же представляется родъ? *Двумя братьями*. Весь споръ между ними и для нихъ, для рѣшенія братскаго спора приводится весь порядокъ, вся правда, привнесенная предками. Что должны мы заключить? Или то, что родъ не имѣть другихъ представителей, быть весь, кроме двухъ, уничтоженъ (а то бы весь родичи должны были участвовать въ спорѣ, ибо весь имѣли общее право на общее владѣніе, по мнѣнію послѣдователей Эверса); но такую случайность предположить трудно и объ ней было бы упомянуть, тѣмъ болѣе, что оба брата—древняго происхожденія. Или же, что гораздо проще, судебный вопросъ этотъ быть не родовой, а чисто *семейный*. Да и прямо говорится, что споръ идетъ объ отцовской дѣдинѣ. Тогда дѣло перемѣняется и родовое устройство исчезаетъ: ибо какъ скоро выступаетъ семья, какъ скоро рѣчи идетъ только между братьями и ни о какихъ родичахъ нѣть и рѣчи, то гдѣ же общее владѣніе рода, гдѣ же родовой бытъ, который допускаетъ участіе всѣхъ родичей, особенно, когда родъ оставался безъ главы!—Итакъ, на сценѣ только *семья*, выдѣлившаяся, слѣдовательно, изъ рода, а рода нѣтъ“

Затѣмъ: „Вспомнимъ, что Любуша, по закону вѣковицненныхъ боговъ, говорить братьямъ: или владѣйте вмѣстѣ или раздѣлите поровну. Итакъ, и то и другое—по закону боговъ“, и рушится, значитъ, другой отличительный признакъ родового быта—общность владѣнія.

Наконецъ, что касается мѣста рѣчи Ратибora, гдѣ говорится о выборахъ и роли владыки, то здѣсь Аксаковъ не усматриваетъ ничего такого, что бы давало основаніе видѣть во владыкахъ родоначальниковъ. Если „въ пѣснѣ“ говорится, что дѣти выбираютъ себѣ владыку, (а не отца, не родоначальника), который ходить въ схемы съ Кметами и Лехами, то это значило, что каждая семья посыпала на сходку своего представителя. Кто знаетъ устройство нашихъ сходокъ, тотъ увидитъ, что этотъ обычай и до сихъ поръ у насъ сохранился въ народѣ; на сходку ходить или старшій въ домѣ, или же избранный въ домѣ отъ семьи. Кого послать—это быть и есть домашній распорядокъ внутри дома, но за порогъ дома семья у насъ не переходила. Итакъ, владыки были то же, что и теперь—избранные или неизбранные представители семей на сходкѣ. Кметы и Лехи, составлявшіе, какъ видно, званія (можетъ быть, мужи книжіе), уже не по званію своему тамъ засѣдали, какъ у насъ потомъ на земскихъ соборахъ бояре и выборные люди“.

Покончивъ съ „Судомъ Любушки“, составляющимъ одинъ изъ краеугольныхъ камней теоріи Соловьева, Константинъ Сергеевичъ останавливается нѣсколько на извѣстномъ изслѣдованіи Губе о наследственномъ правѣ у славянъ. Изъ него онъ извлекаетъ рядъ одиночныхъ доказательствъ того, что у древнихъ славянъ отнюдь не было родового быта, а дѣствовала воля семьи, и затѣмъ переходитъ къ другому краеугольному камню поборниковъ родового быта—лѣтописи Нестора. У Нестора имѣется слѣдующее мѣсто, съ первого раза, дѣствительно, заставляющее думать, что у предковъ нашихъ господствовалъ родовой бытъ:

„Поляномъ же, живущемъ особѣ и володѣющимъ ролы своимъ, и живяихъ каждо съ своимъ родомъ и на своихъ мѣстахъ, владѣюще каждо родомъ своимъ“.

Но въ какомъ, однако же, смыслѣ употреблено здѣсь „родъ“?

Несторъ, говоря о Полянахъ, вслѣдъ за вышеприведенными словами, разсказываетъ о трехъ братьяхъ: Кій, Щекъ и Хоривъ; это даетъ намъ возможность прослѣдить и пропроверить слова Нестора о Полянахъ. Кій, Щекъ и Хоривъ—три брата: одинъ ли это родъ? Конечно, если сколько-нибудь есть родовое устройство. Что же мы видимъ? Что всѣ трое жили особо, на своихъ мѣстахъ. Кій живеть на горѣ, гдѣ увозь Боричевъ, Щекъ—на другой горѣ, Щековицѣ, а Хоривъ—на третьей, Хоревицѣ. Итакъ, каждый братъ составлять особый родъ, но возможно ли это при родовомъ устройствѣ? Три брата не могли быть тремя родоначальниками и разделить родъ на трое, ибо родовое устройство такого дѣлежа не допускаетъ. Если же у каждого изъ нихъ могъ быть свой родъ, ибо они жили особо другъ отъ друга, то это можно объяснить не иначе, какъ тѣмъ, что родъ быть *семьё*<sup>а</sup>. Въ послѣднемъ уображеніи Аксакова поддерживается еще и то, что лѣтопись Нестора южно-русская, и въ ней много встрѣчается, и до сихъ поръ сохранившихся въ Малороссіи, южно-русскихъ выражений,—а въ Малороссіи и теперь родъ имѣть значеніе семьи. Малороссъ, говоря про свою семью, скажетъ: *се мій родъ*. Итакъ, нѣть сомнія, что родъ въ вышеприведенномъ мѣстѣ лѣтописи имѣть значеніе *семьи*; онъ упоминается только у Полянъ, у которыхъ однихъ быть *бракъ* и, следовательно, *семьё*<sup>а</sup>. Да и по-русски развѣ мы не говоримъ: „двоюродный братъ“? А что значитъ: *двоюродный*? Здѣсь мы легко открываемъ двойственное число: *двою роду*, то-есть: *двухъ родовъ*; итакъ, двоюродный братъ значить братъ *двухъ семей*<sup>а</sup>.

Разсмотрѣвъ, такимъ образомъ, доказательства, выставленныя приверженцами теоріи родового быта, Аксаковъ начинаетъ уже отъ себя приводить рядъ свидѣтельствъ древнихъ памятниковъ, по его мнѣнію, рѣшительно не оставляющихъ мѣста для предположеній о существованіи родового быта въ древней Руси. Такъ, по Русской Правѣ, „мстить долженъ или братъ, или отецъ, или племянникъ съ братиной или сестриной стороны; вотъ всѣ родовые мстители“. Вижется ли такое ограниченіе со сколько-нибудь развитымъ родовымъ бытомъ?

Но еще важнѣе другое свидѣтельство Русской Правды

изъ области гражданскихъ отношеній, именно то, что имъніе человѣка, не оставившаго послѣ себя дѣтей, считается выморочнымъ и переходить къ князю. Тутъ уже, значитъ, о родовомъ бытѣ съ его общимъ владѣніемъ и рѣчи не можетъ быть.

Всѣ эти „опроверженія родовому быту“ и приводятъ Аксакова къ мысли о бытѣ *семейномъ* и вмѣстѣ *общинно-вѣчевомъ*. Не довольствуясь уже извѣстными намъ свидѣтельствами Прокопія, Маврикія, Дитмара Мерзебургскаго, Адама Бременскаго и „Суда Любушки“, К. Аксаковъ приводить длинный рядъ почерпнутыхъ изъ лѣтописи фактовъ древнерусской жизни, фактовъ, говорящихъ какъ о развитіи государственной жизни, такъ и о широкомъ народовластиіи.

Кѣмъ призываются Варяги? Всѣмъ народомъ. Ни о старѣшинахъ, ни о старцахъ въ относящемся сюда лѣтописномъ сказаніи ни слова нѣть. Призваніе князей было полнымъ проявленіемъ „народной воли. Это заставляетъ предполагать бытъ народный, общинный. Самое призваніе князя, особенно же племенами, даже чужеродными (славяне, чуль), устраиваетъ всякую мысль о родовомъ бытѣ. Это поступокъ гражданскій, государственный и сознательный“. „Въ договорѣ съ греками Олега, еще видѣе Игоря, высказывается вполнѣ общинное устройство, которое вдругъ завести нельзя. Въ этихъ договорахъ посольство правится отъ великаго князя князей, боярь, купцовъ и отъ всей земли. Быть вполнѣ общественный. Это то же явленіе, какое мы видимъ и впослѣдствіи и которое приняло образъ Земской Думы, Земскаго Собора. Въ договорахъ этихъ выступаетъ значеніе всей земли, всего народа“.

Еще характернѣе события, связанныя со смертью Игоря. *Древляне*, сдумавши съ княземъ своимъ Маломъ, (а не князь Маль Самъ по себѣ) и не видя конца насилия Игоря, убиваютъ послѣдняго. Послѣ этого *Древляне* (т. е. народъ) говорять: возьмемъ Ольгу за нашего князя Мала. *Древляне* же посылаютъ лучшихъ мужей къ Ольгѣ. Мужи эти, пршедши къ Ольгѣ, говорятъ: послана ны *Деревляска земля*.

Когда Святославъ „жилъ въ Переяславлѣ, и Киевъ едва былъ спасенъ воеводою Претичемъ отъ печенѣговъ, кievляне посылаютъ сказать ему, что онъ бросилъ свою землю и ищетъ

чужой, напоминаютъ ему о матери его и дѣтяхъ, о семейныхъ его обязанностяхъ. Нечего и говорить, что тутъ между княземъ и народомъ не было никакихъ родовыхъ или патріархальныхъ отношеній".

Чѣмъ дальше отодвигается Аксаковъ отъ первыхъ князей Рюрикова дома, тѣмъ легче, понятно, ему становится находить доказательства существованія государственного быта въ древней Руси. И если бы его задача состояла въ томъ, чтобы доказать невѣрность теоріи родового быта, онъ бы могъ ограничиться вышеприведенными фактами, такъ какъ несостоятельность мнѣнія Кавелина, что родовой бытъ сохранился до Петра I, слишкомъ уже очевидна, а Соловьевъ и самъ признаетъ, что при Ярославѣ родовой бытъ исчезаетъ въ Россіи.

Но Константину Аксакову хочется, кромѣ того, доказать, что укладъ государственной жизни древней Россіи былъ общинно-вѣчевой. Вотъ почему онъ и приводитъ длинный рядъ выписокъ изъ лѣтописей, доказывающихъ первенствующее значение народной воли въ древне-русской жизни и зависимость князя отъ вѣча. Такъ, кievляне, собравшись въ 1067 г. на вѣче и встрѣтившись въ Изяславѣ I сопротивленіе своему намѣренію сразиться съ Половцами, освободили заключеннаго Всеслава и поставили его княземъ, а Изяславъ долженъ быть удалиться. Въ 1096 году Святополкъ и Владимиръ, предлагая Олегу идти противъ Половцевъ, дѣлаютъ это въ такой формѣ: „Пойди Кыеву, да порядокъ положимъ о русѣй земли предъ епископы, и предъ игумены, и предъ мужи отецъ нашихъ, и предъ людми градскими, да быхомъ хоронили русскую землю отъ поганыхъ“. Ослыпленіе Василька совершилось лишь послѣ того, какъ Святополкъ, имѣвшій уже Василька въ своихъ рукахъ, собралъ кievлянъ на вѣче и увѣрилъ ихъ, что Василько питаетъ разные предательскіе замыслы. Въ томъ же году, когда Володарь и Василько осадили Давида во Владимирѣ (Волынскомъ), они вели переговоры не съ Давидомъ, а съ Владимірцами, которые „созвана вѣче“ и заставили князя покориться своему рѣшенію. Въ 1146 году, послѣ брата своего Всеволода Ольговича, Игорь сталъ княземъ Кіевскимъ. „И неугоденъ быть Кіяномъ Игорь“, и послали они къ Изяславу и сказали послѣднему: „Пойди

княже, къ намъ, хощемъ тебѣ. Не хотимъ Ольговичей, не хотимъ доставаться какъ бы по наследству<sup>1)</sup>. Сѣвши на Киевскій столъ, Изяславъ задумалъ идти походомъ противъ Юрия, сына Владимира Мономаха. Но киевляне, созванные Изяславомъ для совѣта, прямо ему отвѣтили: „Князь! Ты на насть не гнѣтайся, мы не можемъ поднять руки на Владимира племя; если на Ольговичей, то готовы хоть съ дѣтами“. Изяславъ соединился тогда съ черниговскими Ольговичами, но когда тѣ затѣяли измѣну, послать опять къ киевлянамъ за помощью. Киевляне сошлись всѣ, отъ мала до велика, къ святой Софії на дворъ, составили вѣче и на этотъ разъ, возмущенные предательствомъ Ольговичей, оказали князю содѣйствіе. Въ 1154 г. Изяславъ умираетъ. „И посадиша въ Кіевъ Ростислава Кіянѣ рекуче ему: яко же братъ твой Изяславъ честить Вячеслава<sup>1)</sup>, тако же и ты чести; а до твоего живота Кіевъ твой“. „Здѣсь“, замѣчаетъ Аксаковъ, „народъ распоряжается княжествомъ“.

Ростиславъ, ставъ княземъ, затѣялъ разные походы и уѣхать изъ Кіева, но мужи уговаривали его вернуться туда, говоря ему: „Ты съ людьми (т. е. народомъ), въ Кіевѣ еще не утвержденъ; поѣзжай лучше въ Кіевъ, утвердись съ народомъ“.

Еще нѣсколько, подобныхъ предыдущему, примѣровъ огромнаго значенія народной воли въ древне-русской жизни приводитъ Константина Аксаковъ и затѣмъ съ торжествомъ отмѣчаетъ слѣдующаѧ въ высшей степени замѣчательныя и важныя слова лѣтописи: „Новгородцы бо изначала, и Смоленяне, и Кіянѣ, и Полочане, и вся власти (т. е. волости) яко же на думу, на вѣча сходятся“. Слова эти „прямо указываютъ на общинное устройство во всей русской землѣ“.

„Мы привели достаточно примѣровъ“, говорить затѣмъ Константина Сергеевича, „доказывающихъ, что въ древней Руси было общественное, именно общинное устройство,—общинный бытъ. Здѣсь нѣть и мѣста родового быту. Это общинное устройство, со временемъ единодушно поддержанное Москвой, провозгласившей имя всей земли русской, не уничтожилось. Извѣстно, какъ цѣлыя волости, слободы управляются выбор-

1) Вячеславъ быть старшій въ родѣ и могъ бы претендовать на княжество, чего однако не дѣлалъ, довольствуясь почтительнымъ къ нему отношеніемъ Изяслава..

ными людьми. Губные старости, цъловальники, выборные люди, присутствовавшие на судахъ,—все показываетъ, что древняя основа хранилась.—Наконецъ, Земские Соборы, созываемые царями ото всей Земли, представляли голосъ и совѣтъ всей русской Земли, что тогда ясно чувствовалось и сознавалось.—Междударствіе, въ теченіе котораго разлетѣлась на время государственная обложка и обнажилась *Земля*, показываетъ намъ, что она не отвыкла отъ своего устройства: безпрестанная совѣщанія народныхъ въ городахъ и селахъ, совѣщанія, на которыхъ, по обычаю русскому, всѣ сословія, весь народъ принималъ участіе, условій Земли съ воеводами троеначальниками, наконецъ, выборный отъ всей Земли русской,—все это свидѣтельствуетъ, что *община постоянно была основою русского общественного устройства*.

Заканчивается статья такъ:

„Изъ изслѣдований нашихъ выводимъ заключеніе: *русская Земля есть изначала наименѣе патріархальная, наиболѣе семейная и наиболѣе общественная (именно общинная) Земля*.“

Таковы основы выдвинутой Константиномъ Аксаковымъ общинной теоріи.

Не трудно замѣтить въ ней, при сколько-нибудь детальнѣмъ анализѣ, рядъ частныхъ недочватокъ и тенденціозныхъ натяжекъ. Не станемъ, однако же, останавливаться на мелочахъ и укажемъ только существеннѣйший недостатокъ Аксаковской теоріи, именно отмѣтимъ крайнюю неопределеннѣсть, съ которой авторъ общинной теоріи пользуется словомъ „общинный“.

Подъ общину принято понимать небольшую территориальную или соціальную единицу, тѣсно связанную общностью непосредственныхъ житейскихъ интересовъ. Въ частности, подъ общину въ русской экономической и политической литературу принятъ подразумѣвать общину сельскую. Между тѣмъ, К. Аксаковъ подставляетъ подъ слова „община“ и „общинный“ самыя разнообразныя понятія. Такъ, въ только-что приведенномъ резюме статьи о родовомъ бытѣ, онъ прямо употребляетъ какъ синонимы слова „общинный“ и „общественный“, а въ другихъ мѣстахъ у него понятія обѣ общинности сливаются съ понятіемъ о государственности, и „община“ обнимаетъ собою то пространство волости, то пространство княжества, то, наконецъ, пространство всей Россіи. Разбирая, напр., I томъ исторіи Соловьевъ, Аксаковъ говорить по поводу исторической роли Москвы: „Москва первая

задумала единство государственное и начала уничтожение отдельных княжествъ. Вся эта борьба княжествъ на общину не простиралась; общины были довольны, когда падали между ними государственные перегородки. Государство, уничтожая ихъ, исполняло желаніе земли, и, стремясь къ единству государственному, содѣствовало единству земскому. Нѣть ни одного примѣра, чтобы община заступилась за своего князя. Москва провозглашаетъ, наконецъ, имя всей Руси, единаго русского государства и единой Русской Общины, русской земли".

На пространствѣ нѣсколькихъ строкъ тутъ господствуетъ самое хаотическое смѣщеніе административно-политическихъ единицъ, и предѣлы общинъ до того раздвинуты, что теряется всякое реальное о ней представление.

И, конечно, эта неопределѣленность и смѣщеніе понятій могли бы совсѣмъ подорвать значеніе общинно-вѣчевой теоріи, если бы не здоровое зерно ея, если бы не то, что въ основѣ ея лежало глубокое пониманіе внутренняго смысла древне-русской исторіи. Теперь, когда прошло 60 лѣтъ послѣ появленія статьи Константина Аксакова, не найдется уже ни одного историка, который сталъ бы игнорировать огромную роль общинно-вѣчевого начала въ ходѣ древне-русской государственной жизни. Приведенные нами факты, на которыхъ Константина Аксаковъ основалъ свой взглядъ, были, конечно, хорошо известны и до него. Но прежній государственный взглядъ на исторію настолько еще сильно влѣтѣлъ умами историковъ русскихъ, настолько еще сильна была привычка обращать вниманіе исключительно на трактаты, походы и княжескія междуусобія, что все, касавшееся народа въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, оставалось въ тѣни. Вотъ почему оставались въ тѣни и факты, такъ рѣзко выдвинутые Константиномъ Аксаковымъ на первый планъ. И факты эти, дѣйствительно, говорятъ все то, что подчеркивалось съ такимъ энтузіазмомъ восторженнымъ авторомъ общинно-вѣчевой теоріи. Они, дѣйствительно, не оставляютъ никакого сомнѣнія относительно необыкновенного развитія демократическихъ чувствъ къ древней Руси и широкихъ предѣловъ народо-властиа. Они, дѣйствительно, говорятъ о подставленной Конст. Сергиевичемъ вмѣсто "рода" сельской общинѣ, какъ объ

основной социальной единицѣ, дававшей тонъ всему укладу древне-русской жизни. И вотъ почему подборъ всѣхъ этихъ фактovъ былъ новымъ откровенiemъ для занимавшихся русскою исторіею. Съ тѣхъ порь основныя черты Аксаковской теоріи доминируютъ въ разработкѣ древне-русского права. Всесцѣло, со всѣми ея деталями, теорія Аксакова, правда, не принятa, но во-первыхъ: теорія родового быта пала совершенно, и даже тѣ изъ изслѣдователей, которые нѣсколько отрицательно относятся къ воззрѣніямъ Константина Аксакова на древне-русскую жизнь (проф. Самоквасовъ, напр., или Забѣлинъ), не могутъ не признать, что критическая часть обсуждаемой нами статьи блестательна. Конст. Сергѣевичъ окончательно похоронилъ теорію родового быта въ томъ видѣ, какъ ее создали Эверсъ и Соловьевъ, и послѣ его статьи ни одинъ серьезный изслѣдователь не поднялъ этой теоріи, которая теперь фигурируетъ исключительно въ обзорѣ *старыхъ* воззрѣній на древне-русский бытъ.

Но важнѣе, конечно, положительная часть теоріи Константина Аксакова. Про нее-то и можно сказать, что она доминируетъ въ современныхъ воззрѣніяхъ на древне-русское право. Если мы переберемъ взгляды главнѣйшихъ юристовъ и историковъ послѣднихъ 50 лѣтъ, то мы увидимъ, что большинство изъ нихъ и при томъ такие люди, какъ Бѣляевъ, Лешковъ, Костомаровъ, Шипилевскій, Градовскій, всецѣло примыкаютъ къ воззрѣніямъ Константина Сергѣевича на древне-русский общественный укладъ. Другіе, какъ Сергѣевичъ, Владимірскій-Будановъ, принимаютъ ихъ съ чѣкоторыми оговорками. Наконецъ, третыи, выступающіе съ собственными теоріями, какъ Леонтовичъ и Бестужевъ-Рюминъ съ теоріей задруги, или Соколовскій съ теоріей волостной, по существу, все-таки тоже примыкаютъ къ направлению, созданному Константиномъ Сергѣевичемъ. Община-задруга на хорватскій образецъ и гоіость съ тѣмъ характеромъ, съ какимъ она является напр., въ теоріи П. А. Соколовскаго—все это видоизмѣненія одного и того же общественнаго и правового института. Важна основа, а она-то именно одна и та же и въ волостной, и въ задружной и въ Аксаковской теоріи; важно, что всѣ эти теоріи съ одинаковою энергией выдвигаютъ рѣшающее значеніе демократически-альtruистическихъ началь, глубоко

кореняющихся въ русской народной психологіи и потому окрашивающихъ въ свой цветъ тотъ періодъ древне-русской жизни, когда вліяніе другихъ факторовъ было слабо. И вотъ эта-то энергія въ подчеркиваніи демократического характера старо-русской жизни, этотъ-то энтузіазмъ предъ основами русского народного быта и составляетъ огромную заслугу Константина Аксакова. Онъ внесъ народничество въ разработку древне-русского права, онъ заставилъ насть смотрѣть на народное міровоззрѣніе и складъ народнаго характера съ тѣмъ уваженіемъ, котораго они заслуживаютъ по своему огромному вліянію на ходъ русской исторіи. Онъ пріобщилъ, такимъ образомъ, русскую историческую науку къ тому великому движению демократическихъ идей, которое составляетъ основную черту духовной жизни русской интеллигенціи вътъ уже болѣе шестидесяти лѣтъ.

Въ заключеніе считаю не лишнимъ сказать нѣсколько словъ по адресу проф. Самоквасова, который въ своеемъ курсѣ исторіи русского права называетъ первымъ провозвѣстникомъ общинно-вѣчевой теоріи Бѣляева. Это невѣро. Ошибка профессора произошла вслѣдствіе того, то онъ считаетъ, что впервые Константина Аксаковъ высказалъ свои мысли о родовомъ бытѣ въ обсужденій нами статьѣ, появившейся въ „Моск. Сборникѣ“ 1852 года. А такъ какъ Бѣляевъ двумя годами раньше, во „Временикѣ“ Московскаго Общества Исторіи и Древностей“ 1850 г., кн. VII, помѣстилъ статью „Русская земля передъ прибытіемъ Рюрика въ Новгородъ“, где высказалъ идеи, весьма схожія съ тѣми, которыя проводилъ Константина Аксаковъ въ своей статьѣ о родовомъ бытѣ, то оно и выходитъ, какъ будто Бѣляевъ имѣть тутъ права первенства. Но дѣло въ томъ, что мысли свои объ общинно-вѣчевомъ началѣ древней Руси Аксаковъ только *развилъ* въ статьѣ „Моск. Сборника“ 1852 года. Въ общихъ же чертахъ всѣ эти мысли выражены имъ въ статьѣ „Родовое или общественное явленіе быть Иагой“, помѣщенной въ началѣ 1850 года въ „Моск. Вѣд.“ (№ 97) и заключавшей въ себѣ прямое обѣщаніе „представить въ особой статьѣ доказательство того, что въ древней Руси не было родового быта, а быть быть общественный“. Статья „Моск. Сборн.“ и явилаась исполненіемъ этого обѣщанія.

Уже если говорить въ данномъ случаѣ о чьихъ-нибудь правахъ на первенство, то рѣчь можетъ идти только о Юріѣ Самаринѣ, который въ статьѣ „О мнѣніяхъ „Современника“ историческихъ и литературныхъ“, помѣщенной въ „Москвитѣ“ 1847 г. (ч. II, стр. 185—174), дѣйствительно, первый въ русской литературѣ, хотя очень кратко, но все-таки очень определенно, заявилъ: „общинное начало составляетъ основу, грунты всей русской исторіи, прошедшей, настоящей и будущей; сѣмена и корни всего великаго, возносящагося на поверхности, зарыты въ его плодотворной глубинѣ“.

Только что сдѣланное указаніе принадлежитъ Пыпину и высказано имъ въ его „Характеристикахъ литературныхъ мнѣній“ еще въ началѣ 1870-хъ годовъ. Этимъ замѣчаніемъ почтенный изслѣдователь хотѣлъ ослабить панегирикъ Костомарова, который ставилъ Константина Аксакову въ особую заслугу провозглашеніе общинного начала. Миѣ предстavляется, однако, что поправка Пыпина имѣть по преимуществу библіографическое значеніе и заслугу Аксакова не умаляетъ. Да, дѣйствительно, въ печати общинную теорію первый провозгласилъ *M... З... К.* (псевдонимъ Юрия Самарина). Но вѣдь достаточно известно, что славянофильскій кружокъ представлялъ собою нечто до такой степени сплоченное и слитное, что отдѣлять, гдѣ начинаются мнѣнія одного изъ членовъ кружка и гдѣ кончаются мнѣнія другого, является дѣломъ почти невозможнымъ. Первые славянофилы были люди, тѣсно связанные не только единствомъ духовныхъ стремлений, но и личнымъ общениемъ. Чуть ли не ежедневно встречались они другъ съ другомъ либо въ домѣ Хомякова, либо у Кирилловскихъ, Самариныхъ, либо, наконецъ, у Аксаковыхъ и въ живомъ обмѣнѣ мыслей разрабатывали детали общаго имъ всѣмъ міросозерцанія. Инициатива принадлежитъ тутъ всѣмъ вмѣстѣ и каждому въ отдельности. Одинъ дѣлалъ намекъ, другой его подхватывалъ, третій подбиралъ доказательства и въ общемъ получался тезисъ, родительская права на который въ одинаковой степени должны приписываться всѣмъ членамъ кружка безраздѣльно. Вотъ почему, между прочимъ, первоначальное славянофильство совсѣмъ не знаетъ фракцій. Тутъ люди до того спѣлись *предварительно*, дома, что выступали въ печать уже съ совершенно

законченнымъ міровоззрѣніемъ, вошедшими въ плоть и кровь каждого изъ принимавшаго участіе въ выработкѣ его. Слѣдовательно, *нечатное* первенство въ дѣлѣ возвѣщенія славяно-фильскихъ принциповъ можетъ имѣть исключительно библиографический интересъ и всегда есть простая случайность. Юрию Самарину по конкретной надобности (для опроверженія идей Кавелина) пришлось говорить объ общинномъ началѣ, онъ его и провозгласилъ. А Константину Аксакову въ 1847 г. надобности такой не было, онъ и не высказался. Но отсюда всего менѣе слѣдуетъ, чтобы Константина Сергеевича чему-нибудь научился изъ коротенькой, чисто катехизической статейки Самарина или узналь бы что-нибудь новое изъ нея. Все это было ему превосходно известно раньше, и въ кружковыхъ дебатахъ онъ, конечно, не одно тутъ доказательство подбранѣть и не одинъ разъ укрѣплять своимъ паѳосомъ увѣренность сочленовъ въ томъ, что дѣйствительно только общиннымъ началомъ можно уяснить себѣ явленія древне-русской и современной народно-русской жизни.

Я нѣсколько распространілся по вопросу о правахъ первенства Юрия Самарина на общинную теорію, потому что тутъ идетъ рѣчь объ особенности, имѣющей значеніе для оцѣнки всѣхъ вообще идей разсматриваемаго нами писателя. Очень важно подчеркнуть, что, читая сочиненія основателей славянофильства, мы какъ будто имѣемъ предъ собою разныя редакціи одного и того же. У одного короче, у другого длиннѣе, у одного съ болѣшимъ, у другого съ меньшимъ талантомъ, у одного супше, у другого страстнѣе, наконецъ, у одного намеки, у другого подробное развитіе. *Только этими*, почти вѣнчными качествами и отличаются сочиненія славянофиловъ другъ отъ друга. Въ частности, слѣдовательно, идеи Константина Аксакова не ему одному принадлежать. Если же я усматриваю въ нихъ писательскую индивидуальность Константина Сергеевича, то потому, что помимо такихъ уже чисто-индивидуальныхъ качествъ, какъ, напримѣръ, хорошее знаніе русской исторіи, древне-русского юридического быта и т. д., сочиненія Константина Аксакова рѣзко запечатлѣны его необыкновенною страстью, благодаря которой онъ довѣръ вѣтъ принципы славянофильства до ихъ крайняго развитія. Тамъ, где у спо-

койныхъ Кирѣевскихъ, дѣловитаго Самарина и лишеннаго душевнаго энтузіазма Хомякова идеть спокойная экспозиція, тамъ Константина Аксаковъ, выражаясь вульгарно, рветъ и мечеть. Онъ въ славянофильствѣ занимаетъ приблизительно такое же мѣсто, какое занимаетъ въ западничествѣ его нѣкогда закадычный другъ Бѣлинскій. И „неистовый Виссарионъ“ проводилъ идеи, далеко не ему одному принадлежавшія, но онъ проводилъ ихъ съ такимъ жаромъ и увлечениемъ, что онъ осталась въ литературѣ съ его именемъ. У Константина Аксакова не было таланта Бѣлинскаго, но и въ его изложеніи многія славянофильскія идеи, благодаря горячей убѣжденности, запечатлѣваются рѣзче, чѣмъ въ изложеніи другихъ славянофиловъ, и потому онъ по справедливости должны быть связаны именно съ его литературною дѣятельностью.

Возвращаясь же къ проф. Самоквасову, замѣчу, что во всякомъ случаѣ, если говорить о фактическомъ вліяніи общинно-вѣчевой теоріи на разработку древне-русской исторіи, то честь его всецѣло принадлежитъ Константину Аксакову. Статья Бѣляева настолько мало известна, что одинъ только проф. Самоквасовъ и цитируетъ ее. Всѣ же, которые поддались дѣйствію народническихъ воззрѣй на древне-русскую жизнь, взяли ихъ у Константина Сергеевича. Это онъ зажегъ своимъ восторженнымъ энтузіазомъ, это его стремительность опрокинула освященное прежнею исторической наукой пренебреженіе къ основамъ народнаго міросозерцанія.

последованием логики, и тою же причиной, какъ Константина Аксакова, я считаю, что въ первомъ своемъ труде онъ не имѣлъ въ виду исторіи какъ науки, а только какъ предмета изученія. Исторія какъ наука, какъ предметъ изученія, это понятие, которое въпервые было въведено въ XV.

#### „Земля“ и государство.

Переходя ко второй основной мысли историческихъ работъ Константина Сергеевича—о томъ, что русскій народъ рѣзко отѣнялъ понятіе о „землѣ“ отъ понятія о государствѣ, не могу не замѣтить прежде всего, что, свидѣтельствуя, какъ и все когда-либо вышедшее изъ-подъ пера Константина Аксакова, о глубокомъ благоговѣніи его къ качествамъ русскаго народнаго духа, мысль эта, однокоже, весьма мало гармонируетъ съ только-что очерченной теоріей того же автора о широкомъ значеніи народовластия въ древней Руси. Читатель, конечно, замѣтить, съ какою энергию Аксаковъ подбиралъ лѣтописные факты, изъ которыхъ ясно, что важнѣйшія события государственной жизни древней Руси совершились при непосредственномъ участіи народа. Всѣ вообще усиленія автора теоріи обѣ общинно-вѣчевомъ бытѣ только къ тому и направлены, чтобы показать, какъ въ первоначальные периоды нашей исторіи русскій народъ *государствовалъ*.

Но что же находимъ мы въ двухъ статьяхъ „Обѣ основныхъ началахъ русской исторіи“, которая совершенно правильно ставится во главѣ историческихъ работъ Константина Аксакова, какъ заключающія въ себѣ главныя мысли его о русской исторіи?

Авторъ даетъ въ ней очеркъ нарожденія русскаго государственного уклада. До Рюрика, говорить онъ, „славянскія племена, населявшія Россію, жили подъ условіями быта;

община, такъ устроенная, носить простое название земли, которое мы удержимъ: оно оправдается впослѣдствіи". Но вотъ землю начинаютъ тѣснить „бранные, неугомонные со-сѣди“, возникаетъ также вражда внутренняя. Тогда „земля, чтобы спасти себя, свою земскую жизнь, рѣшается призвать на защиту государство. Но надо замѣтить, славяне не обра-зуютъ изъ себя государство, они призываютъ его; они не изъ себя избираютъ князя, а ищутъ его за моремъ; такимъ образомъ, они не смышаютъ земли съ государствомъ, *при-блигая къ послѣднему, какъ къ необходимости для сохраненія первой. Государство, политическое устройство—не сдѣлалось цѣлью ихъ стремленія*,—ибо они отдѣляли себя или земскую жизнь отъ государства и для сохраненія первой призвали послѣднее".

Стремленіе отдѣлить землю отъ государства такъ глубоко вкоренилось въ русскомъ характерѣ, что оно замѣтно даже у такой вольницы, какъ новгородцы. „Многіе думаютъ о Новгородѣ“, говорить Аксаковъ, „какъ о наиболѣе мѣнявшемъ князей, что онъ былъ республика: совершенно ложно! Новгородъ не могъ оставаться безъ князя. Возьмите новго-родскую лѣтопись, прочтите, съ какимъ ужасомъ говорить лѣтописецъ о томъ, что они три недѣли были безъ князя".

Чрезъ всю исторію Россіи, начиная съ древнѣйшихъ вре-менъ ея и вплоть до междуцарствія и Петра, проходить это рѣшительное открешеваніе отъ власти. „Государство никогда у насъ не обольщало собою народа, не плѣняло народной мечты; вотъ почему, хотя и были случаи, не хотѣть народъ нашъ облечься въ государственную власть, а отдаватъ эту власть избранному имъ и на то назначенному государю, самъ желая держаться своихъ внутреннихъ жизненныхъ началъ".

Можно быть разнаго мнѣнія объ исторической вѣрности только-что приведеннаго взгляда Аксакова и о степени его соотвѣтствія съ такими явленіями древне-русской жизни, какъ частые земскіе сборы или выборное замѣщеніе должностей чисто-административнаго характера, т. е. представляющихъ собою delegaцію центральной государственной власти. Но, во всякомъ случаѣ, едва ли кто станетъ отрицать коренное противорѣчіе выдвигаемаго нашимъ авторомъ открешеванія отъ власти съ общимъ характеромъ фактovъ, имъ же под-

черкиваемыхъ въ статьѣ обѣ общинномъ бытѣ. Тамъ обѣ этомъ открепеніи и индифферентизмъ не было ни слова. Напротивъ того, энергично указывалъ Константина Сергеевича на то, что „голосъ и совѣтъ Русской земли“ имѣлъ огромное значеніе даже въ эпоху царскую, когда по общему представлению народовластіе исчезло окончательно. Съ энтузіазмомъ подчеркиваетъ онъ тамъ, что въ эпоху междуцарствія происходили „безпрестанныя совѣщанія народныя въ городахъ и селахъ, совѣщанія, на которыхъ, по обычаю русскому, всѣ сословія, весь народъ принималъ участіе“, что земля предъявляла свои условія къ воеводамъ-троеначальникамъ и что вообще даже „единодержавіе Москвы“ ничуть не измѣнило прежняго уклада. О томъ же, что все это народовластіе носить тотъ особенный, мало имѣющій общаго съ обычными представліями о народовластіи характеръ, который придаетъ ему Константина Аксаковъ въ своихъ стараніяхъ отдѣлить понятіе древне-русской „земли“ отъ понятія о государствѣ, обо всемъ этомъ, повторяю, авторъ статьи обѣ общинномъ бытѣ и не занкался. Странность тѣмъ болѣе разительная, что статья обѣ общинномъ бытѣ написана позже статей, трактующихъ о различіи между древне-русскою „Землей“ и государствомъ.

Странность эта, однако же, вполнѣ объясняется, если мы примемъ во вниманіе, что не *an und für sich* привлекали Константина Сергеевича историческая явленія, изслѣдованиемъ которыхъ онъ отъ времени до времени занимался. Онъ не принадлежалъ къ числу тѣхъ ученыхъ, которыхъ интересуетъ предметъ изслѣдованія, какъ таковой. Публицистъ и трибуинъ по натурѣ, онъ приступалъ къ историческимъ работамъ исключительно затѣмъ, чтобы обставить „фактами“ тѣ априорные выводы, которые онъ дѣлалъ подъ диктовку общаго своего міровоззрѣнія. Въ данномъ случаѣ, вопросъ обѣ общинномъ бытѣ древней Руси отнюдь не по существу занималъ нашего пламенного патріота. Все это ему нужно было какъ средство *выставить въ идеальномъ видѣ древне-русскую жизнь*. Быть государственный выше патріархального, и народу, стоящему на этой ступени исторического развитія, отводится въ этнографической іерархіи болѣе почетное мѣсто—вотъ изъ чего *сердце.иѣ* исходилъ Константина Сергеевича.

вичь и вотъ что побуждало его выдвинуть общинно-вѣтчевую теорію, какъ возвеличивающую основы русскаго народнаго быта и духа. А что тутъ не было строгаго соотвѣтствія съ тѣмъ весьма ограниченныемъ народовластіемъ, которое лежитъ въ основѣ ученія Константина Аксакова о различіи между „землею“ и государствомъ—это потому мало тревожило его, что само-то ученіе о различіи „земли“ и государства есть тоже не что иное, какъ средство *выставить въ идеальномъ видѣ древне-русскую жизнь.*

О какомъ, въ самомъ дѣлѣ, высокомъ нравственномъ уровнѣ говорить эта раздѣльность, если понимать ее, а главное, объяснить ея происхожденіе такъ, какъ оно дѣлается Аксаковымъ.

„Нравственное дѣло“, говорить онъ, „должно и совершаться нравственнымъ путемъ, безъ помощи виѣшней, принудительной силы. Вполнѣ достойный путь одинъ для человѣка: путь свободнаго убѣжденія, путь мира, тотъ путь, который открылъ намъ Божественный Спаситель и которымишли Его Апостолы. Это путь *внутренней правды*“.

Существуетъ, однако, и „другой путь, гораздо, повидимому, болѣе удобный и простой; внутренний строй переносится во внѣ, и духовная свобода понимается только какъ *устройство, порядокъ*; основы, начала жизни понимаются какъ правила и предписанія. Все формулируется. Этотъ путь не внутренней, а *внѣшней правды*, не совѣсти, а принудительного закона“.

Послѣднимъ путемъ, „путемъ виѣшней правды, путемъ государства двинулось западное человѣчество“. Такой путь гибелень. „Формула, какая бы то ни была, не можетъ обнять жизни; потомъ, налагаясь извѣ и являясь принудительной, она утрачиваетъ саму главную силу, силу внутренняго убѣжденія и свободнаго ея признанія; потомъ дѣлѣ, давая такимъ образомъ человѣку возможность опираться на законъ, вооруженный принудительной силой, она усыпляетъ склонный къ лѣни духъ человѣческій, легко и безъ труда успокаивая его исполненіемъ наложенныхъ формальныхъ требованій и избавляя отъ необходимости внутренней нравственной дѣятельности и внутренняго нравственнаго возрожденія“.

Русскій же народъ пошелъ путемъ *внутренней правды*.

„Подъ вліяніемъ вѣры въ нравственный подвигъ, возведеній на степень исторической задачи цѣлаго общества“, со-здался „мирный и кроткій характеръ древне-русскаго народа“, благодаря которому онъ, не желая государствовать, добровольно призвалъ государственную власть извѣтъ. Добровольность призванія государства имѣть въ глазахъ Константина Аксакова особенную цѣну, потому что оно рѣзко оттѣняетъ процессъ нарожденія государства въ Россіи отъ процесса его нарожденія на Западѣ, гдѣ онъ совершился путемъ завоеванія. Всѣдѣствіе добровольности призванія, въ Россіи земля и государство, хотя „и не смыкались, а отдельно стояли“, все-таки находились „въ союзѣ другъ съ другомъ“. Въ призваніи добровольномъ означились уже отношенія земли и государства—взаимная довѣренность съ обѣихъ сторонъ. Не брань, не вражда, какъ это было у другихъ народовъ, всѣдѣствіе завоеванія, а миръ, всѣдѣствіе добровольного призванія“.

Такъ складывался русский государственный строй въ княжескій періодъ, такъ было и потомъ. Явился Великій Князь и потомъ Царь Московскій и всея Руси, наслѣдственный и самодержавный. Отношеніе Земли и Государства, народа и правительства, прежняя взаимная довѣренность—были основою ихъ отношеній. Подобно тому какъ князь созывалъ Вѣче<sup>1)</sup>, царь созывалъ Земскую Думу или Земскій Соборъ. Народъ не требовалъ, чтобы государь спрашивалъ его мнѣнія. Государь не опасался спрашивать мнѣнія народа. Кто читалъ эти Думы, тотъ знаетъ, какъ просто излагалось въ нихъ дѣло. Спрашивали выборныхъ отъ всѣхъ сословій; они говорили: мысль наша такова, а тамъ какъ будетъ угодно государю. Не личное самолюбіе, не гордость западной свободы была здѣсь, а обоюдное искреннее желаніе пользы. Здѣсь не ораторствовали, а говорили, и слово не превышало дѣла“.

— 1) Въ другихъ мѣстахъ своихъ историческихъ работъ,—тамъ, гдѣ Константину Сергеевичу хотѣлось подчеркнуть широкіе предѣлы древне-русскаго народовластія, „созывъ“ вѣча окрашивался имъ совсѣмъ въ другой цвѣтъ. Вотъ что, напр., мы читаемъ на стр. 617: „Князь долженъ былъ заниматься дѣлами, пока вѣче не собиралось. А когда вѣче собиралось, оно было важнѣе князя и могло князя прогнать“.

Вотъ въ какихъ очертаияхъ представлялась въ воображении Константина Сергеевича древне-русская государственная жизнь, вотъ какія идеалистическая соціальная отношенія вырисовывалъ онъ съ помощью раздѣльности „Земли“ отъ Государства, которая только потому и дорога ему, что является посылкою для восторженного панегирика древней Руси. Если бы, въ самомъ дѣлѣ, его тутъ интересовать вопросъ непосредственного исторического изслѣдованія явленій, вѣдь не могъ же бы онъ проглядѣть и темныхъ сторонъ, которыхъ неизбѣжны во всѣхъ человѣческихъ учрежденіяхъ уже просто потому, что нѣтъ совершенства на землѣ. Но такъ какъ вся дѣятельность Константина Аксакова, какъ историка, имѣла въ основѣ своей исключительно-полемическая цѣль, цѣли борьбы съ „пренебреженіемъ“ западниковъ къ древне-русской жизни; такъ какъ во всѣхъ своихъ историческихъ статьяхъ онъ всегда является адвокатомъ и никогда не бываетъ судьею, то слова укоризны и не срываются никогда съ его устъ. Когда-же темные стороны настолько рѣзки, что просто умолчать о нихъ, какъ это дѣлаетъ онъ обыкновенно, невозможно, тогда всѣ силы его пристрастной діалектики направляются къ тому, чтобы смягчить и скрасить неприглядность фактovъ, плохо вѣяющихъ съ картиною аркадскихъ нравовъ. Любопытнымъ образчикомъ такого желанія скрашививать—во чтобы то ни стало и не смущаясь рѣшительно ничѣмъ—можетъ служить отношение Константина Сергеевича къ крѣпостному праву въ древней Руси. Казалось бы, какъ справиться съ этимъ фактомъ, столь мало говорящимъ о какомъ-то умилительномъ душевномъ согласіи „земли“ и государства? И однако же, Аксаковъ напечать въ себѣ достаточно пристрастности, чтобы иронически обратиться къ „милостивымъ государямъ“, „просвѣщеннымъ противникамъ древней Руси“, отъ которыхъ „часто слышишь, что безчеловѣчное крѣпостное право установлено древнею Русью“. и сказать имъ: „Кто говорить, милостивые государи, крѣпостное право напе—дѣло возмутительное. Но виновата ли въ этомъ древняя Русь?“ Статья, начинающаяся такимъ ироническимъ обращеніемъ, („О состояніи крестьянъ въ древней Руси“) осталась неоконченной, слѣдовательно, вполнѣ развить свою защиту Константину Сергеевичу не удалось. Но

на поляхъ статьи напечаталася краткий конспектъ ея и тезисы. И вотъ заключительный изъ этихъ тезисовъ, въ связи съ общимъ ходомъ аргументаціи статьи, даетъ полное представление объ окончательномъ выводѣ ея, которымъ должны быть посрамлены злопыхательные „милостивые государи“, изъ западническаго лагеря.

„Русь не понимала рабства“, памѣчай въ общихъ чертахъ Константина Сергеевича свою главную мысль, „къ тому же въ ней нѣть ни либерализма, ни рабства. Свободная страна. Западъ началь съ рабства, прошелъ сквозь бунтъ, и хвастаетъ холопской дерзостью либерализма...“

Западъ имѣетъ опытность грѣха; онъ ужъ узналъ всѣ мерзости и установилъ свои отношенія. Кому же, какъ не лисѣ, всѣ лисы норки знать? Русь не имѣла этой опытности и поневолѣ попала въ рабство.

*„Большая разница между грѣхомъ и порокомъ. Въ древней Руси есть грѣхи, но нѣть пороковъ“.*

Съ особеннымъ удовольствиемъ читаешь эти нѣсколько строкъ. Въ нихъ весь Константинъ Аксаковъ, съ его почти безумнымъ обожаніемъ допетровской старины, съ его пойстинѣ трогательною способностью выдвигать въ защиту древне-русской жизни такие поражающіе софизмы, которые показываютъ, что мы тутъ имѣемъ дѣло уже не съ теоретическими возврѣніемъ, не съ научнымъ взглядомъ, а прямо съ какимъ-то религіознымъ экстазомъ.

Я выше старался показать, что мысли Константина Аксакова объ общинномъ бытѣ и раздѣльности „Земли“ отъ Государства, по основному назначенію своему, являются посыпками для созданія величаваго образа древне-русской жизни до ея „порчи“ ненавистными Аксакову, въ периодъ окончательного установления его міросозерцанія, реформами Петра Великаго. Эти посыпки могутъ быть названы главными устоями историческихъ взглядовъ Константина Аксакова и потому я ихъ выдѣлилъ особо. Но ими далеко не исчерпывается число деталей, съ помощью которыхъ восторженный паладинъ древне-русскаго уклада жизни хотѣлъ сразить скептицизмъ своихъ западническихъ противниковъ, видѣвшихъ въ этомъ укладѣ не только свѣтлые стороны, но и цѣлый рядъ фактовъ грубаго попирания элементарныхъ основъ человѣческаго общежитія. Константинъ Сергеевичъ, напротивъ того, то и дѣло открывалъ новыя данные для

подтверждения своего восторженного отношения к древней Руси.

Въ древней Руси, напримѣръ, не было аристократіи, „и не могло быть, ибо боярство не было наследственno. Князья часто попадаются въ жильцахъ; все зависѣло отъ службы. Сюда, правда, входило мѣстничество; но само мѣстничество на воспоминаніяхъ службы основывало права свои. Раздѣленія на неподвижныя сословія не было. Живое начало про никало весь составъ, и нигдѣ, ни въ какомъ сословіи, не застаивалось кругообращеніе силъ государственныхъ; можно было дослужиться до боярина; изъ людей земскихъ можно было перейти въ служилые. Аристократіи западной не было вовсе“.

Это отсутствие аристократического начала сказалось особенно ярко въ былинахъ Владимира цикла, разобранныхъ Константиномъ Сергеевичемъ въ особой статьѣ, о которой упомянуто выше (стр. 57).

Тѣ же былины Владимира цикла даютъ нашему автору матеріаль для обрисовки высокаго общественного положенія славянской женщины. „Женщины былинъ часто носятъ куяки, панцыри, кольчуги, также выѣзжаютъ въ поле искать бранныхъ опасностей. Сила ихъ иногда не уступаетъ мужской. Такова Настасья Королевишна, на которой женился Дунай, сестра Афросины Королевишны, супруги Великаго Князя Владимира, отличавшейся влюблывымъ сердцемъ. Такова жена Ставра-боярина—Василиса Мikuлишина. Прибавимъ въ дополненіе къ этой мужественности женщины образъ, совершенно русскій, Царь-Дѣвицы: вспомнимъ преданія объ Амазонкахъ, о Чепской Власкѣ, и все это вмѣстѣ, утверждая за славянскою женщиной независимость и равныя права съ мужчиной даже въ ратномъ дѣлѣ, совершенно уничтожаетъ тѣмъ самымъ всякую мысль о рабствѣ или угнетеніи женщинъ у Славянъ“.

Но самый жгучій энтузіазмъ возбуждаетъ въ Константина Сергеевича христіанство древней Руси, причемъ исторію его возвращенія на напей родинѣ онъ представляетъ себѣ совсѣмъ не въ томъ видѣ, въ какомъ оно намъ известно изъ другихъ историческихъ данныхъ. Занимавшіеся древне-рус скою писменностью знаютъ, какую огромную роль играетъ

въ ней борьба съ двоевѣріемъ. Принявши христіанство, предки наши не могли, конечно, отстать отъ прежнихъ вѣрованій своихъ и въ теченіе многихъ, многихъ вѣковъ примѣшиваютъ ихъ къ вѣрованіямъ новымъ. Противъ этого, какъ его называли древне-руssкіе пастыри, двоевѣрія направлена значительная часть литературы древняго періода нашей исторіи. Чтобы не останавливаться на мелкихъ явленіяхъ, отмѣтимъ проповѣди преп. Феодосія Печерскаго, жившаго въ XI вѣкѣ, св. Серафона, епископа Владимірскаго, жившаго въ XIII вѣкѣ, Максима Грека и Столглавъ, боровшихся съ двоевѣріемъ еще въ срединѣ XVI вѣка. Да исчезло-ли и теперь двоевѣріе?

Но ничего этого знать не想要 Константина Аксаковъ. Онъ не прочь даже серьезно утверждать, что русскіе Славяне никогда собственно и не были язычниками. (Статья „О язычествѣ у древнихъ Славянъ“). „У Русскихъ Славянь мы положительно не видимъ ни жрецовъ, ни храмовъ, не видимъ ни идоловъ, ни даже боговъ“. Правда, Несторъ упоминаетъ о богахъ и кумирахъ, но, по мнѣнію Константина Аксакова, „слова Нестора объясняются какъ нельзя яснѣ“, именно тѣмъ, что „идолопоклонство это была вѣра Князя и дружины“. Язычество же народа „было самое чистое язычество, было при вѣрованіи въ Верховное Существо, постоянное освященіе жизни на землѣ, постоянное ощущеніе общаго высшаго смысла вещей и событий. Слѣдовательно, вѣрованіе темное, неясное, готовое къ просвѣщенію и ждавшее луча истины“. Конечно, сколько-нибудь серьезныхъ доказательствъ этого удивительнаго взгляда на древне-руssкую народную мифологію, богатую цѣлымъ рядомъ отдаленныхъ божествъ, напись авторъ и не приводить въ свое мѣсто занимающемъ ровно пять страницъ обзоръ русскаго язычества, на которыхъ онъ однако же съ такою рѣшительностью выдвигаетъ взгляды діаметрально-противоположные тому, къ чему пришла русская историческая наука. Эта рѣшительность, имѣющая своимъ единственнымъ основаніемъ *желанія* автора, составляетъ одну изъ основныхъ чертъ всѣхъ вообще историческихъ и иныхъ писаній Константина Сергеевича, который, за исключеніемъ статьи о родовомъ бытѣ, почти всегда говорилъ *догматически*,

т. е. положеніями и утвержденіями, не подкрѣпляемыми фактическими данными.

Но возвратимся къ исторіи христіанства на Руси по представлению Константина Аксакова. Миѣніе обѣ отсутствіи заправскаго язычества у нашихъ предковъ понадобилось нашему автору для того, чтобы, смѣшавши въ одно всѣ стоять доперовской старинѣ,—создать одну общую характеристику древне-русскаго душевнаго настроенія. Въ результатѣ получается слѣдующая противорѣчащая исторіи картина, въ которой перепутаны такія мало имѣющія общаго между собою эпохи, какъ время Владимира и 1612 годъ, и въ которой упущенъ фактъ лишь постепеннаго наростанія древне-русскаго благочестія. Но Аксакову-же это благочестіе народилось сразу:

„При Игорѣ и Владимірѣ идолопоклонство князя и дружины вачинаетъ простираться и въ народъ, но оно недолго продолжалось; скоро свѣтъ христіанскій озарилъ Русскую землю, Русскій народъ, скоро Владиміръ принялъ крещеніе. Народъ легко отдалъ принятые имъ кумиры, и также легко принялъ христіанство,—но оно глубоко проникло его душу и стало необходимымъ условіемъ всего его существованія. Христіанинъ и Русскій стали однѣмъ словомъ. Русь, какъ земля христіанская, имѣнуетъ святою, и вся послѣдующая исторія показала, что ни соблазны, ни насилия не могутъ лишить насть духовнаго блага вѣры.—Отдавая на терзаніе свое тѣло, русскій не отдавалъ души, и, терпѣливый во всемъ, онъ не переносилъ оскорблений вѣры; исторія казаковъ, исторія польскаго нашествія показываютъ намъ это, являютъ намъ эту спасающейся на землѣ народъ, падающей, какъ грушиникъ-человѣкъ, но не слабѣющій въ вѣрѣ, не отрывающейся, всегда кающійся и возстающей покаяніемъ. Поляки изумлялись, смотря на это во время междуцарствія; ихъ католическая вѣра была власть политическая, завоевательная, была дѣло государственное, и поэтому дѣло совсѣмъ другое. Приходя въ частныя со-прикосновенія съ Русскимъ народомъ по вопросамъ государственнымъ, Поляки съ изумленіемъ говорятъ: странный народъ: онъ толкуетъ не о политическихъ условіяхъ, а о вѣрѣ. Но мы, Русскіе, этому не удивимся, а съ благоговѣніемъ слышимъ это.

Когда вспоминаешь, какъ крестился русскій народъ, невольно умиляешься душою. Русскій народъ крестился легко и безъ борьбы, какъ младенецъ, и христіанство озарило всю его младенческую душу.—Въ его душѣ не было воспоминаній языческихъ, не было огрубѣлой, опредѣленной лжи“.

и чистота русской нации, и в то же время искренность и честность русского народа, и то, что русский народ — это не только нация, но и великий народ, имеющий право на существование и развитие. Аксаков считал, что русский народ — это не только нация, но и великий народ, имеющий право на существование и развитие.

## XV.

### Богоизбранность русского народа. Ненависть къ Западу.

Мы ознакомились съ историческими взглядами Константина Аксакова, имѣющими цѣлью выставить въ идеальномъ свѣтѣ древне-русскую жизнь.

Можно ли однако сказать, что эта идеализація древней Руси есть окончательная цѣль историческихъ изслѣдований Аксакова? Нѣть ли въ его историческомъ міровоззрѣніи другой, еще болѣе центральной идеи?

Мнѣ представляется, что въ такой-же степени, какъ всѣ взгляды Константина Аксакова на явленія древне-русской жизни имѣютъ своимъ назначеніемъ служить посылками для созданія величавой картины допетровской Руси, такъ, въ свою очередь, эта идеализація есть по существу тоже не что иное, какъ посылка для обоснованія теоріи богоизбранности русского народа.

Выдвинув такую формулировку учено-литературной дѣятельности Константина Аксакова, я неизбѣжно долженъ натолкнуться на оживленный протестъ приверженцевъ идей первоучителя славянофильства. Уже упреки на национальной исключительности вызывали со стороны славянофиловъ заявленія о клеветѣ. А Иванъ Аксаковъ, такъ тѣтъ въ предисловіи ко II тому сочиненій своего брата находилъ даже, что направленные по адресу Константина Сергеевича обвиненія въ национальной исключительности имѣютъ своимъ источникомъ „невѣжество противниковъ славянофиловъ“.

Очень, однако, нетрудно будетъ показать, что устремленіе

къ національной исключительности, понимая въ данномъ случаѣ этотъ терминъ какъ желаніе отвести русскому народу мѣсто, совершенно особенное въ ряду другихъ народовъ цивилизованнаго міра, лежить въ основѣ всѣхъ писаній какъ славянофиловъ вообще, такъ и Константина Аксакова въ частности. Протесты же въ родѣ только-что приведеннаго основаны на недоразумѣніи и на слишкомъ буквальномъ толкованіи нѣкоторыхъ выраженийъ основателей славянофильства. Нельзя, конечно, отрицать того, что, дѣйствительно, въ сочиненіяхъ, между прочимъ, и Константина Сергѣевича мы иной разъ наталкиваемся на подчеркиваніе „общечеловѣческихъ“ чертъ русскаго духа. Такъ, выше была приведена цитата изъ изслѣдованія Константина Сергѣевича о русскихъ глаголахъ, гдѣ авторъ столь опредѣленно говорить: „кто изъ настѣ станеть отвергать общее, человѣческое?“ Вспомнить, вѣроятно, читатель диссертацио о Ломоносовѣ, основное стремленіе которой, съ одной стороны, заключается въ томъ, чтобы подсмотретьъ въ русской исторіи фазисы, установленные Гегелемъ для всего человѣчества, а съ другой, въ томъ, чтобы пропѣть восторженный диенрамбъ Петру за освобожденіе Россіи отъ „оковъ исключительной національности“. Правда, читатель можетъ припомнить и то, что диссертацио о Ломоносовѣ не выражаетъ собою настоящаго Константина Аксакова, какимъ онъ былъ въ періодъ окончательнаго развитія своего міровоззрѣнія. Но мы въ данномъ случаѣ придемъ на помощь людямъ, протестующимъ противъ „навязыванія“ славянофиламъ стремленія къ національной исключительности, и укажемъ на рецензію Константина Сергѣевича о I томъ исторіи Соловьевъ, въ которой авторъ, прямо отрекаясь отъ прежняго восторженного отношенія къ Петру, съ неменышимъ, однако, восторгомъ подчеркиваетъ, что національная исключительность чужда и ненавистна русскому народу.

Только-что указаннаго было бы совершенно достаточно, чтобы перестать считать ученіе о богоизбраниіи русскаго народа характерною чертой міровоззрѣнія Константина Аксакова. Въ особенности убѣдительно то, что и въ періодъ своего фанатическаго увлеченія реформами Петра, и въ періодъ еще болѣе фанатической ненависти къ чимъ онъ, подходя

къ предмету съ діаметрально-противоположныхъ отправныхъ точекъ, тѣмъ не менѣе одинаково отрицательно относился къ національной исключительности.

Все это на первый взглядъ отрицательное отношение, однако же, только кажущееся, и при сколько-нибудь пристальномъ анализѣ именно тѣ-то самыя немногія мѣста произведеній Константина Аксакова, гдѣ говорится объ общечеловѣческихъ сторонахъ русского духа, только увеличиваютъ число посылокъ, на которыхъ покоится теорія богоизбранности русского народа. Начнемъ хотя бы съ цитаты, приведенной на стр. 142 настоящаго тома. Что тамъ говорится непосредственно послѣ словъ: „Кто изъ насъ станетъ отвергать общее, человѣческое?“:

„Русскій народъ самъ имѣть на него (общечеловѣческое) прямое право, а не черезъ посредство какого-нибудь народа; оно самобытно и самостоятельно принадлежитъ ему, какъ и другимъ? Можетъ быть *ему болѣе, нежели другимъ, и можетъ быть мѣрѣ не видѣлъ еще того общаго, человѣческаго, какое явить великая славянская, и именно русская природа*.“

Это ли не провозглашеніе богоизбранности русского народа, это ли не превращеніе общечеловѣческихъ сторонъ русской духовной природы въ средство показать, что русскій народъ духовно выше, духовно совершеннѣе другихъ народовъ?

Въ такое же прославленіе *специально русскому народу* присущихъ доблестей неожиданно превращается, первоначально вытекшее изъ другого источника, желаніе Константина Аксакова показать, что національная исключительность чужда русскому духовному складу. Восторженное одобрение этой чертѣ русской народной психологіи, высказанное Константиномъ Сергиевичемъ въ вышеупомянутой рецензіи на I томъ исторіи Соловьевъ, конечно, исключило бы, какъ уже сказано, возможность видѣть въ нашемъ писателѣ провозвѣстника идеи богоизбранности русского народа. Но въ томъ-то и дѣло, что идея русского превосходства такъ переполняетъ его, желаніе видѣть въ народѣ русскомъ избранный сосудъ Господень такъ велико, что, начавши съ апподиро-ванія идеи общности народовъ, онъ незамѣтно для самого себя переходитъ на почву преимуществъ русского народа

передъ другими. „Исключительности национальной не было никогда въ допетровской Россіи“, читаемъ мы сперва, и вслѣдъ за этимъ идуть историческія доказательства. „Духъ нашего народа есть христіанско-человѣческій“, провозглашаетъ на слѣдующей страницѣ Константина Сергѣевича, идя въ томъ же направленіи. И вдругъ, въ одинъ моментъ, вся постановка вопроса совершенно мѣняется и мы читаемъ слѣдующія слова, направленныя противъ гордыни европейскихъ народовъ, но на самомъ дѣлѣ обличающія национальную гордыню ихъ автора:

„И теперь ни къ нѣмцамъ, ни къ полякамъ въ простомъ народѣ нѣть никакой ненависти. Но этотъ высокий христіанскій взглядъ нашего народа былъ недоступенъ народамъ другихъ, гордыни народамъ Запада, которые только теперь, и то въ избранныхъ своихъ, въ нѣкоторыхъ словахъ, дошли до человѣческаго взгляда русскаго народа, да и то больше какъ космополиты,—слѣдовательно, впали въ новую ошибку“.—

Опять, значитъ, русскій народъ [выше всѣхъ, опять онъ исключительное вмѣстлище нравственныхъ началъ.

Такъ вотъ къ чему сводятся два, три мѣста въ произведеніяхъ Константина Аксакова, которая на первый взглядъ какъ будто противорѣчать нашему формулированію центральной идеи его ученого-литературной дѣятельности. Диссертациі о Ломоносовѣ мы не должны сейчасъ принимать въ разсчетъ. Читатель, достаточно ознакомленный выше съ тѣмъ, какъ нужно смотрѣть на эту послѣднюю отрыжку гегеліанства юныхъ дней Константина Сергѣевича, не увидить тутъ упущенія съ моей стороны.

А теперь, послѣ того, какъ мы устранили тѣ немногія препятствія, которыхъ могли бы помѣшать моей формулировкѣ, задача становится до-нельзя простою. Изъ отдѣльныхъ формуліровокъ Аксакова можно составить цѣлую хрестоматію, цѣлую мозаику читать, настолько рѣзкихъ и опредѣленныхъ, что одно приведеніе ихъ, безъ всякихъ комментаріевъ, ярко обрисовываетъ идею русской богоизбранности.

Оставлять ли, напр. какія-нибудь сомнѣнія такая фраза: „Русская Исторія имѣетъ значеніе Всемірной Исторіи. Она можетъ читаться, какъ житія святыхъ“ (стр. 625).

Слѣду прибавить, что, настаивая на терминѣ „бого-

избранность", я просить-бы понимать его отнюдь не въ переносномъ смыслѣ, а непремѣнно въ буквальномъ. Да, по глубокому убѣжденію Константина Аксакова, Господь Богъ, въ своей неисчерпаемой благости, взыскалъ Россію своею особеною милостію и въ награду за его *смиреніе* поставилъ русскій народъ превыше всѣхъ буйныхъ и кичливыхъ своею суетною мудростью народовъ Запада.

Съ мыслями Константина Сергеевича о смиреніи русского народа, собственно говоря, стѣдовало-бы ознакомить читателя выше, когда шла рѣчь о доблестяхъ древне-русскихъ по представлениямъ нашего писателя. Но учение о русскомъ смиреніи такъ тѣсно переплетено у Константина Аксакова съ учениемъ о русской богоизбраннысти, что ихъ трудно рассматривать отдельно. Одно другое дополняетъ и одно изъ другого вытекаетъ.

"Русская исторія", читаемъ мы на стр. 18 (т. 1), "въ сравненіи съ исторіей Запада Европы отличается такою простотою, что приведеть въ отчаяніе человѣка, привыкшаго къ театральнымъ выходкамъ". Русскій народъ не любить становиться въ красивыи позы; въ его исторіи вы не встрѣтите ни одной позы, ни одного красиваго эффекта, ни одного яркаго наряда, какими поражаетъ и увлекаетъ васъ исторія Запада; личность въ русской исторіи играетъ вовсе не большую роль; принадлежность личности—необходимо гордость, а гордости и всей обольстительной красоты ея—и нѣть у насъ. Нѣть рыцарства съ его кровавыми доблестями, ни безчеловѣчной религіозной пропаганды, ни крестовыхъ походовъ, ни вообще этого беспрестанного, щегольского драматизма страстей".

Въ приведенныхъ покамѣсть словахъ нѣть еще ничего специфически славянофильского. Рѣчь идетъ о той составляющей основу русского національного характера симпатичной простотѣ и безыскусственности, передъ которыми западничество преклоняется не меныше славянофильства. Кто рѣзче Тургенева въ "Запискахъ Охотника" оттѣнилъ полное отсутствие въ коренинѣ русскомъ человѣкѣ рисовки и театральности?

Но простое уваженіе къ этой чертѣ русского характера не удовлетворяетъ Константина Аксакова. И вотъ создается знаменитая теорія русского "*смиренія*", которою такъ грубо злоупотребляли люди, ничего общаго не имѣвшія съ выстою помысловъ и чистотою намѣреній восторженного славя-

нофила, но отлично понявши, что „смиреніе“—удивительно удобная почва для проповѣди застоя и китайщины.

Обрисовавъ „театральный“ характеръ западной исторіи, Константина Сергѣевича переходитъ къ исторіи русской:

„Русская исторія—явление совсѣмъ иное. Дѣло въ томъ, что здѣсь другую задачу задать себѣ народъ на землѣ, что христіанскоѣ ученіе глубоко легло въ основаніе его жизни. Отсюда, среди бурь и волнений, насыщавшихъ, эта молитвенная тишина и смиреніе, отсюда внутренняя духовная жизнь вѣры. Не отъ недостатка силы и духа, не отъ недостатка мужества возникаетъ такое кроткое явленіе! Народъ русскій, когда бывалъ вынужденъ обстоятельствами явить свои силы, обнаруживалъ ихъ въ такой степени, что гордые и знаменитыѣ храбростью народы, эти лихіе бойцы человѣчества, падали въ прахъ предъ нимъ, смиреніемъ и тутъ же, въ минуту побѣды, дающимъ пощаду. Смиреніе, въ настоящемъ смыслѣ, несравненно большая и высшая сила духа, чѣмъ всякая гордая, безстрашная доблѣсть. Вотъ съ какой стороны—со стороны христіанскаго смиренія, надо смотрѣть на Русскій народъ и его исторію. Въ такомъ народѣ не прославляется человѣкъ съ его дѣлами, прославляется одинъ Богъ. Чтобы въ этомъ увѣриться, стоить только припомнить нашу исторію. Русскіе одерживаются невѣроюю побѣду; и, говоря о ней безъ всякаго слова похвалы или гордости, приписываютъ ей помощи Божіей: не чувство побѣднаго триумфа одушевляетъ ихъ, а чувство благодарности къ Богу. Налетаютъ татары или поляки,—народъ говоритъ: это за грѣхи наши, мы прогибъвали Господа—кается и выходитъ на неизбѣжную брань. Побѣждены татары, взята Казань, разбиты рыцари, освобождена Москва, Русскій народъ не ставить памятниковъ ни дѣлу, ни человѣку, а строить церкви и учреждаетъ крестные ходы. Скажемъ здѣсь кстати о Русскомъ народѣ, что до христіанства онъ былъ уже добрая почва, и что слово Божіе, упавшее на него, какъ на добрую почву, возрасло во благо. Поэтому (согласно и съ духомъ Русскаго народа, согласно и съ вѣчными началами Вѣры, которыми по благости Божіей былъ онъ просвѣщенъ) исполнена такой глубокой простоты Русская исторія; поэтому не встрѣтите вы въ ней ни одной этой красивой лжи, которая заставляетъ человѣка любоваться собою въ своемъ собственномъ порывѣ, говорить фразы, щеголять нарядомъ тѣла и души. Въ Русскомъ мірѣ нѣть ничего гордаго, ничего блестящаго, ни единаго эффекта. Все просто. Слово скучо; вы встрѣтите его столько, сколько нужно для дѣла. Совершаются великия дѣла—безъ щегольства и хвастливости. Собирается Земская Дума или Соборъ безъ всякихъ театральныхъ обстановокъ, а просто для дѣла. Идуть освобождать Москву, зовутъ другъ друга на общій подвигъ, искренно и просто. И все кажется некрасиво и невидно для неглубокаго взгляда тому, кто не замѣтить великолѣтія смиренія и внутренней силы, для того нужной. А кто замѣтить, кто увидитъ его, передъ тѣмъ поблѣднѣютъ всѣ иллюстрированные картишки, которыми такъ богаты исторіи другихъ народовъ. Въ самомъ дѣлѣ, какая можетъ тамъ быть красота и блескъ, гдѣ нѣть

поклоненія человѣку, гдѣ человѣкъ не любуется самъ собой, гдѣ онъ христіанинъ, постоянно сознаетъ себя грѣховнымъ и недостойнымъ и смиряется, молясь, передъ Богомъ. Здѣсь высшая духовная красота, не многимъ понятная. Но русскій народъ не впалъ и въ другую гордость, въ гордость Вѣрою, т. е. онъ не возгордился тѣмъ, что онъ имѣть Вѣру. Нѣтъ, это народъ христіанскій въ настоящемъ смыслѣ этого слова, постоянно чувствующій свою грѣховность. *Исторія Русскаго народа есть единственная во всѣмъ мірѣ исторія народа христіанскаго не только по исповѣданію, но по жизни своей, по крайней мѣрѣ, по стремлѣнію своей жизни*" (т. I, стр. 19).

Курсивъ послѣднихъ словъ принадлежитъ Аксакову. Онъ, значитъ, хотѣть, чтобы они особенно запечатлѣлись въ представлѣніи читателя, чтобы они особенно крѣпко засѣли въ находящихся „подъ игомъ Запада“ умахъ нашихъ „верхніхъ классовъ“. Болѣе рѣзкой постановки идеи богоизбранности и представить себѣ нельзя. Древнееврейскіе пророки не говорили въ болѣе восторженныхъ выраженіяхъ о богоизбранности своего народа. А не забудемъ, что древніе евреи были единственнымъ народомъ Востока, дошедшими до идеи Единобожія, между тѣмъ какъ Константина Аксаковъ строить свои параллели не на сравненіяхъ съ язычниками, а на сравненіяхъ съ народами, поклоняющимися тому же Христу, что и русскіе, и притомъ еще освѣщенными благодатью христіанскаго ученія на много вѣковъ раньше русскаго народа. И вотъ, если принять во вниманіе эту весьма капитальную разницу, то мы неизбѣжно приходимъ къ убѣжденію, что ученіе Константина Аксакова о богоизбранности русскаго народа проинкуто гораздо болѣшою національною исключительностью, чѣмъ то древнє-еврейское ученіе о богоизбранности Израїля, которое считается крайнимъ проявленіемъ исключительности и національной гордыни. Не забудемъ, также, что библейскіе пророки, говорившиѣ такъ страстно и восторженно о любви Господа къ Израїлю, были столь же страстны въ нападкахъ на недостатки своего народа, на его отступленія отъ шествованія по стезѣ богообразненности и добродѣтели. Съ усть же Константина Аксакова слова укоризны не срываются никогда по отношенію къ тому ядру русской націи, которое онъ считаетъ „настоящимъ“ русскимъ народомъ. Онъ безпощаденъ только въ нападкахъ на „оторванную“ отъ „почвы“ интеллигентію, созданную реформами

Петра. О народѣ же донетровскомъ Константи́нъ Сергеевичъ можетъ говорить не иначе, какъ съ молитвеннымъ благоговѣніемъ. Правда, постъ приведенного выше курсивомъ утверждѣнія, что русскій народъ „есть единственный во всемъ ми́рѣ“ образецъ истинно-христіанской жизни, Константи́нъ Сергеевичъ прибавляетъ:

„Да не подумаютъ, чтобы я считалъ исторію русскую исторіею народа святого! О, я тѣмъ бы нарушилъ и свое мнѣніе о немъ, и святыню его смиренія! Нѣть, конечно, это народъ грѣшный: безгрѣшного народа быть не можетъ“.

Но вся эта оговорка, противорѣчаша, впрочемъ, выше цитированному афоризму: „Русская исторія читается, какъ житія Святыхъ“ въ концѣ концовъ ведеть все-таки къ прославленію безпримѣрныхъ качествъ русского народа: онъ хотя и

„народъ грѣшный (безгрѣшного народа быть не можетъ), но постоянно, какъ христіанинъ, падающей и кающейся—не гордящейся грѣхами своими, не имѣющей именно тѣхъ блестящихъ суетныхъ сторонъ той славы, величания и гордости земной другихъ народовъ, которыхъ показываютъ уже не христіанскій путь. Грѣхъ былъ для русского народа всегда грѣхомъ, а не добродѣтелью; онъ въ немъ каялся, а не хвалился имъ. Начало всей его жизни, отъ которого, по слабости человѣческой, онъ въ поступкахъ и отклонялся иногда, никогда его не отвергая, не переставая къ нему стремиться и сознавая въ такомъ случаѣ себя виновнымъ,—есть Вѣра Православная. Не даромъ Русь зовется Святая Русь“ (стр. 20).

Но если духовные качества русского народа такъ высоки, если Святая Русь есть такое безпримѣрное вмѣстилище доблести и богобоязненности, то какая ей за все это уготована награда? Извѣстно вѣдь, что всякое ученіе о богоизбранныности или по крайней мѣрѣ то, съ которымъ мы знакомимся по Ветхому Завѣту, очень краснорѣчиво въ описаніи благъ и милостей, которыми Господь осыпаетъ народы, имъ излюбленные особо.

По отношенію къ ученію Константина Аксакова, казалось бы съ первого раза, что эта награда должна быть исключительно духовная. Онъ такъ часто тщательно подчеркиваетъ противоположность между специально-иравственнымъ духовнымъ складомъ народа русского и грубо-матеріальнымъ другихъ народовъ, что казалось бы, что и награду русскому народу за его смиреніе и шествование по

стезѣ добродѣтели онъ долженъ быть видѣть въ какихъ-нибудь исключительно-духовныхъ благахъ.

Къ удивленію, оно не такъ. Восторженный апологетъ русскаго смиренія, беззавѣтнаго служенія истины и безкорыстнаго духовнаго совершенствованія съ тѣмъ же паѳосомъ, съ которымъ древне-еврейскіе пророки говорили о роскошныхъ пажитяхъ и виноградникахъ Израїля, рисуетъ такую картина *матеріального* могущества Россіи:

„И Господь *возвеличилъ* смиренную Русь. Вынуждаемая своими драчливыми сосѣдами и пришельцами къ отчаянной борьбѣ, она *позависила*(!) ихъ всѣхъ одного за другимъ. Ей дался просторъ на землѣ. Въ трехъ частяхъ свѣта ея владѣнія, седьмая часть земного шара принадлежитъ ей одной. Въ ея предѣлахъ невыносимое зноное лѣто и невыносимая вѣчная зима; въ ея предѣлахъ солнце восходитъ на одномъ концѣ и заходить на другомъ въ одно и то же время. И вотъ гордая Европа, всегда презиравшая Русь, презиравшая и не понимавшая ея духовной силы, увидѣла страшное могущество силы материальной, и для нея понятной,— и сиѣдаемая непавистью, въ какомъ-то тайномъ ужасѣ, смотрѣть она на это страшное, полное жизни, тѣло, души котораго понять не можетъ“.

Всего поразительнѣе, конечно, въ этой тирадѣ то, что въ ней говорится о территоріальномъ расширеніи Россіи, которое, какъ извѣстно, главнымъ образомъ, происходило при Петрѣ и его преемникахъ, т. е. въ тотъ ненавистный Константина Сергеевича *петербургскій* періодъ, когда, по учению славянофиловъ, истинно-русскія начала были попраны и тлетворныя вліянія Запада исказили характеръ русской государственной жизни.

Остается теперь, чтобы покончить съ учениемъ Константина Аксакова о богоизбранныности русскаго народа, указать на одну изъ наиболѣе характеристичныхъ особенностей этого ученія, которую, при всемъ желаніи остаться въ предѣлахъ строгой объективности, нельзя не назвать одной изъ самыхъ темныхъ сторонъ міровоззрѣнія Константина Сергеевича. Я говорю о его фанатической ненависти къ Западу, о его ничтѣмъ не оправдываемомъ стремлѣніи для *внешнаго прославленія русскаго народа* *унижать и поносить другіе народы цивилизованнаго міра*. Хочу надѣяться, что читатели настоящаго этюда не упрекнутъ меня въ проявленіяхъ партійнаго чувства. Принадлежа къ другому

лагерю, я, все-таки, съ искреннимъ уваженіемъ комментиро-  
вать экзальтированный патріотизмъ Константина Сергѣ-  
вича, потому что видѣть его источникъ въ *обилии любви* и  
въ богатствѣ энтузиазомъ, т. е. въ такихъ чувствахъ, ко-  
торыя могутъ привести къ ложнымъ и невѣрнымъ выводамъ,  
но всегда согрѣваютъ сердце читателя возвышенностью  
своего полета и потому будятъ въ немъ хорошіе инстинкты.  
Константина Сергѣевича, напр., выставляетъ древне-ру-  
скую жизнь въ такомъ идеальномъ свѣтѣ, который имѣть  
весыма мало общаго съ трезвою правдою другихъ, болѣе  
хладнокровныхъ и менѣе одностороннихъ изслѣдователей  
нашего прошлаго. Не соглашаешься поэтому съ нимъ  
уомъ. *Сердцемъ* же чувствуешь невольную симпатію къ  
такой удивительной любви и преданности. Константина  
Аксаковъ затѣмъ неоднократно протестуетъ противъ нѣмец-  
кой духовной опеки и нѣмецкихъ взглядовъ на русскую  
жизнь. Можно, опять-таки, не соглашаться съ вредоносностью  
нѣмецкой опеки и указать на длиннѣйший рядъ явлений рус-  
ской духовной жизни, когда нѣмцы и русскіе, воспитанные  
на нѣмецкихъ воззрѣніяхъ, являлись истинными благодѣт-  
лями русскаго народа, разсѣявая мракъ окружавшаго его  
невѣжества и внося блага духовнаго совершенства въ гру-  
бость первобытныхъ нравовъ. Но, все-таки, стремленіе къ са-  
мостоятельности и нежеланіе быть подъ опекою—чувствия  
самыхъ законныхъ, и не имѣть никто права ставить ихъ  
кому бы то ни было въ укорь. Наконецъ, можно даже  
простить Константину Сергѣевичу его провозглашеніе идеи  
русской богоизбраннысти, пока она поконится только на отысканіи  
у русскаго народа совершенно безпримѣрныхъ добро-  
дѣтелей. Это идея, конечно, совершенно нелѣпая, потому что  
всѣ люди и народы равны передъ Богомъ, и только младен-  
чествующая мысль можетъ серьезно предаваться подобнымъ  
наивнымъ иллюзіямъ. Несомнѣнно, шокируетъ также грубое  
хвастовство величиною и силою „повалившаго“ своихъ супро-  
тивниковъ кулака русскаго, хвастовство—болѣе достойное охот-  
ничьихъ молодцовъ, нежели такого возвышенного идеалиста,  
какъ Константина Сергѣевича. И все-таки, въ общемъ,  
идея русской богоизбраннысти не оскорбляетъ нравственнаго  
чувства, потому что источникъ ея, повторю, есть *обилие*

любви, переполняющей духовное существо Константина Аксакова, т. е. такой источникъ, о которомъ, всегда можно сказать: лучше большие, чѣмъ менѣе.

Но дѣло принимаетъ совсѣмъ другую окраску, разъ Аксаковъ изъ человѣка, защищающаго величие своей родины отъ высокомѣрнаго презрѣнія къ ней западскихъ и домашнихъ европейцевъ, самъ превращается въ фанатического ругателя всего европейскаго. Тутъ уже, значитъ, не любовь является подкладкою, а *вражда*, и вражда, къ тому же, совершенно, ненужная для тѣхъ цѣлей, къ которымъ стремится Константинъ Аксаковъ. Если ему хочется непремѣнно доказать, что „Россія—земля совершенно самобытная, вовсе не похожая на европейскія государства и страны“ и что „очень ошибаются тѣ, которые прилагаютъ къ ней европейскія воззрѣнія и на основаніи ихъ судятъ о ней“ (стр. 7), то для доказательства этой мысли было бы достаточно установить *разницу* между Россіею и Европою и ихъ взаимную противоположность, а не было рѣшительно никакой надобности поносить Европу. Зачѣмъ было затемнять такое свѣтлое и возвышенное чувство, какъ патріотизмъ, человѣко-ненавистничествомъ, зачѣмъ было поддаваться такому нехристіанскому побужденію, какъ унижение ближняго?

А сильно и стремительно было это побужденіе. Просто до смѣшиного доходила у Константина Аксакова вражда къ Западу. Чего, чего только не приписывалъ онъ ему!

Ужасно прошлое Запада:

„Въ основаніи государства западнаго лежало: *насилие, рабство и вражда*“ (курсаны К. А.) и „если тамъ и была типшина, какъ явленіе, въ основѣ все-таки лежала вражда“ (стр. 8). Въ то время, какъ „благодать сошла на Русь и Православная Вѣра была принята ею, Западъ пошелъ по дорогѣ католицизма. Страшно въ такомъ дѣлѣ говорить свое мнѣніе, но если мы не ошибаемся, то скажемъ, что по заслугамъ дался и истинный, дался и ложный путь Вѣры: первый—Руси, второй—Западу“ (стр. 9). Пошли по ложному пути, Западъ является „страшныя преступленія, превосходящее всякую мѣру звѣрство, предательство, всевозможныя гнусности“. Правда, Константинъ Сергеевичъ не можетъ отрицать того, что и въ „русской исторіи встрѣчаются преступленія,

но они лишены этого страшного, нечеловѣческаго характера по которому человѣкъ становится въ разрядъ животныхъ, какъ новый, совершиеннѣйший видъ его, и которымъ отличаются кровавыя дѣла Запада" (стр. 22).

Немногимъ лучше прошлаго Запада его настоящее:

"Западъ весь проникнутъ ложью внутренней, фразой, и эффектомъ онъ постоянно хлопочетъ о красивой поэзіи, картинномъ положеніи. Картина для него все. Покуда онъ былъ молодъ, картина еще была хороша и красива сама по себѣ; красивъ былъ рыцарь въ жѣлѣзныхъ латахъ, красивъ былъ хитрый, безжалостный монахъ; красивы были художники XV столѣтія. Но когда молодость его прошла, когда исчезли кипящія силы жизни, и осталась одна только картина, одна фраза, даже безъ пылкости юношеской, тогда это становится въ высшей степени жалкимъ и—сказать ли?—*отератительнымъ явленіемъ*. Таковъ Западъ теперь въ своихъ смутахъ, безъ всякой внутренней жизни, даже безъ кипѣнія крови. Таковы теперешнія его борьбы и волненія, волненія борьбы безъ малѣйшаго убѣжденія, безъ малѣйшей искренности, безъ малѣйшаго увлеченія, совершающіяся въ страшной апатіи, вялыхъ, несмотря на напряженность. Скука и безучастіе, отсутствіе энергіи во всѣхъ кровопролитіяхъ и смятеніяхъ. Старческія мечты Запада, мечты, лишенныя своей единственной правды, кипѣнія молодой крови, мечты, которыми разгорячали онъ себя такъ долгое время, подействовали на него, какъ раздражительное средство, и привели въ механическое движение его ослабшій организмъ. Если нѣть духа, то нѣтъ и истинной жизни" (т. I, стр. 22).

И такъ-таки ни *единой свѣтлой точки* не усматриваетъ грозный обвинитель въ духовной и государственной жизни „одряхлѣвшаго“ Запада. Что тутъ, впрочемъ, эта „дряхлость“ ни при чёмъ, видно изъ того, что и молодая Америка весьма мало симпатична напему пламенному ненавистнику всего непохожаго на Россію и русскіе порядки. У него даже хватаетъ ослѣщенія усматривать неполноту въ американской гражданской свободѣ:

"Въ Соединенныхъ Штатахъ вмѣсто живого народа государственная машина изъ людей. Отношенія тамъ становятся политическими: миръ и спокойствіе основаны не на любви, а на взаимной выгодѣ. Какъ ни блестящъ вицѣній порядокъ, но блескъ его наружный; какъ ни строенъ онъ кажется, но этострой машины, какъ ни кажется онъ свободенъ, но это свобода—личный взаимно-ограниченный произволъ. *Нѣть, свобода не тамъ*" (стр. 58).

Гдѣ же истинная свобода?—полюбопытствуешь читатель.— Въ Россіи,—совершенно серьезно отвѣтываетъ Аксаковъ,—„идѣ же духъ Господень“.

Нужно ли серьезно доказывать *умственную* несостоятельность этого удивительного отношения ко всему западному? Неужели кто-либо поверьтить Аксакову, хотя бы на единую минуту, что ничего, кроме „нечеловеческого зврства“ въ прошломъ и „лжи“ въ настоящемъ, нельзя усмотрѣть въ ходѣ европейской исторіи, неужели „ложью“ объясняется реформація, о которой почему-то ни единымъ словомъ не упоминаетъ нашъ прокуроръ, такъ что можно подумать, что все человѣчество исповѣдуетъ католичество? Неужели въ Шиллеровскомъ „Донъ-Карлосѣ“ можно видѣть однѣ только, „старческія мечты, лишенныя кипѣнія молодой крови“, неужели „безъ малѣйшей искренности“ дѣйствовали пуритане, ушедши въ Новую Англію, неужели отъ „скучи и безучастия“ горѣли на кострахъ и сгнивали въ тюрьмахъ Джордано Бруно, Галилей, итальянскіе патріоты и сотни имъ подобныхъ мучениковъ стремленія къ истинѣ, нравственному совершенству и духовной красотѣ? Неужели, наконецъ, „ослабшій организмъ“ можетъ породить такое могучее литературное, научное и художественное движение, которымъ ознаменована европейская духовная жизнь послѣднихъ трехъ столѣтій, и неужели этого движения долженъ чураться всякий „настоящій“ русскій человѣкъ?

Нѣть, впрочемъ, никакой охоты продолжать опроверженіе и серьезно доказывать умственную несостоятельность совершенно непонятнаго по своей парадоксальности отношения Константина Аксакова къ Западу. Это отношеніе достаточно дискредитируетъ уже одна огульность его и исключительное употребленіе чернѣйшей краски, благодаря чему, вмѣсто картины, съ разнообразными деталями, получается сплошное мрачное пятно, ни о чёмъ не дающее понятія.

Но мнѣ сейчасъ было бы интересно подчеркнуть вотъ какія двѣ вещи: во-первыхъ, изолированность фанатической ненависти Константина Сергеевича даже къ средѣ славянофильства и, во-вторыхъ, *нравственную несостоятельность ея*.

Съ обычною своею необузданностью, съ обычною односторонностью своей незнающей удержку, какъ въ симпатіяхъ такъ и въ антипатіяхъ страстной натуры, Константинъ Аксаковъ, не влюбивъ Западъ, быстро дошелъ до Геркулесовыхъ столбовъ национальныхъ увлеченій. Дурное отношеніе къ Западу

не есть что-либо специально Константину Аксакову принадлежащее. Но никто изъ другихъ славянофиловъ не доходилъ, все-таки, до такихъ крайностей, какъ Константина Аксакова. Современное „гніеніе“ Запада не мѣшало имъ, однако, признавать по крайней мѣрѣ огромныя историческія заслуги нерусской Европы предь человѣчествомъ, и Хомяковъ, напр., говорить о Западѣ не иначе, какъ о

.... странѣ святыхъ чудесъ.

А затѣмъ, что касается даже современного состоянія европейскихъ народовъ, то, усматривая въ немъ начала разложения, большинство славянофиловъ не думало, однако, отрицать значеніе такихъ, напр., свѣтлыхъ явлений, какъ быстрый прогрессъ европейской науки и высокій уровень европейской литературы и искусства. Конечно, нельзя сомнѣваться ни единой минуты въ томъ, что если бы къ Константину Аксакову приступить съ категорическимъ запросомъ относительно европейской науки, онъ бы не причислилъ ее къ „отвратительнымъ зѣблищамъ“. Но тѣмъ непростительнѣе, значить, огульность его характеристики.

Однако же мы все еще стоимъ на почвѣ фактической невѣрности характеристики Запада, сдѣланной Константиномъ Аксаковымъ, т. е. на умственной несостоятельности ея, слишкомъ уже очевидной. Между тѣмъ гораздо любопытнѣе подчеркнуть нравственную несостоятельность фанатической ненависти Константина Сергеевича, несостоятельность которой не отпадаетъ, *если даже стать на славянофильскую точку зѣнія*. Чѣмъ, въ самомъ дѣлѣ, болѣе всего гордится славянофильство? Если при столкновеніи съ вопросами практической жизни славянофилы сплошь да рядомъ становились за сильнаго противъ слабаго, сплошь да рядомъ симпатизировали тенденціямъ застоя и сплошь да рядомъ оказывали поддержку идеямъ человѣконенавистничества, то все-таки въ теоріи славянофильство всегда было искренно воодушевлено совсѣмъ иными стремленіями и убѣжденно писало на своеѣ знамени: миръ, любовь, гармонія. Мы въ этомъ могли убѣдиться изъ ознакомленія и съ идеями Константина Сергеевича. Его стремленія превратить древнюю Русь въ какую-то Аркадію, гдѣ „въ основаніи лежали: добровольность, свобода и миръ“

(курсивы автора), его пламенная любовь къ общенному на-  
чалу, его преклоненіе предъ русскимъ смиреніемъ и кротостью,  
все это можетъ быть недостаточно фактически обосновано,  
но все это проникнуто свѣтомъ духовной красоты и согрѣто  
самыми лучшими намѣреніями. Но въ томъ, что говорить  
Константинъ Аксаковъ о Западѣ, и добрыхъ намѣреній нѣть.  
Слова его дышутъ только ненавистью и слѣпымъ озлобле-  
ніемъ, они проникнуты только враждою и безцѣльнымъ униже-  
ніемъ всего, что не есть русское. И вотъ почему я при-  
даю значеніе своему замѣчанію. Оно оттѣняетъ крупное  
противорѣчіе въ системѣ міровоззрѣнія рассматриваемаго  
нами писателя и выясняетъ въ немъ детали, столь же смѣш-  
ные, сколько и антипатичныя. Единственнымъ смягчающимъ  
обстоятельствомъ въ данномъ случаѣ можетъ служить то, что  
страстныя филиппики Константина Сергеевича писались въ  
самый разгаръ партійной полемики. Въ тѣ времена националь-  
ное самосознаніе было такъ мало развито и въ обществѣ, и въ  
литературѣ, полное поклоненіе Западу въ ущербъ всему  
русскому было такимъ общимъ явленіемъ, что было дѣстви-  
тельно съ чего озлобиться и изъ чувства протеста начать  
гнуть въ диаметрально-противоположную сторону.

XVI.

#### **Непосредственно-публицистическая деятельность.**

Въ главѣ VI быть изложенъ совершенно обосабленно стоящій въ литературной биографіи Константина Аксакова эпизодъ сотрудничества въ „Мольѣ“ 1857 г. Теперь закончимъ напись обзора литературной дѣятельности Константина Аксакова нѣсколькими замѣчаніями о другихъ *непосредственно*-публицистическихъ сторонахъ ея. Подчеркиваю слово „*непосредственно*“, потому что, какъ я уже имѣть случай не одинъ разъ сказать, все, что когда-либо писать Константина Сергеевича, представляетъ собою и по намѣрѣніямъ, и по способу исполненія публицистику чистѣйшей воды. Говорить ли онъ о призваніи Барятинъ, характеризуетъ ли подвиги Ильи Муромца, объясняетъ ли значеніе суфікса *s*, знакомить ли читателя съ языкомъ Ломоносова, обозрѣваетъ ли современную литературу, наконецъ, сочиняетъ ли стихи и драмы — все это онъ дѣлаетъ только затѣмъ, чтобы обосновать тезисы своей общественно-политической программы. И желаніе это настолько ясно сквозить въ каждой строкѣ, что вы изъ чтенія по виду „историческихъ“, „критическихъ“, „филологическихъ“ и „беллетристическихъ“ произведеній Константина Аксакова выносите совершенно определенное представление объ общественно-политическихъ идеалахъ автора. Вотъ почему изъ *непосредственно*-публицистическихъ страницъ сочиненій Константина Сергеевича, т. е. тѣхъ, где не намеками и общимъ смысломъ, а прямо и определенно авторъ говорить о своихъ общественныхъ идеалахъ, мы не

узнаемъ ничего новаго. И если я нѣсколько остановлюсь на этихъ непосредственно-публицистическихъ сторонахъ литературной дѣятельности Константина Аксакова, то опять-таки только затѣмъ, чтобы рельефнѣе формулировать основные пункты его общественно-политического міросозерцанія.

Во главѣ ихъ, конечно, слѣдуетъ поставить требование *«самобытности»*.

Лучшая страна въ мірѣ, обитаемая единственнымъ во всемъ свѣтѣ истинно-христіанскимъ народомъ, исповѣдующая лучшую религию, имѣющая лучшій образъ правленія, само собою разумѣется, не должна быть рассматриваема съ точки зрењія *«европейскихъ шаблоновъ»*. Все въ ней, не исключая даже такой нейтральной области, какъ наука, должно быть строго-самобытно, должно въ точности соотвѣтствовать тѣмъ исконнымъ началамъ русскаго духа, которыя, по мнѣнію Аксакова, пронесены русскимъ народомъ во всей ихъ неприкосновенности чрезъ все тысячелѣтнее историческое существование его.

„Надо воротиться къ началамъ родной земли, путь Запада ложень, постыдно подражаніе ему. Русскимъ надо быть Русскими, идти путемъ Русскимъ, путемъ вѣры, смиренія, жизни внутренней, надо возвратить самый образъ жизни, во всѣхъ его подробностяхъ, на началахъ этихъ основанный, и слѣдовательно, надо освободиться *совершенно отъ Запада, какъ отъ его началъ, такъ и отъ направлениія, отъ образа жизни, отъ языка, отъ одежды, отъ привычекъ, обычаевъ его*, именно отъ этого свѣта и свѣтскости, вошедшихъ къ намъ, однимъ словомъ, отъ *всего, что запечатлѣно печатюю его духа, что вытекаетъ даже какъ малыйшій результатъ изъ его направлениія*“ (т. I, стр. 24).

Вотъ оно такъ! самобытность, такъ уже самобытность. Коль рубить, такъ ужъ съ плеча.

Но приглядимся еще разъ, чѣмъ обусловливаетъ Константина Аксаковъ свое требование самобытности. Такое требование самобытности можетъ вытекать изъ очень различныхъ источниковъ. Навѣстно, напр., что есть возврѣніе, всего менѣе восторгающееся русскими порядками, но полагающее, вмѣстѣ съ тѣмъ, что мы еще не *«доросли»* до Европы и потому должны пробоваться своими, ломорощенными общественно-политическими учрежденіями. Есть затѣмъ возврѣніе, полагающее, что на свѣтѣ нѣть ничего абсолютнаго, и въ томъ числѣ нѣть ни абсолютнно-хорошаго, ни абсолютнно-дурнаго

общественного устройства, а есть просто нормы, *соответствующія* или *несоответствующія* культурному состоянию того или другого народа и потому желательные или нежелательные. Такое воззрение тоже требует самобытности, но, руководствуясь принципомъ: что русскому здорово, то и немцу смерть, *и наоборотъ*.

Ни подъ одно изъ этихъ воззрений не могутъ быть подвѣдены требования Константина Аксакова. Онъ, далеко не потому только добивается торжества русскихъ началь, что они *свои, родныя*, а потому что они *самыя лучшія на свѣтѣ*. И вотъ почему для него не существует простого констатированія историческихъ явлений. Такъ, мы уже знаемъ, что Константина Сергеевича со свойственною ему настойчивостью указываетъ на исконное нежеланіе русскаго народа государствовать. Всякій другой историкъ на его мѣстѣ ограничился бы этимъ констатированіемъ. Историкъ-цублицѣсть, пожалуй, прибавилъ бы къ такому констатированію, что согласно этой чертѣ русскаго народнаго характера должна складываться и современная русская государственная жизнь. Но напомнимъ апостолу русской богоизбранности нужно не констатированіе, а непремѣнно апоеозъ, и вотъ почему онъ, вслѣдъ за выясненіемъ русскаго отношенія къ государствованію, рѣзко осуждаетъ неподобающіе на него государственные порядки Запада. На Западѣ,—говорить онъ,—

„вѣщіе начало, законъ, сперва жестокій, почти непремѣнно дѣйствующій при завоеваніи и порабощеніи, долженъ быть усиленъ, развиться и одинъ стать высоко въ глазахъ человѣка. Такъ и случилось. Вопросъ жизни и истории былъ рѣшенъ для западныхъ народовъ: государство, учрежденіе (институтъ), централизация, власть вѣшняя стала ихъ идеаломъ; народъ (земля) отказался отъ внутренняго, свободнаго, нравственнаго общественнаго начала и вкусили плоды начала вѣшняго, государственнаго; народъ (земля) захотѣлъ государственной власти. Отсюда—революціи, смуты и перевороты, отсюда—насильственный вѣшний путь къ насильственному вѣшнему порядку вещей. Нароль на Западѣ пленяетъ идеаломъ государства. Республика есть попытка народа быть самому государствомъ, перейти ему всему въ государство; следовательно, попытка бросить совершенно нравственный, свободный путь, путь внутренней правды, и стать на путь вѣшний, государственный. Самое крайнее выраженіе такой попытки, самое *гибельное* (sic) государствованіе народа видимъ въ Америкѣ, въ Соединенныхъ Штатахъ“ (т. I, стр. 57).

Сопровождаемое подобнымъ отношениемъ ко всему нерусскому, требование самобытности уже не есть простое желание устраивать свою жизнь по собственному усмотрѣнію. Тутъ уже деспотическое желаніе подчинить русскому міросозерцанію міросозерцанія всѣхъ другихъ европейскихъ народовъ и объявить истину исключительною монополіею русского духа. Тутъ уже не русскій патріотизмъ, а панруссизмъ, стремящійся устроить все человѣчество по своему образцу.

Не есть ли, напр., доведенный до крайнихъ предѣловъ панруссизмъ другой пунктъ общественно-политической программы Константина Аксакова — его нелюбовь къ писанной конституції? Только потому, что историческая наслѣдованія выработали въ немъ тотъ взглядъ на роль Земскихъ Соборовъ, который намъ извѣстенъ изъ предыдущаго изложенія Аксаковъ объявляеть противоравственнымъ учрежденіемъ всѣ существующіе на Западѣ договоры между властью и народомъ.

„Намъ скажутъ“, восклицаетъ онъ, „или народъ или власть могутъ измѣнить другъ другу. Гарантія нужна! — Гарантія не нужна! Гарантія есть зло. Гдѣ нужна она, тамъ нѣть добра, пусть лучше разрушится жизнь, въ которой нѣть добра, чѣмъ стоять съ помощью зла“ (стр. 9).

Можно было бы признать извѣстную логическую стройность за этой наивѣтѣшней политической маниловиціей, если бы она была редактирована такъ: „Въ Россіи не нужны гарантіи“. Въ ней заключался бы отвѣтъ русскимъ конституціоналистамъ, она носила бы характеръ опроверженія, основанного на провѣркѣ европейскихъ нормъ данными русской дѣятельности. Но теперь Константина Аксаковъ дѣлаетъ какъ разъ то же самое, противъ чего борется. Конституціоналисты считаютъ писанную хартію *всеобщей панацеей*, годной для всѣхъ странъ и народовъ, а Константина Сергеевича только всего и дѣлаетъ, что одну *всеобщую* панацею замѣняетъ другою, съ тою, однако, весьма существенною разницѣю, что противники его основываютъ свои стремленія на опыте *многихъ* европейскихъ народовъ, а онъ выводить свою государственную теорію изъ наблюдений надъ жизнью *одного* народа.

Теоріи, противъ которыхъ борется Константина Аксаковъ, отнюдь не считаютъ свои положенія идеаломъ человѣческаго

благоустройства. Онъ только считаютъ ихъ лучшимъ изъ золь, обусловленныхъ стремлениемъ сильныхъ подчинить себѣ слабыхъ. Аксаковъ же не знаетъ, какъ достаточно восторгаться русскимъ соотношениемъ государственныхъ элементовъ. Такимъ образомъ, мы должны прійти къ тому же формулированію публицистическихъ стремлений Конст. Аксакова, къ которому привело насть изученіе историческихъ его произведеній: русскій народъ есть носитель специальнѣо ему, одному присущихъ высокихъ доблестей, которыхъ отводятъ ему особое, высокое и безпримѣрное положеніе во всемирной исторіи, онъ—народъ богоизбранный, и горе тѣмъ народамъ, которые не хотятъ заимствовать у него начала духовной и государственной жизни. Ихъ ждетъ гибель.

---

Но если все это такъ, если Россія такъ безамѣрно возвышается надъ гнилымъ Западомъ, то какія проклятія достаточно сильны для тѣхъ „отступниковъ“, для тѣхъ „рабовъ“ европейского просвѣщенія, которые въ умственной стѣпотѣ своей преклонились предъ мишурнымъ блескомъ западной цивилизації?

Съ которыхъ порь идеть это отступничество?

Съ реформъ Петра и основанія Петербурга, отодвинувшаго на второй планъ настоящую столицу Россіи—Москву. Удивительно ли, что то и другое одинаково ненавистны Константину Сергеевичу?

Мы уже знаемъ, что отношеніе Аксакова къ реформамъ Петра пережило два діаметрально-противоположныхъ другъ другу фазиса. Въ первомъ изъ нихъ онъ посвятилъ все обширное предисловіе диссертациі о Ломоносовѣ прославленію энергического стремленія великаго царя „освободить Россію отъ оковъ исключительной національности“, во второмъ фазисѣ онъ, со свойственною ему прямотою, заявлять, что „напрасно“ занимался такимъ прославленіемъ (т. I., стр. 42).

Собственно говоря, взгляды Константина Аксакова на реформы Петра должны были быть разсмотрѣны нами въ обзорѣ историческихъ работъ его. Но дѣло въ томъ, что эти взгляды такъ тѣсно переплетаются съ отношеніемъ

нашего писателя къ современной ему жизни, что скорѣе должны быть причислены къ непосредственной публицистикѣ. Аксаковъ всего менѣе считаетъ Петровскую эпоху законченною. Для него она все еще продолжается, онъ съ горечью видитъ что „обезьяничаніе“ въ полномъ ходу, что „измѣна“ русскимъ началамъ не прекратилась, и потому-то петровскія реформы для него не тема для исторического изслѣдованія, а предметъ для негодованія чисто-публицистического.

Къ тому же Константина Аксакова въ историческихъ сочиненіяхъ своихъ настолько отрывочно и эпизодически говорилъ о Петрѣ, что наиболѣе цѣльнымъ выражение его *отрицательныхъ мнѣній* о дѣятельности великаго преобразователя можетъ считаться *стихотвореніе „Петру“*, напечатанное впервые въ „Руси“ 1881 г. Стихотвореніе всего менѣе блещетъ поэтическими достоинствами, но зато оно представляеть собою какъ бы сводъ славянофильскихъ воззрѣній на реформу Петра и связанныго съ ними москофильства. Приводимъ его цѣлкомъ:

Великій геній, мужъ кровавый  
Вдали на рубежѣ родномъ,  
Стоишь ты въ блескѣ страшной славы,  
Съ окровавленнымъ топоромъ.  
Съ великой мыслью просвѣщенъя  
Въ своей отчизнѣ ты возникъ  
И страшныя подъялья мученія  
И казни страшныя воздвигъ.  
Во имя пользы и науки,  
Добытой изъ страны чужой,  
Не разъ твои могучи руки  
Багрились кровью родной.  
Ты думалъ,—быстрою взора,  
Предупреждая времена,—  
Что, кровью политыя, скоро  
Взойдутъ науки сѣмена!  
И вкругъ она лилась обильно,  
И воплямъ Руси не внемля,  
Упорство ты сломилъ, о, сильный!  
И смокла Русская земля.  
И по назначеному слѣду,  
Куда ты ей сказалъ: „Иди“!  
Она пошла. Ты могъ побѣду

Торжествовать, но погоди!  
Ты много снесъ головъ стрѣлецкихъ,  
Ты много крѣпкихъ руку сломилъ,  
Сердѣцъ ты много молодецкихъ  
Ударомъ смерти поразилъ.  
Но въ часть невагоды удалися,  
Скрывъ право вѣчное свое,  
Народа духъ живеть, таяся,  
Храня родное бытіе.  
И ждеть завѣтнаго онъ часа,  
И вожделѣній часъ придетъ,  
И снова звукъ родного гласа  
Народа волнъ собереть;  
И снова вспыхнетъ взоръ отважный  
И вновь подвигнется рука,  
Порывъ младой и помыслъ важный  
Взволнуетъ духъ, нѣмой пока.  
Тогда къ желанному предѣлу  
Борьба достигнетъ, и конецъ  
Положитъ начатому дѣлу  
Достойный, истинный вѣнецъ!  
Могучій мужъ, желалъ ты блага,  
Ты мысль великую питалъ,  
Въ тебѣ и сила, и отвага,  
И духъ великій обиталь.  
Но, истребляя зло въ отчизнѣ,  
Ты всю отчизну оскорбилъ;  
Гоня пороки русской жизни,  
Ты жизнь бежжалостно давилъ.  
На самобытный трудъ стремленье,  
Не вызывать народъ ты свой,  
Въ его не вѣрилъ убѣждены  
И весь закрыть его собой.  
Вся Русь, вся жизнь ея досель,  
Тобою праэрѣя была,  
И на твоемъ великому дѣлу  
Печать проклятія легла.  
Отринулъ ты Москву жестоко  
И отъ народа ты вдали  
Построилъ городъ одинокій:—  
Вы вмѣстъ жить ужъ не могли!  
Ты граду даль свое названье,  
Лишь о тебѣ гласить оно,  
И—добровольное созаніе—  
На чуждомъ языкѣ дано.  
Настало время зла и горя,  
И съ чужестранною толпой

Твой градъ, пирющій у моря,  
Сталъ Руси тяжко грозой.  
Онъ сокъ народа истощаетъ,  
Названный именемъ твоимъ,  
Объ русской онъ земль не знаетъ  
И духомъ движется чужимъ.  
Грѣхъ Руси даль тебъ побѣду,  
И Русь ты смягъ. Но не всегда  
По твоему ей влечься слѣду  
Путемъ блестящаго стыда.  
Такъ, будеть время, Русь воспрянеть,  
Разсѣть долголѣтній сонъ  
И на неправду дружно грянеть—  
Въ неправдѣ подвигъ твой свершень!  
Народный духъ подниметъ крылья,  
Отступниковъ обниметъ страхъ,  
Созданья лжи, дѣла насилья  
Падуть, разсыплются во прахъ!  
И вновь оправданный судьбою  
Возстанетъ къ жизни твой народъ,  
Съ своею древнею Москвою—  
И жизнь свободная приметъ ходъ.  
Все отпадеть, что было живо,  
Любовь всѣ узы сокрушить,  
Отчизна зацѣлеть счастливо—  
И твой народъ тебя простить.

Предвозвѣщаемая второю частью стихотворенія побѣда славянофильскихъ принциповъ составляетъ одну изъ любимыхъ темъ Константина Аксакова, къ которой онъ возвращается весьма часто. Онь увѣренъ въ грядущемъ торжествѣ своей партии и потому всегда говорить о ней въ мажорномъ тонѣ.

„Наступаетъ борьба“, резюмируетъ онъ свой обзоръ „петербургскаго“ периода русской исторіи. „Москва начинаетъ и продолжаетъ дѣло нравственнаго освобожденія, поднимаетъ вновь знамя русской самобытности, русской мысли. Въ наше время среди верхнихъ, отъ народа оторванныхъ классовъ пробуждается сознаніе ложности направленія иностранного и стыдъ обезьянства. Русская мысль начинаетъ освобождаться изъ плѣна; вся дѣятельность ея въ Москвѣ и изъ Москвы, и окончаніе долгаго испытанія, а вмѣсть и торжество, и возникновеніе истинной Руси и Москвы, кажется приближается“ (стр. 49).

Къ стремлениямъ же противниковъ Константина Сергеевича, какъ всякий фанатикъ, конечно, ничего, кромъ глубочайшей антипатіи, чувствовать не можетъ и, на каждомъ шагу расточая своей партіи самые лестные эпитеты, не находить ни одного привѣтливаго слова для западничества. Соотношеніе славянофильства и западничества ему рисуется въ такомъ видѣ:

„Надъ русскимъ простымъ народомъ и надъ его священнымъ міромъ и тишиною, въ обществѣ, Русскимъ начальамъ измѣнившемъ, идеть вражда и борются два направления. Одно силится поддержать свою неправду—измѣны всему Русскому и покорности западнымъ уставамъ. Другое искренно жаждеть возстановленія Русскихъ святыхъ началь Вѣры, Русского основного образа жизни, всего Русского духа, Русского ума и христіанскихъ добродѣтелей, по крайней мѣрѣ въ общемъ дѣлѣ. Съ одной стороны: всякое упорство и желаніе, поблажающее удобной лѣнѣ, оставаться безъ труда подражателями Запада, пользоваться всѣми его политическими благами, повторять за нимъ слова и дѣйствія и не знать труда самостоятельной жизни; съ другой стороны: добрая надежда и дѣятельное стремленіе возвратиться къ святымъ начальамъ Русской жизни. Нужно ли говорить, что такое стремленіе есть право и законное и спасительное?

Зародилось это стремленіе въ Москвѣ. Зародилось не случайно. Москва, по мнѣнию славянофиловъ вообще и Константина Аксакова въ частности, имѣть своимъ провиденціальнымъ назначениемъ быть средоточiemъ русского духа. И какъ въ быылая времена не одинъ разъ первопрестольная спасала Россію отъ разныхъ иноземныхъ нашествій, такъ и въ наши дни она выдвинула славянофильство, которое раскрыло „верхнимъ классамъ“ тайники русского духа. Раскрыло именно потому что въ Москвѣ эти тайники доступнѣ, явственнѣ, неотразимѣе дѣйствуютъ чѣмъ въ „Санкт-петербургѣ“...

Московофильство Константина Аксакова должно быть названо однимъ изъ главныхъ устоевъ его міровоззрѣнія, одно изъ существеннѣйшихъ деталей его желанія порвать всякия связи съ послѣпетровскою Россіей. Всего цѣльнѣе это московофильство, въ видѣ отдѣльныхъ фразъ и изречений разбросанное по всѣмъ писаніямъ Константина Сергеевича, выразилось въ статейкѣ „Семисотлѣтіе Москвы“, изъ которой и приводимъ наиболѣе существенные выдержки:

„Москва, безъ сомнінія, выразила въ себѣ общее всерусское значеніе, и для настъ, во всякомъ случаѣ, является она представительницей общей Русской жизни, жизни всей Русской земли, жизни земской (собственно народной), говоря словомъ, такъ часто встречающимся въ лѣтописяхъ и грамотахъ, со временемъ возвышенія Москвы на степень Русской столицы. Были ли довольны князья, или нѣтъ—это по крайней мѣрѣ вопросъ; но народъ быть доволенъ. Москва выражала собою не власть надъ Русскою землею, но власть Русской земли; и если Москва принимала участіе въ войнахъ и не рѣдко коварныхъ поступкахъ удѣльного времени, если она виновата въ томъ, въ чёмъ былъ виноватъ каждый городъ Русскій,—то она загладила вину свою, хранила святую Русь и терпя за нее, выражая въ себѣ общую всерусскую жизнь. Успѣхъ, ей одной изъ всѣхъ городовъ принадлежащий, основывается на ея общемъ значеніи.

Въ Москвѣ раздался голосъ Русской земли, зовущій подняться противъ Татаръ; въ нее стеклось и въ неї собралось ополченіе изъ многихъ городовъ Русскихъ; изъ неї пошло оно на Куликово поле. Съ тѣхъ поръ она всегда привлекала на себя удары врага, и самая лютая доля бѣдствій доставалась ей на честь; ей назначалось страданіе за Русскую землю—самое важное неоспоримое ея право и свидѣтельство, что она истинная столица Русская.—Въ нее, при Иоаннѣ IV, созвана была первая Земская дума изъ городовъ и вообще изъ земли Русской; Иоаннъ IV, свирѣпый къ боярамъ, но милостивый къ народу и соблюдавшій права его, хранилъ областную жизнь; тому доказательствомъ являются многія его грамоты, напечатанныя въ драгоценныхъ актахъ, изданныхъ Археографическою Комиссіею. Въ свирѣпостяхъ является его личность; въ этомъ же благомъ дѣйствіи духъ Москвы и Руси, что одно. Борисъ, покоряя Сибирь, въ грамотѣ своей писалъ, чтобы спрашивать Остяковъ: какъ имъ лучше. Но всего важнѣе, важнѣе всѣхъ возможныхъ доказательствъ и взысканій, сильнѣе всѣхъ сужденій и теорій—голосъ народа, голосъ Божій, который призналъ Москву своею столицею, назвалъ ее матерью Русскихъ городовъ, корнемъ Русскаго царства и возвѣстилъ къ ней народную любовь.

Когда Дмитрій Самозванецъ взошелъ на престолъ и хотѣлъ перемѣнить русскую вѣру, хотѣлъ покрыть русскую народность, то дальновидные іезуиты советовали ему оставить Москву, уничтожить ее, какъ столицу, и основать новую столицу: безъ этого, говорили они ему, ты никакъ не успѣешь къ своимъ намѣреніямъ.

Въ эпоху междуцарствія ссыпало другъ друга на враговъ, ссыпало къ Москвѣ; тутъ-то называется она матерью городовъ русскихъ и корнемъ русского царства. Вотъ слова одной окружной грамоты: „Будьте съ нами обще за одно, противъ враговъ нашихъ и вашихъ общихъ; помните одно: только коренемъ основаніе крѣпко, то и дерево

неподвижно: только кореня не будетъ, къ чему прильпнтись! Здѣсь образъ Божія Матери, вѣчныя заступницы крестьянскія, Богородицы ея же Евангелистъ Лука написать; и великие свѣтильники и хранители Петръ, Алексѣй и Иоаннъ чудотворцы".

До Петра Великаго существовала въ Москвѣ такая перекличка стрѣльцовъ, когда вечеромъ въ 8 или 9 часовъ запирались ворота Кремлевскія:

Близъ собора Успенскаго часовой сторожъ первый начинаетъ протяжно и громогласно, какъ бы на роспѣвъ, возглашать: *Пресвятая Богородица, спаси насъ!* Затѣмъ второй въ ближнемъ притинѣ возглашаетъ: *Святые Московскіе Чудотворцы, молите Бога о насъ!* Потомъ 3-й: *Святой Николай Чудотворецъ, моли Бога о насъ!* Потомъ 4-й: *Всѣ Святые, молите Бога о насъ!* 5-й: *Славенъ городъ Москва!* 6-й: *Славенъ городъ Киевъ!* 7-й: *Славенъ городъ Владимиръ!* 8-й: *Славенъ городъ Суздаль!* и такъ поименуютъ: Ростовъ, Ярославль, Смоленскъ и проч.

Многозначительное свидѣтельство! Въ этой перекличкѣ раздается голосъ Русской земли: слышишь, какъ она сама себя чувствуютъ, сама себя называетъ и сознаетъ въ городахъ своихъ, въ общемъ чувствѣ себя самой, единымъ совершеніемъ цѣлымъ. Въ атомѣ непридуманномъ народномъ голосѣ слышишь, что царствующій градъ Москва помнилъ всѣ города Русскіе, всю Русскую землю.

Но въ 1703 году была основана новая столица, городъ Санкт-петербургъ... Какой же послѣ этого удѣльь Москвы? Имѣть ли она еще прежнее значеніе? Въ Петербургъ, какъ известно, было перенесено всѣ управлѣнія... Прежде нежели станемъ отвѣтчать на нашъ вопросъ, взглянемъ на самыя события съ тѣхъ поръ, какъ Петербургъ сталъ столицею.—Спасенная, соединенная и укрепленная Москвою, Россія представляла много силъ, и съ этими силами были ведены войны и завоевывались разныя страны; но вотъ чрезъ "столѣtie снова собралась гроза, неожиданная, невѣроятная. Съ Запада Наполеонъ и вельможи безжалостныя побѣдоносныя войска. Въ эту минуту бѣдъ, когда все смущалось предъ страшною грозою, въ эту минуту явилась Москва, опять со всемъ своимъ значеніемъ столицы, какъ и прежде, и приняла на себя тяжелый ударъ новѣйшаго врага. Какъ въ 1612-мъ, такъ въ 1812-мъ она вновь объялась пламенемъ; по всей Русской землѣ раздалось вновь ея имя: Москва! Москва! И на это имя снова поднялся Русскій народъ и спасъ Русскую землю.—Такое явленіе обнаружило внутри-сокровенное и, кажется, навсегда утвердило значеніе Москвы, вѣчной столицы земли русской, столицы народной. Здѣсь опять встрѣчаемъ сужденіе великаго иностранца. Наполеонъ сказалъ въ разговорѣ съ Тучковымъ: "Столица ваша Москва, а не Петербургъ, который не что иное, какъ резиденція Государя".

Ясно для насъ и для всѣхъ истинно Русскихъ вѣчное значеніе Москвы. Она жива, къ ней любовь Русскаго народа, и будетъ вѣчно

живо и то и другое: бытіе ея неразлучно съ бытіемъ святой Руси. На нее крестясь смотрить крестьянинъ; сильно движетъ она и образованаго русскаго въ чужестранной одеждѣ, въ комъ пробудилось Русское народное чувство. Но болѣе всего любить и разумѣть ее народъ. Онъ называетъ ее матушкой; повторяемъ съ нимъ это слово.

Любовь къ Москвѣ есть любовь къ Русской землѣ, потому что Москва имѣть въ себѣ не мѣстное, а общее значеніе, и единство всей земли Русской.

Да здравствуетъ Москва!

XVII

## Записка 1855 года.

Только-что приведенными выдержками я могъ-бы закончить обзоръ непосредственно - публицистическихъ взглідовъ Константина Аксакова. Правда, можно было бы привести еще очень много другихъ непосредственно-публицистическихъ мѣсть разбросанныхъ по разнообразнымъ писаніямъ Константина Сергеевича. Но этого не стоить дѣлать. Мы бы уже не узнали ничего новаго. Опять поношеніе западно-европейской "лжи", опять восхваленіе русскаго пре-восходства, опять упреки интеллигенціи за "оторванность" и предозвѣщеніе грядущаго торжества славянофильства и, наконецъ, опять восторженное преклоненіе предъ современнымъ крестьянствомъ, какъ единственнымъ представителемъ "истинно-русскихъ" началь—воть къ чему сводится всѣ "лирическія отступленія" Константина Сергеевича. И не могутъ не сводиться, потому что только этими думами и было наполнено его духовное существо, только ими онъ и тѣшился себя въ своей аскетической жизни, ничего не знавшей, кроме умственныхъ интересовъ.

Я сдѣлаю исключение только для одного произведения Константина Сергеевича—его замѣчательнейшей записки „О внутреннемъ состояніи Россіи“, поданной въ 1855 г. чрезъ графа Блудова только-что вступившему тогда на престолъ Императору Александру II<sup>1)</sup>. Сдѣлаю это не потому, что записка

<sup>1)</sup> Въ печати появилась въ „Руси“ 1881 года.

ознакомлять насть съ какими-нибудь новыми сторонами міровоззрѣнїя Константина Сергеевича, а потому, что она представляетъ собою единственное его произведеніе, где съ высотъ заоблачнаго идеализма онъ спускается на почву практическихъ совѣтовъ. И высоко-поучительно прислушаться къ этимъ совѣтамъ! Ярко они выясняютъ, что въ сущности разница между „западниками“ и честными славянофилами, т. е. такими, для которыхъ славянофильство не есть красивое прикрытие самого низменнаго сервилизма, совсѣмъ не такъ велика, что, строго говоря, разница только въ теоретическомъ обоснованіи. Приглядитесь, въ самомъ дѣлѣ, къ тезисамъ записки, которую я сейчасъ приведу, отбросьте въ нихъ теоретическія посылки и вы увидите, что не только одна и та же цѣль воодушевляла и западниковъ и искреннихъ славянофиловъ—счастье и благоденствіе Россіи, но что и пути достиженій этого счастья всего менѣе расходились между собою. Подъ практическою частью записки съ величайшимъ удовольствіемъ подписались бы самые передовые изъ тогдашнихъ западниковъ; въ 1855 г., по крайней мѣрѣ, ихъ мечтанія нешли дальше. „Благодѣтельная гласность“ долго составляла единственное опредѣленное требование западническаго лагеря. А между тѣмъ Константина Аксаковъ пошелъ дальше этого требованія.

Записка раздѣляется на три части: вступленіе, изложеніе взгляда автора на сущность русскаго государственного уклада и тезисы.

Во вступленіи Константина Сергеевича объясняетъ, почему именно теперь онъ напечать нужнымъ представить свою записку:

„Государь! ты вступилъ на престолъ. Эти первыя минуты драгоцѣнны и важны не только для тебя, но и для твоихъ подданныхъ. Облекшись многовенно въ сань царскій, ты еще не привыкъ быть Царемъ. Внутренній слухъ твой имѣть всю свою свѣжесть и тонкость, внутреннее зрѣніе—всю остроту и дальновидность; скажу болѣе: и слухъ твой и зрѣніе напряжены въ эти первыя минуты царствованія сильно, чѣмъ когда-нибудь. Надѣемся, что ты постоянно будешь напрягать всѣ силы души для узнанія истины, ко благу своего народа; но всякое мгновеніе

имѣть свой смыслъ и свою честь, собственно ему подобающіе; таковы и эти первыя минуты власти царской, свѣжестъ и чуткость которыхъ не можетъ повториться.

Благое употребленіе этихъ минутъ, конечно, будетъ имѣть для тебя и, слѣдовательно, для твоихъ подданныхъ, важное значеніе".

Всегдѣ за вступленіемъ идетъ изложеніе достаточно извѣстныхъ намъ взглядовъ Константина Сергеевича на русскую государственную жизнь, на раздѣльность „земли“ и государства и т. д. Первоначально теоретизированіемъ записка и ограничивалась. Но, чувствуя всю абстрактность и практическую непригодность подобнаго прѣма, самъ сознавая, что въ его запискѣ „недостаетъ со средоточеннаго вывода, извлеченаго изъ общихъ указаний и необходимаго для надлежащей ясности и для ощущительного показанія дѣйствительнаго жизненнаго и въ этомъ смыслѣ практическаго ихъ значенія“, Константинъ Сергеевичъ представилъ дополненіе къ запискѣ, которое заканчивалось слѣдующими тезисами:

I. Русскій народъ, не имѣющій въ себѣ политического элемента, отдѣлить государство отъ себя и государствовать не хочетъ.

II. Не желая государствовать, народъ предоставляетъ правительству неограниченную власть государственную.

III. Взамѣнь того, Русскій народъ предоставляетъ себѣ нравственную свободу, свободу жизни и духа.

IV. Государственная неограниченная власть, безъ вмѣшательства въ нее народа,—можетъ быть только неограниченная монархія.

V. На основаніи такихъ началь зиждется русское гражданское устройство: правительству (необходимо монархическому)—неограниченная власть государственная, политическая; народу—полная свобода нравственная, свобода жизни и духа (мысли и слова). Единственно, что самостоятельно можетъ и долженъ предлагать беавластный народъ полно-властному правительству,—это *мнѣніе* (слѣдовательно, сила чисто нравственная), мнѣніе, которое правительство должно принять и не принять.

VI. Эти истинныя начала могутъ быть нарушены и съ той, и съ другой стороны.

VII. При нарушеніи ихъ со стороны народа, при ограниченіи власти правительства, слѣдовательно, при вмѣшательствѣ народа въ правительство, народъ прибѣгаетъ къ вѣшней принудительной силѣ, измѣняетъ своему пути внутренней духовной свободы и силы—и непремѣнно портится нравственно.

VIII. При нарушеніи этихъ началь со стороны правительства, при стѣсненіи правительствомъ въ народъ свободы нравственной, свободы

жизни и духа,—неограниченная монархія обращается въ деспотизмъ, въ правительство безиравнственное, гнетущее всѣ нравственные силы и развращающее душу народа.

IX. Начало русского гражданского устройства не были нарушены въ Россіи со стороны народа (ибо эта его коренные народныя начала), но были нарушены со стороны правительства. То есть: правительство вмѣшалось въ нравственную свободу народа, стѣснило свободу жизни и духа (мысли, слова) и перешло такимъ образомъ въ душевный деспотизмъ, гнетущій духовный міръ и человѣческое достоинство народа и, наконецъ, обозначившій упадокъ нравственныхъ силъ въ Россіи и общественнымъ развращенемъ. Впереди же этотъ деспотизмъ угрожаетъ или совершеннымъ разслабленіемъ и падежемъ Россіи, на радость враговъ ея, или же искаженiemъ русскихъ началь въ самомъ народѣ, который, не находя свободы нравственной, захотеть наконецъ свободы политической, прибѣгнетъ къ революціи и оставитъ свой истинный путь. И тотъ и другой исходъ ужасны, ибо тотъ и другой гибельны, одинъ въ материальномъ и нравственномъ, другой въ одномъ нравственномъ отношеніи.

X. Итакъ нарушение, со стороны правительства, русского гражданского устройства, похищеніе у народа нравственной его свободы однимъ словомъ: отступление правительства отъ истинныхъ русскихъ началъ—вотъ источникъ всякаго зла въ Россіи.

XI. Поправленіе дѣла, очевидно, зависить отъ правительства.

XII. Правительство наложило нравственный и жизненный гнетъ на Россію,—оно должно снять этотъ гнетъ. Правительство отступило отъ истинныхъ началъ русского гражданского устройства,—оно должно воротиться къ этимъ началамъ, а именно:

*Правительству—неограниченная власть государственная, народу—полная свобода нравственная—свобода жизни и духа. Правительству—право дѣлать и, съльдовательно, закона; народу—право мнѣнія и съльдовательно, слова.*

Вотъ единственный, существенно жизненный совѣтъ для Россіи въ настоящее время.

XIII. Но какъ же его привести въ исполненіе? Отвѣтъ на это находится въ самомъ указаніи общихъ началъ. Духъ живетъ и выражается въ словѣ. Свобода духовная или нравственная народа есть свобода слова.

XIV. Итакъ, свобода слова: вотъ что нужно Россіи, вотъ прямое приложеніе общаго начала къ дѣлу, до того съ нимъ нераздѣльное, что свобода слова есть начало (принципъ) и явленіе (фактъ).

XV. Но и не удовлетворяясь тѣмъ, что свобода слова, а потому и общественное мнѣніе, существуетъ, правительство чувствуетъ иногда нужду само вызывать общественное мнѣніе. Какимъ образомъ можетъ правительство вызвать это мнѣніе?

Древняя Русь указываетъ намъ и на дѣло самое, и на способъ. Цари наши вызывали, въ важныхъ случаяхъ, общественное мнѣніе всей Россіи, и созывали для того Земскіе соборы, на которыхъ были выбор-

ные отъ всѣхъ сословій и со всѣхъ концовъ Россіи. Такой земскій соборъ имѣть значеніе *только мнѣнія*, котораго государь можетъ принять и не принять.

Итакъ, изъ всего сказанного въ моей „Запискѣ“ и объясненнаго въ этомъ „Дополненіи“, вытекаетъ ясное, опредѣленное, прилагаемое къ дѣлу и, въ этомъ смыслѣ *практическое*, указаніе: что нужно для внутреннаго состоянія Россіи, отъ котораго зависить и виѣшнее ея состояніе.

Именно:

Полная *свобода слова* устнаго, письменнаго и печатнаго—всегда и постоянно, и *Земскій соборъ*, въ тѣхъ случаяхъ, когда правительство захочетъ спросить мнѣнія страны.

Внутренній общий союзъ жизни,—сказалъ я въ своей „Запискѣ“,—до того ослабѣлъ въ Россіи, сословія въ ней до того отдалились другъ отъ друга, вслѣдствіе полуторастолѣтней деспотической системы правительства, что Земскій соборъ въ настоящую минуту не могъ бы принести своей пользы. Я говорю: *въ настоящую минуту*, т. е. немедленно. Земскій соборъ непремѣнно полезенъ для государства и земли, и нужно пройти нѣкоторому только времени, чтобы правительство могло воспользоваться мудрымъ указаніемъ древней Руси и созвать Земскій соборъ.

Открыто возвѣщаемое общественное имѣніе—вотъ чѣмъ въ настоящую минуту можетъ быть замѣнено для правительства Земскій соборъ; но для того необходима свобода слова, которая дастъ правительству возможность созывать вскорѣ съ полною пользою для себя и народа Земскій соборъ.

XVIII.

## **Общелитературное значение Константина Аксакова.**

Закончъ свой этюдъ нѣсколькими словами о томъ значеніи, которое, какъ мнѣ представляется, имѣть Константина Аксаковъ въ русской литературѣ постѣднаго полустолѣтія. Я старался до сихъ порь очертить его роль въ славяно-фильствѣ—роль огромную, потому что всякое ученіе вербуетъ себѣ послѣдователей только энтузіазмомъ, только тою глубокою вѣрою въ непреложность своихъ принциповъ, которою дышеть каждая строчка Константина Сергѣевича. Но имѣть ли его литературная дѣятельность какое-нибудь значеніе вѣтъсной сферы славянофильства? Поучительно ли чтеніе его сочиненій для людей, которымъ думается, что полное осуществление идеаловъ Аксакова отодвигнуло бы Россію куда-то очень далеко отъ общечеловѣческаго просвѣщенія?

Мне кажется, что и для такихъ людей изученіе Константина Аксакова имѣть въ себѣ нечто высоко-привлекательное и поучительное. Не было ли бы, въ самомъ дѣлѣ, проявленіемъ крайней узости оцѣнивать писателей съ точки зрѣнія соотвѣтствія или несоотвѣтствія ихъ взглядовъ и убѣжденийъ съ нашими? Не значить ли это упираться въ стѣну, которая закрываетъ намъ широкія перспективы истинно-научной критики, не одобряющей и не порицающей, а всего только анализирующей и констатирующей? Не смѣшили вообще брать на себя задачу опредѣлять, насколько тѣ или другія убѣжденія „правильны“? Гдѣ мѣрило „правиль-

ности" и не разлетаются ли все́таки оцѣнки, какъ дымъ, какъ только вы подойтете къ нимъ съ противоположными симпатіями? Все „правильно“, что честно надумано и искренне прочувствовано, все хорошо и поучительно, въ чемъ вы видите высокій полетъ и широкій размахъ.

Да, эти два критерія не призрачны и не разлетаются, какъ дымъ, съ какой бы точки зрѣнія вы къ нимъ не подошли. Полетъ и искренность—это свойства, нравственная цѣна которыхъ останется неизмѣнной для васъ, къ какому бы вы направлению не принадлежали.

И вотъ, если съ такими критеріями подойти къ оцѣнкѣ литературной дѣятельности Константина Аксакова,—значеніе ея несомнѣнно будетъ крупное. Со стороны интелектуальной нельзя не оцѣнить высоты полета и широты размаха мысли Константина Сергѣевича. Его идеи свидѣтельствуютъ объ умѣ большомъ, онѣ безусловно значительны и открываютъ новые горизонты, можетъ быть призрачные, но безспорно обширные. Для людей, которыхъ увлекутъ взгляды Константина Аксакова, они являются новымъ откровеніемъ; для людей, которые не согласятся съ ними, они послужать могутъственнымъ ферментомъ, способнымъ напречь всѣ силы ихъ ума и привести въ движение всѣ запасы ихъ знаній: легко ли въ самомъ дѣлѣ побѣдить такого вооруженнаго съ головы до ногъ противника, какъ Константина Сергѣевича?

Но, конечно, всего крупнѣе становится значеніе Константина Аксакова, когда вы приступаете къ оцѣнкѣ чистоты его помысловъ и искренности его намѣреній. Въ этомъ отношеніи мы, кроме Бѣлинского, не найдемъ ни одного человѣка въ поколѣніи сороковыхъ годовъ, котораго можно было бы поставить съ нимъ рядомъ. Какъ намъ известно, знатчно Константина Аксакова утверждаютъ, что всякий разъ послѣ того, какъ имъ приходилось сталкиваться съ нимъ, они чувствовали себя чище и нравственнѣе. То же ощущеніе испытываетъ и каждый, изучающій Константина Аксакова по даннымъ его біографіи и литературной карьеры. Невольно умолкаетъ въ васъ тотъ желчный пессимизмъ, то горькое и обидное чувство, которое назрѣваетъ въ историкѣ литературы по мѣрѣ того, какъ онъ ближе присматривается къ разнымъ установившимся литературнымъ репутаціямъ. Если

пессимизмъ есть неизбѣжный удѣль всякаго вообще, кто ближе знакомится съ людьми, то еще горшее разочарование ждеть нась, если эти люди не кто-нибудь такие, а писатели, глашатаи добра по профессіи, пророки правды по основному назначению своему. Сколько ложныхъ репутаций, сколько мишурь вмѣсто золота, сколько фразерства вмѣсто дѣйствительныхъ убѣждений, сколько праздной болтовни и драпировки вмѣсто дѣйствительного желанія слѣдовать проповѣдываемымъ принципамъ!

Но ни къ одной изъ этихъ категорій даже близко не подходитъ Константина Аксаковъ. Въ его лицѣ мы имѣемъ дѣло съ пророкомъ настоящимъ, до мозга костей воодушевленнымъ своими идеями, съ глашатаемъ правды, понимаемой имъ, конечно, по своему, но исповѣдуемой съ такою горячею искренностью, съ такою святою чистотою, что онъ будять хорошия чувства въ каждомъ, кто приходитъ съ ними въ соприкосновеніе. И вотъ почему литературная дѣятельность Константина Аксакова не замыкается, тѣснымъ кругомъ славянофильской доктрины, а имѣть значеніе для всей русской литературы вообще. Главное назначеніе литературы—порождать честныя стремленія, а въ какихъ формахъ разъ пробужденія, стремленія впослѣдствіи проявятся—это, право, детали второстепенного значенія. Истинно-честные и добрые люди, не прикрывающіе разными принципами какія-нибудь низменныя побужденія, всегда приносятъ пользу, къ какой „партии“ они бы ни принадлежали и къ какому „толку“ они бы себя ни причисляли. Люди, искренне-желающіе добра своей родинѣ, всегда сумѣютъ столковаться и, стремясь къ нему даже съ разныхъ теоретическихъ точекъ зрѣнія, на практикѣ принуть къ однимъ и тѣмъ же вѣковѣчнымъ начальамъ, которыми живо и движется впередъ человѣчество. Чтобы не ходить далеко за примѣрами, возьмемъ редакціонныя комисіи по крестьянскому дѣлу, гдѣ честные славянофилы, въ родѣ Юрія Самарина, расходясь въ частностяхъ, въ общемъ или къ той же цѣли, что и люди „крайняго“ и западническаго „Современника“.



Ироничные слова в статье Гоголя «Покидкин-Чечинец» или  
«Мертвые души».

Мы видимо не берем за свою виновату преда схватить  
человека възлюбленного, и потому приводимъ Достоевскаго, уже  
справедливо названаго противодействии «святому», когдѣ  
попытавшися спасти именитое слово, ибо то ужъ на точку  
приблизилъ до конца, какъ говорятъ, искоби смотрѣть за это  
такому.

Мы видимо не беремъ за свою виновату слѣдующий  
страгогический приговоръ: «...ибо яко глубина  
моря глубина искривленія, чтобы не можно было съѣсть  
струю въ землю рѣки Фонтанки» честно, ибо то уже  
не воспринимаетъ форму землетрясения, ибо искусственно  
дано, а не землетрясение, и потому не должно  
быть. У землетряс., если не глубина, теремъ, земля и  
жилье, изгнанники, а не гонники съ земли, более или  
менѣ одаренныи землею, написаны.

Такъ глубина теремъ, выписанная письмомъ изъ «Мертвых  
Душахъ». Тогда, бредъ какъ, начинать виной землетрясения?  
Конечно, глубина бываетъ глубокая и съ земли, при этомъ глубина  
такъ обманчивою, чтобъ думали, и что, видимо, глубина  
заслуживаетъ земли, ибо то землетрясение, которое  
заслуживаетъ земли.

Несколько минутъ, вслѣдствіе неизбѣжности, простыи, спир-  
итисти, землетрясение, землетрясение, землетрясение, ибо, за все  
перевернутыи землетрясения, землетрясение и съ земли, при этомъ глубина  
такъ обманчивою, чтобъ думали, и что, видимо, глубина  
заслуживаетъ земли, ибо то землетрясение, которое  
заслуживаетъ земли, и что землетрясение земли, глубина

тъ відомий як «Гоголь-Чукін», який вважається писателем-сатириком, але він був і художником, і поетом. Він писав про сучасність свого часу, про соціальні проблеми та проблеми людської природи. Його твори відрізняються чистотою літературного мистецтва та глибиною філософського змісту.

### Нѣсколько словъ о поэмѣ Гоголя: „Похожденія Чичикова“ или „Мертвыя Души“<sup>1)</sup>.

Мы нисколько не беремъ на себя важнаго труда отдать отчетъ въ этомъ новомъ, великому произведеніи Гоголя, уже ставшаго высоко предыдущими созданіями; мы считаемъ нужнымъ сказать нѣсколько словъ, чтобы указать на точку зрѣнія, сть какой, намъ кажется, надобно смотрѣть на его поэму.

Многимъ, если почти не всякому, должна показаться странною его поэма; явленіе ея такъ важно, такъ глубоко и вмѣстѣ такъ ново-неожиданно, что она не можетъ быть доступною съ первого раза.—Эстетическое чувство давно уже не испытывало такого рода впечатлѣнія, міръ искусства давно уже не видалъ такого создания,—и недоумѣніе должно было быть у многихъ, если не у всѣхъ, первымъ, хотя и минутнымъ, ощущеніемъ; мы говоримъ о людяхъ, болѣе или менѣе одаренныхъ чувствомъ изящнаго.

Такъ глубоко значеніе, являющееся намъ въ „Мертвыхъ Душахъ“ Гоголя. Предъ нами возникаетъ новый характеръ созданія, является оправданіе цѣлой сферы поэзіи, сферы, давно уничтоженной; древній эпосъ возстаетъ предъ нами. Объяснимся.

Древній эпосъ, основанный на глубокомъ простотѣ созерцаній, обнималъ собою цѣлый определенный міръ во всей неразрывной связи его явленій: и въ немъ, при этомъ созерцаніи все обхватывающемъ, столь зоркъ и все видящемъ, представляются всѣ образы природы и человѣка, заключенные въ созерцаемомъ мірѣ, и,—соединенные чудно, глубоко

<sup>1)</sup> О бѣзъ этой рѣчайшей брошюре см. выше, стр. 119.

и пестинно, шумять волны, несется корабль, враждают и действуют люди; ни одно явление не выпадает и всякое занимает свое место, на все устремлен художнический, ровный, и спокойный, безстрастный взоръ, переносящий въ область искусства всякий предметъ съ его правами и, чуднымъ творчествомъ, переносящий его туда, каждый съ полною тайною его жизни: будь это человѣкъ великий, или море, или шумъ дождя, бьющаго по листьямъ. Всемирно-исторический интересъ, великое событие, эпоха становится содержаниемъ эпоса; единство духа—та внутренняя связь, которая связываетъ всѣ его явления. (Мы говоримъ здѣсь про этотъ элементъ эпоса, про необходимый объективный характеръ не входя подробно въ разборъ его; дальнѣйшему развитию не противорѣчатъ слова наши). Этотъ древній эпосъ перенесенный изъ Греціи на Западъ, мѣтЬгъ постепенно; созерцаніе измѣнялось и перешло въ описание и вмѣстѣ въ украшеніе; мало по малу блѣдили фальшивыя краски, болѣе и болѣе выдвигалось то, что и безъ помощи ихъ, и само по себѣ имѣть интересъ—голое событие, которое въ такомъ видѣ (т. е. какъ голое событие) или, будучи историческимъ, должно быть отнесено къ исторіи, или, будучи частнымъ, сдѣлаться анекдотомъ про себя.—Исторія укрыла наконецъ свои великия события отъ недостойнаго уже взора, столько разъ ихъ оскорблявшаго; людямъ самимъ стало смѣшно и они отошли отъ исторіи: название поэмы сдѣлалось укорительно-насмѣшливымъ именемъ. Все болѣе и болѣе выдвигалось происшествіе, уже и мелкое и мелкюще съ каждымъ шагомъ, и наконецъ сосредоточило на себѣ все вниманіе; весь интересъ устремился на происшествіе, на анекдотъ, который становился хитрѣе, замысловатѣе, занимать любопытство, замѣнившее эстетическое наслажденіе; такъ снизошла эпость до романовъ и, наконецъ, до крайней степени своего униженія, до французской повѣсти.—Мы потеряли, мы забыли эпическое наслажденіе; нашъ интересъ сдѣлался интересомъ интриги, завязки; чѣмъ кончится,—объясняется такая-то запутанность, что изъ этого выйдетъ. Загадка, парада стала наконецъ нашимъ интересомъ, содержаниемъ эпической сферы, повѣстей и романовъ, унизившихъ и унижающихъ за исключениемъ свѣтлыхъ мѣсть, древній эпический характеръ.

Мы не вдаемся въ подробности, не упоминаемъ о произведенияхъ, въ которыхъ есть достоинство и мелькаютъ части или блѣдныя оттѣнки эпического созерцанія, но это только отрывки: само же эпическое созерцаніе съ своей цѣлостью, столь важнымъ условiemъ, ибо сама цѣлость его есть вмѣстъ ручательство за него, было потеряно и унижено.—Романы и повѣсти имѣютъ свое значеніе, свое мѣсто въ исторіи искусства поэзіи; но предѣлы нашей статьи не позволяютъ намъ распространиться обѣ этомъ предметѣ и объяснить ихъ необходиное явленіе и вмѣстѣ ихъ смыслъ и степень ихъ достоинства въ области поэзіи, при ея историческомъ развиціи.

И вдругъ среди этого времени возникаетъ древній эпосъ съ своею глубиною и простымъ величіемъ—является поэма Гоголя. Тотъ же глубокопроникающій и все-видящій эпический взоръ, тоже всеобъемлющее эпическое созерцаніе. Какъ понятно, что мы, избалованные въ нашемъ эстетическомъ чувствѣ въ продолженіи вѣковъ, мы съ недоумѣніемъ, не понимая, смотримъ сначала на это явленіе; мы ищемъ: въ чёмъ же дѣло, перебираемъ листы, желая видѣть анекдотъ, спѣшнимъ добраться до и ти завязки романа, увидѣть уже знакомаго неизнакомца, таинственную, часто понятную, загадку, думаемъ нѣтъ ли здѣсь, въ этомъ большомъ сочиненіи, какой нибудь интриги помудренїе; но на это на все молчать его поэма; она представляеть вамъ цѣлую сферу жизни, цѣлый міръ, гдѣ опять, какъ у Гомера, свободно шумятъ и блещутъ воды, всходить солнце, красуется вся природа, и живетъ человѣкъ,—міръ, являющій намъ глубокое цѣлое, глубокое, внутри лежащее содержаніе общей жизни, связующій единымъ духомъ всѣ свои явленія. Но намъ не того надо: намъ нужно виѣшнаго содержанія, анекдота, шарады,—и дичится давно избалованное эстетическое чувство, какъ ребенокъ, котораго сажаютъ за дѣло. Въ поэмѣ Гоголя является намъ тотъ древній, Гомеровскій эпосъ; въ ней возникаетъ вновь его важный характеръ, его достоинство и широкообъемлющій размѣръ. Мы знаемъ, какъ дико зазвучать во многихъ ушахъ имена Гомера и Гоголя, поставленныя рядомъ; но пусть принимаются, какъ хотятъ, скажанное нами теперь твердымъ голосомъ; впрочемъ, мы хотимъ

предупредить здесь одно недоразумение: только неблагонамеренные люди могут сказать, что мы „Мертвые Души“ называем Илладой; мы не то говорим; мы видим разницу въ содержании поэмъ; въ Илладѣ является Гречія съ своимъ міромъ, съ своею эпохой и слѣдовательно содержание само уже кладеть здесь разницу<sup>1)</sup>; конечно, Иллада именно, эпосъ, таъ исключительно нѣкогда обнявшій все, не можетъ повториться; но эпическое созерцаніе Гоголя—древнее, истинное, тоже, какое и у Гомера; и только у одного Гоголя видимъ мы это содержаніе, только онъ обладаетъ имъ, только съ Гоголемъ, у него, изъ подъ его творческой руки возрастаетъ наконецъ древній, истинный эпосъ, надолго оставлявшій міръ,—самобытный, полный вѣчно свѣжей, спокойной жизни, безъ всякаго излишества. Чудное, чудное явленіе. Къ новому художественному наслажденію призываетъ оно васъ, новое глубокое чувство изящнаго современно будить оно васъ, и невольно открывается впереди прекрасная даль.

Такое-то явленіе видимъ мы въ поэмѣ Гоголя: „Мертвые души“. Вотъ точка зрѣнія, съ которой должны мы смотрѣть на Гоголово произведеніе, какъ намъ кажется. Предъ нами въ этомъ произведеніи, предстаетъ, какъ мы уже сказали, чистый, истинный древній эпосъ, чуднымъ образомъ возникшій въ Россії; предстаетъ онъ предъ нами, затмненными цѣльымъ безчисленнымъ множествомъ романовъ и повѣстей, давно отвыкшими отъ эпического наслажденія. Какая новая струны наслажденія искусствомъ разбудить въ насъ онъ. Разумѣется этотъ эпосъ, эпосъ древности, являющійся въ поэмѣ Гоголя „Мертвые души“ есть въ то же время явленіе въ высшей степени свободное и современное. Полнѣйшее объясненіе какъ, какимъ образомъ могъ онъ возникнуть, именно у насъ, и что знаменуетъ, какое значеніе имѣть его явленіе вообще, и въ цѣломъ мірѣ искусства;—это, разумѣется длинное объясненіе—до другого раза, а теперь прибавимъ нѣсколько замѣчаній, которыхъ будуть служить подтвержденіемъ нашимъ сказанаго.

<sup>1)</sup> Кто знаетъ, впрочемъ, какъ раскроется содержаніе „Мертвых душъ“.

Нѣкоторымъ можетъ показаться страннымъ, что лица у Гоголя смѣняются безъ особенной причины; это имъ скучно; но основаніе упрека лежитъ опять въ избалованности эстетического чувства, у кого оно есть. Именно эпическое созерцаніе допускаетъ это спокойное явленіе одного лица за другимъ, безъ виѣшней связи, тогда какъ одинъ міръ объемлетъ ихъ, связывая ихъ глубоко и неразрывно единствомъ внутреннимъ. Конечно, мы понимаемъ, что интрига со всею путаницей менѣе заставляетъ двинуться всѣмъ внутреннимъ силамъ человѣка, менѣе, несравненно менѣе глубоко заставляетъ его если только онъ можетъ почувствовать, принять впечатлѣніе; интрига, анекдотъ занимаютъ любопытство и до такой степени унизили эпосъ въ романахъ и повѣстяхъ, что не нужно эстетического чувства, чтобы понимать ихъ, интересоваться ими: это можетъ всякий любопытный недуракъ; а охотнѣе человѣкъ принимается за то, что легче, что не требуетъ большого напряженія внутреннихъ его силъ. Какая-же интрига, между тѣмъ, какая завязка въ Илладѣ. Происшествіе все въ двухъ словахъ и открыто; какая завязка, интрига въ Божиѣмъ мірѣ, полномъ жизни и единства \*). Въ поэмѣ Гоголя явленія идутъ одинъ за другими, спокойно смѣняясь другъ друга, объемлемыя великимъ эпическимъ созерцаніемъ, открывающимъ цѣлый міръ, стройно предстающій съ своимъ внутреннимъ содержаніемъ и единствомъ, съ своею тайною жизни.—Однимъ словомъ, какъ мы уже сказали и повторяемъ: древній, важный эпосъ является въ своемъ величавомъ теченіи.

И точно, созерцаніе Гоголя, таково (не говоря вообще о его характерѣ), что предметъ является у него, не теряя никакъ ни одного изъ правъ своихъ, является съ тайною своей жизни, одному Гоголю доступной; его рука переносить въ міръ искусства предметъ, не измѣнять его никакъ; иѣть, свободно живеть онъ тамъ, еще выше поставленный; не видать на немъ слѣдовъ его перенесшей руки, и поэтому

\* ) Намъ скажутъ, можетъ быть, что есть повѣсти, въ которыхъ иѣть почти содержанія. Точно, такія есть: за то въ нихъ одинъ описанія; это только показываетъ, что онъ, при отсутствіи эпической силы, не имѣютъ и анекдотического интереса.

узнаешь ее. всякая вещь, которая существует, уже поэтому самому имѣть жизнь, интересъ жизни, какъ бы мелка она не была, но постижение этого доступно только такому художнику, какъ Гоголь; и въ самомъ дѣлѣ: все, и муха, надѣдающая Чичикову, и собаки, и дождь, и лошади отъ засѣдателя да чубарый, и даже бричка—все это, со всею своею тайною жизни, имъ постигнуто и перенесено въ міръ искусства (разумѣется творчески создано, а не описано, Боже сохрани; всякое описание скользить только по поверхности предмета); и опять только у Гомера можно найти такое творчество.

Интересъ, разумѣется, есть; но не интересъ анекдота, занимающей въ романахъ и повѣстяхъ; интересъ эпоса, поэмы. Я думаю ясно, какой это интересъ послѣ того, что мы говорили о самомъ эпосѣ. Прочтя первую часть чувствуешь необходимость второй, чувствуешь живой интересъ, но совсѣмъ не потому, чтобы узнать, какъ разгадается такая-то загадка, какъ распутается такая-то интрига; занимаетъ то, какъ разрѣшился такое-то произшествіе; но то, какъ разрѣшился самый эпосъ, какъ явится и предстанетъ полное, все созданіе, какъ разовьется міръ, предъ нами являющійся, міръ, носящій въ себѣ глубокое содержаніе тѣмъ болѣе, что по словамъ Гоголя, раздвинутая должна широкая повѣсть.

Какой смыслъ получаетъ теперь, послѣ всего, нами сказанного, название поэмы, стоящее въ заглавіи книги. Да, это поэма, и это название вамъ доказываетъ, что авторъ понималъ, что производилъ; понималъ всю величность своего дѣла.

Если сказать нѣсколько словъ о самомъ произведеніи, то первый вопросъ, который намъ бы сдѣлали, будетъ: какое содержаніе. Мы сказали, что здесь нечего искать содержанія романовъ и повѣстей; это поэма, и разумѣется, въ ней лежитъ содержаніе поэмы. И такъ настѣнѣ могутъ спросить, что же въ ней заключается, что, какой міръ объемлетъ собою поэма. Хотя это только первая часть, хотя это еще начало рѣки, дальнѣйшее теченіе которой, Богъ знаетъ, куда приведетъ настѣнѣ и какія явленія представить,—но мы, по крайней мѣрѣ, можемъ, имѣть даже право думать, что въ этой поэмѣ обхватывается широко Русь, и уже не тайна ли Русь

ской жизни лежить, заключенная въ ней, не выговорится ли она здѣсь художественно.—Не входя подробно въ раскрытие первой части, въ которой во всей, разумѣется, лежить одно содержаніе, мы можемъ указать, по крайней мѣрѣ, на ея окончаніе, такъ чудно, такъ естественно вытекающее. Чичиковъ Ѳдетъ въ бричкѣ, на тройкѣ; тройка понеслась шибко, и кто бы ни былъ Чичиковъ, хоть онъ и плутоватый человѣкъ, и хотя многіе и совершенно будутъ противъ него, но онъ былъ Русскій, онъ любилъ скорую Ѱаду,—и здѣсь тотчасъ это общее народное чувство, возникнувъ, связало его съ цѣлымъ народомъ, скрыло его такъ сказать; здѣсь Чичиковъ, тоже Русскій, исчезаетъ, поглощается, сливаясь съ народомъ въ этомъ общемъ ему чувствѣ. Пыль отъ дороги поднялась и скрыла его; не видать, кто скачетъ,—видна одна несущаяся тройка. И когда здѣсь, въ концѣ первой части, коснулся Гоголь общаго субстанціального чувства Русскаго, то вся сущность (субстанція) Русскаго народа, тронутая имъ, поднялась колосально, сохранивъ свою связь съ образомъ, ее возбудившимъ. Здѣсь проникаетъ наружу и видится Русь, лежащая, думаемъ мы, тайнымъ содержаніемъ всей его поэмы. И какія эти строки, что дышать въ нихъ и какъ, не смотря на мелочность предыдущихъ лицъ и отношений на Руси,—какъ могущественно выражалось то, что лежитъ въ глубинѣ, то сильное, субстанціальное, вѣчное, неисключаемое никакъ предыдущимъ. Это ливное окончаніе, совершающее первую часть такъ глубоко связанное во всемъ предыдущимъ, которое многимъ покажется противорѣчіемъ,—какимъ чуднымъ звукомъ наполняютъ оно грудь, какъ глубоко возбуждаются всѣ силы жизни, которую чувствуешь въ себѣ разлитою вдохновенно по всему существу.

Указывать ли на мѣста. Но безъ полнаго созерцанія это значитъ вырывать ихъ. Все, отъ начала до конца, полно одной неослабной, неустающей, живой жизни, той жизни, которую живеть предметъ, перенесенный весь и свободно безъ малѣйшей утраты, въ область искусства; жизнь всюду, въ каждой строкѣ, и потому медленно надо читать Гоголя; содержаніе предлагается въ каждомъ словѣ, каждая глава много, много наполнить человѣка и изящное его чувство много, много насладится; нечего бояться потерять изъ виду вѣнч-

нюю связь происшествія: здесь нечего спивать въ памяті, какъ бы ниткою, обстоятельства, какъ мы дѣлаемъ это во многихъ повѣстяхъ, романахъ, гдѣ часто разыгрываемъ роль судей, посланныхъ на стѣдствіе; но здесь не то, здесь нечего бояться за память, нечего бояться потерять единство: оно не виѣшнее, оно всегда тутъ; связуетъ не наружно, но внутренно всѣ предметы между собою; все оживлено однимъ духомъ, глубоколежащимъ внутри и являющимся въ гармоническимъ разнообразіи, и какъ въ Божіемъ мірѣ. Мы не можемъ не сказать, что есть мѣста, наиболѣе открывающія сущность вещи и духъ самаго автора; кто читать ихъ вѣрнопомнить эти вдохновенные, торжественные мѣста; мы же не хотѣли и не станемъ входить въ подробности, ограничивая статью нашу только нѣсколькими словами, общимъ взглядомъ и отдельными замѣчаніями<sup>1)</sup>.

Вѣроятно нѣкоторые станутъ нападать на слогъ, но тутъ будеть совершиенная опишка; слогъ Гоголя не образцовый, и слава Богу: это быль бы недостатокъ. Нѣть, слогъ у Гоголя составляеть часть его созданія; онъ подлежить тому же акту творчества, той же образующей рукѣ, которая вмѣстѣ даетъ и ему форму и самому произведенію, и потому слога нельзя у него отѣлить отъ его созданія, и онъ въ высшей степени хорошъ (мы не говоримъ о частностяхъ и бездѣлицахъ). Это наша вина, если мы не вдругъ его постигаемъ; если можно не вдругъ понять красоту произведенія, то также не вдругъ понять и слогъ и оборотъ, вполнѣ выражающій, что надо; пора перестать смотрѣть на слогъ, какъ на какое-то платье, спитое извѣстнымъ и общимъ для всѣхъ образомъ, въ которое всякий долженъ точно рядить свои мысли; напротивъ, слогъ не кроеная, не шитая вещь, не платье; онъ живъ, въ немъ играетъ жизнь языка его, и не заученные формулы и пріемы, а только духъ сливаютъ его съ мыслю; тѣмъ болѣе слогъ языка Русскаго, имѣющаго въ себѣ неизсякаемые источники силъ, бездну едва уловимыхъ оттѣнковъ и совершенно

1) Такіе тѣсные предѣлы не позволяютъ намъ сказать о многомъ, развиьт многое и дать заранѣе полныя объясненія на недоумѣніе и вопросы, могущіе возникнуть при чтеніи нашей статьи. Но надѣемся, что они разрѣшатся сами собою.

свободный, но не произвольный синтаксисъ. Надобно только постичь духъ и законы языка, и Гоголь постигъ это своимъ творческимъ гениемъ.

Въ „Мертвыхъ Душахъ“ мы находимъ одну особенность, о которой мы не можемъ умолчать, которая невольно выдается и невольно приводить намъ на мысль Иліаду. Это тогда, когда, встрѣчаются сравненія; сравнивая, Гоголь совершенно передается предмету, съ которымъ сравниваетъ, оставляя на время тотъ, который навѣть его на сравненіе; онъ говорить, пока не исчерпаетъ весь предметъ, приведенный ему въ голову. Всякій, кто читаль Иліаду, вѣрно вспомнить Гомера, читая сравненія Гоголя; вспомнить, какъ Гомеръ, тоже, оставляя сравниваемый предметъ, предается тому, съ которымъ сравниваетъ; и это насть всегда невольно останавливало даже и у Гомера: потому, что мы далеко отодвинуты отъ полнаго эпического созерцанія; но этотъ характеръ сравненія необходимъ при всеобъемлющемъ эпическомъ взглѣдѣ; у поэта-эпика не можетъ быть намековъ, онъ не можетъ просто указать на предметъ, и удовольствоваться; иѣть взоръ его видить его вполнѣ; со всею его жизнью, въ которой находитъ сродство съ жизнью повѣствуемаго предмета, и взглядъ его объемлетъ его вполнѣ, и онъ вполнѣ, независимо, самобытно, не утрачивая сколько нибудь своей жизни, потому что онъ взять какъ сравненіе, предстаетъ предъ читателемъ. Если мы останавливаемся при такихъ мѣстахъ и смущаемся, то ошибаемся мы; не просвѣтѣло еще наше эстетическое чувство, не вполнѣ раскрылось оно, чтобы обнять созданіе.

Общий характеръ лицъ Гоголя тотъ, что ни одно изъ нихъ не имѣть ни тѣи односторонности, ни тѣи отвлеченностіи, и какой бы характеръ въ немъ не выказывался, это всегда полное, живое лицо, а не отвлеченнное качество (какъ бываетъ у другихъ, такъ что надѣть однимъ напипи: скучность, надѣть другимъ: вѣромѣсто, надѣть третьимъ: вѣриость и т. д.); иѣть всѣ стороны, всѣ движенія души, какія могутъ быть у какого бы то ни было лица, всѣ не пропущены его взоромъ, видящимъ полноту жизни; онъ не лишаетъ лицо, отмѣченное мелкостью, низостью, ни одного человѣческаго движенія; всѣ воображены въ полнотѣ жизни: на какой бы низкой степени не стояло лицо у Гоголя, вы всегда признаете

въ немъ человѣка, своего брата, созданного по образу и подобію Божію. Это видишь во всѣхъ его сочиненіяхъ. Вспомнимъ „Ивана Федоровича Шпоньку“: человѣкъ, кажется, пустой въ высшей степени, дурачекъ, большую частью лежащій на кровати, скинувшись мундиръ; вспомнимъ, какъ онъ пріѣхавши въ свою деревню, выѣхалъ на сѣнокосъ: на него дѣйствуетъ природа, онъ соединенъ съ нею, тутъ онъ чувствуетъ, но чувство выражалось не въ немъ столько, сколько должно и могло выражаться. Говорить-ли о „Старосвѣтскихъ Помѣщикахъ“, въ которыхъ столько глубоко человѣческое значеніе открыло взоръ Гоголя, тамъ где другіе увидали бы только пошлость и животность; онъ открылъ и проложилъ путь сочувствію—человѣческому и къ этимъ людямъ и къ этой жизни. Въ „Мертвыхъ душахъ“ видимъ тоже. Напр. „Маниловъ“, при всей своей пустотѣ и притворной сладости, имѣющій свою ограниченную, маленькую жизнь, но все-же жизнь,—и безъ всякой досады, безъ всякаго смѣха, даже съ участіемъ, смотришь, какъ онъ стоитъ на крыльцѣ, куря свою трубку, а въ головѣ его и Богъ знаетъ что воображается, и это тянется до самаго вечера. Или „Плюшкинъ“, скупецъ, но за которымъ лежать иначе проведенные годы, который естественно и необходимо развился до своей скучности; вспомните то мѣсто, когда прежняя жизнь проснулась въ немъ, тронутая воспоминаніемъ, и на его старомъ, безжизненномъ лицѣ мелькнуло выраженіе чувства. Однимъ словомъ: веаль у Гоголя, такое совершенное отсутствіе всякой отвлеченности, такая всесторонность, истина и вмѣстѣ полнота жизни, не теряющей ни малѣйшей частицы своей отъ явленій природы: мухи, дождя, листьевъ и пр. до человѣка,—какая составляетъ тайну искусства, открывающуюся очень, очень немногимъ.

Въ самомъ дѣлѣ, у кого встрѣтимъ мы такую полноту, такую конкретность созданія (отчего не употребить этого слова). Скажемъ здѣсь не обинаясь напре миѣніе. Да, очень у немногихъ: только у Гомера и Шекспира встрѣчаемъ мы тоже; только Гомеръ, Шекспиръ и Гоголь обладаютъ этой тайною искусства. Опять неблагонамѣренные люди скажутъ, что мы ставимъ Гоголя совершенно рядомъ съ Гомеромъ и Шекспиромъ; но мы опять устранимъ недоразумѣніе. Гоголь не сдѣлать того теперь (кто знаетъ что будетъ впередъ), что сдѣлали

Гомеръ и Шекспиръ, и потому, въ отношеніи къ объему творческой дѣятельности, къ содержанію ея, мы не говоримъ, что Гоголь тоже самое, что Гомеръ и Шекспиръ; но въ отношеніи къ акту творчества, въ отношеніи къ полнотѣ самаго созданія Гомера и Шекспира, и только Гомера и Шекспира ставимъ мы рядомъ съ Гоголемъ. Мы далеки оттого, чтобы уничтожать колоссальность другихъ поэтовъ, но, въ отношеніи къ акту созданія, они ниже Гоголя. Развѣ не можетъ быть такъ, напримѣръ: поэтъ, обладающій полнотою творчества, можетъ создать, положимъ, цвѣточъ, но во всемъ его совершенствѣ, во всей свободѣ его жизни, другой созласть великаго человѣка, взявшіи большее содержаніе, но только намѣтить его общими чертами; велико будетъ дѣло послѣдняго, но оно будетъ ниже въ отношеніи къ той полнотѣ и живости, какую даетъ поэтъ, обладающій тайною творчества. Итакъ, этимъ сравненіемъ (хотя вообще сравненія объясняютъ неполно, но что-бы не писать длинной статьи) настѣмся мы пояснить наши слова: въ отношеніи къ акту творчества. Но Боже нась сохрани, чтобы миниатюрное сравненіе съ цвѣткомъ было въ нашихъ глазахъ мѣриломъ для великихъ зданій Гоголя: мы хотимъ только сказать, что онъ обладаетъ тою-же тайною, какою обладали Шекспиръ и Гомеръ, и только они; что онъ совершилъ еще, имѣя ее, послѣ того, что онъ уже сдѣлалъ,—будущее покажетъ; но онъ уже много сдѣлалъ, и уже, наконецъ, является великая поэма, такъ много намъ съ собой принесшая.

И такъ повторимъ наши слова, какъ бы онѣ странныи казались: только у Гомера и Шекспира можемъ мы встрѣтить такую полноту созданій, какъ у Гоголя; только Гомеръ, Шекспиръ и Гоголь обладаютъ великою, одною и тою же тайною искусства. И потому велико всякое созданіе Гоголя, и мы съ наслажденіемъ смотримъ на его творческую дѣятельность, такъ могущественно идущую впередъ и уже такъ много намъ давшую. Кромѣ его художественныхъ повѣстей, которыя такъ знакомы всякому образованному Русскому, кромѣ всего остальнаго, онъ далъ намъ комедію, истинную комедію, какой нигдѣ нѣть; онъ даетъ намъ поэму; онъ можетъ дать намъ трагедію.

Мы знаемъ, многимъ покажется страннымъ слова наши;

но мы просимъ въ нихъ вникнуть. Что касается до мнѣнія Петербургскихъ журналовъ, очень извѣстно, что они подумаютъ (впрочемъ исключая можетъ быть От. Зап., которая хвалять Гоголя); но не о Петербургскихъ журналистахъ говоримъ мы; напротивъ, мы о нихъ и не говоримъ; развѣ въ Петербургѣ можетъ существовать кругъ ихъ дѣятельности...

Еще одно важное обстоятельство сопряжено съ явленiemъ Гоголя: онъ изъ Малороссіи. Глубоко въ ней лежацій, художественный ея характеръ высказывается въ ея многочисленныхъ, мягкихъ звуками пѣсняхъ, живыхъ и нѣжныхъ, окруженныхъ въ своихъ размѣрахъ; не таковъ характеръ Великорусской пѣсни. Но Малороссія—живая часть Россіи, созданной могущественнымъ Великорусскимъ духомъ; подъ его сѣнью можетъ она явить свой характеръ и войти какъ живой элементъ въ общую жизнь Руси, объемлющей ровно всѣ свои составы и не называющейся Великоруссіею (такъ бы она удержалась въ своей односторонности, и прочія части относились бы къ ней, какъ побѣжденные къ побѣдителю), но уже Россіею. Разумѣется, единственно вытекло изъ Великорусского элемента; имъ данъ общий характеръ; за нимъ честь создания; при широкомъ его размѣрѣ свободно можетъ развиться все, всякая сторона,—и онъ сохранилъ свое законное господство, какъ законно господство головы въ живомъ человѣческомъ тѣлѣ; но все тѣло носить название человѣка, а не головы; такъ и Россія зовется Россіею, а не Великоруссіею. Разумѣется, только пишучи по Русски (т. е. по Великорусски), можетъ явится поэтъ изъ Малороссіи; только Русскимъ можетъ и должна явиться онъ, будучи такимъ же гражданиномъ общей всѣмъ Россіи, съ собою принося ей свой собственный элементъ, и новую жизнь вливая въ ея члены. Теперь, съ Гоголемъ, обозначился художественный характеръ Малороссіи изъ ея прекрасныхъ Малороссійскихъ пѣсень, ея прекраснаго художественнаго начала, возникъ, наконецъ, уже Русскій гений, когда общая жизнь государства обняла всѣ свои члены и дала ему обнаружиться въ колоссальномъ объемѣ; новый элементъ искусства втекъ широко въ жизнь искусства въ Россіи. Гоголь, принесшій намъ этотъ новый элементъ, который возникъ изъ страны, составной части многообъемлющаго отечества, и слѣдовательно, такъ много выразившій, оправ-

891.4(6)  
B-29

— 229 —

давший (не въ смыслѣ: извинившій, но объяснившій) эту страну, Гоголь-Русскій, вполнѣ Русскій, и это наиболѣе видно въ его поэмѣ, гдѣ содержаніе Руси, всей Руси занимаетъ его, и вся она, какъ одно исполинское цѣлое, колоссально является ему. И такъ, важно это явленіе Малороссійского элемента уже Русскимъ, живымъ элементомъ общерусской жизни, при законномъ преимуществѣ Великорусскаго. Вмѣстѣ съ тѣмъ, элементъ Малороссійского языка прекрасно внесенъ Гоголемъ въ нашъ Русскій.

А Великорусская пѣснь, пѣснь Русская, какъ называется она, и справедлива: ибо стало это племя, не имѣть односторонности, когда могла создать все государство и слить во живое едино всѣ, съ первого взгляда, разнородные, враждущіе члены; имя „Русскій“ осталось за нимъ и вмѣстѣ за Россіей. Когда хотѣть говорить отдельно о дѣйствіяхъ другихъ племенъ, то придаютъ имъ ихъ племенное имя, потому что, отдельно взятыя, онѣ представляютъ, каждое, односторонность, отъ которой освобождаются, становясь Русскими, съ помощью Великорусскаго элемента. А Великорусское племя, етъдовательно, не имѣло этой односторонности, или уничтожило ее самобытно, въ своей собственной жизни, когда создало цѣлое государство и дало въ немъ развиться свободно всѣмъ частямъ. И такъ имя: „Русскій“ слилось съ этимъ племенемъ, духомъ котораго живеть и движется Государство; название: Русская пѣсня, осталось преимущественно, и по праву, за пѣснью Великорусскою. А Русская пѣсня, которую такъ часто вспоминаетъ Гоголь въ своей поэмѣ, Русская пѣсня! Что лежитъ въ ней. Какъ широкъ напѣвъ ея. Кажется духъ и образъ великаго, могучаго пространства, о которомъ такъ прекрасно говорить Гоголь, лежитъ въ ней. Нѣть ей конца, безконечная пѣсня, какъ называетъ ее онъ же. Въ самомъ дѣлѣ, нельзя сказать, что Русская пѣсня оканчивается; она не оканчивается, но уносится. Когда слушаешь, какъ широкія волны звуковъ раздаются слабѣе и наконецъ звуки Русской пѣсни—нѣть, она не кончилась, она унеслась, удалилась только и гдѣ-то поется, вѣчно поется.

Москва,  
июня 16, 1842 года.

Константинъ Аксаковъ.

ЧМВ. 4654



## Сочинения К. С. Аксакова.

### А

Библиография отдельных изданий и их источники

## БІБЛІОГРАФІЯ.

В Настоящем списке приведены все издания сочинений К. С. Аксакова, начиная с издания в 1801 г. до издания в 1862 г.

В Библиографии отдельных изданий и их источники даны сведения о том, какое издание сочинений К. С. Аксакова было впервые напечатано в том или другом месте и в каком году.

В Библиографии отдельных изданий сочинений К. С. Аксакова даны сведения о том, какое издание сочинений К. С. Аксакова было впервые напечатано в том или другом месте и в каком году.

В Рассыпях издаются сочинения К. С. Аксакова в виде отдельных изданий, напечатанных в различных местах и в различные годы.

В Сборниках сочинений К. С. Аксакова включаются отдельные издания, напечатанные в различных местах и в различные годы.

В Годовых альбомах К. С. Аксакова включаются отдельные издания, напечатанные в различных местах и в различные годы.

В Альбомах К. С. Аксакова включаются отдельные издания, напечатанные в различных местах и в различные годы.

В Годовых альбомах К. С. Аксакова включаются отдельные издания, напечатанные в различных местах и в различные годы.

В Годовых альбомах К. С. Аксакова включаются отдельные издания, напечатанные в различных местах и в различные годы.

В Годовых альбомах К. С. Аксакова включаются отдельные издания, напечатанные в различных местах и в различные годы.

В Годовых альбомах К. С. Аксакова включаются отдельные издания, напечатанные в различных местах и в различные годы.

РИФАПТОІЛАН

Сочиненія К. С. Аксакова.

## Сочиненія К. С. Аксакова.

A

Вышедшее отдельнымъ изданіемъ или оттисками.

- 1) *Стихи*, читанные въ день празднованія учрежденія Имп. университета. 12-го янв. 1835 г. М. Тип. университ. 1835 4°. 4 стр.
  - 2) *Несколько словъ о поэмы Гоголя „Похождение Чичикова или Мертваго Души“*. М. 1842.
  - 3) *Помоновъ въ исторіи русской литературы и русского языка*. Рассужденіе кандидата Московскаго университета Константина Аксакова, писанное на степени магистра философскаго факультета, первого отдѣленія. М. Тип. Н. Степанова 1846. 3+517 стр. Ц. 3 р. 50 к.
  - 4) *Освобождение Москвы въ 1612 г.* Драма въ 5 дѣйств. М. Тип. Николая Степанова. 1848. 8°. 6+212 стр. Ц. 1 р. 50 к.
  - 5) *Родовое или общественное явление бывъ изгой*. Оттискъ изъ № 87 „Моск. Вѣдом.“ 1850 г. М. Тип. университ. 1850. 8°. 16 стр.
  - 6) *О древнемъ бытѣ у славянъ вообще и у русскихъ въ особенности*. (По поводу мнѣній о родовомъ бытѣ). М. Тип. Ал. Семена 1852. 8°. 91 стр. (Оттискъ изъ „Москов. Сборника“).
  - 7) *О русскихъ глаголахъ*. М. Тип. Л. Степановой. 1855. 8°. 47 стр. Ц. 50 к.
  - 8) *Князь Пуповицкій или пріѣздъ въ деревню*. Ком. въ двухъ дѣйств. съ прологомъ (Писано въ 1851 г.). М. Тип. Л. Степановой. 1856. 8°. 88 стр. Приложение къ „Рус. Бестѣ“ т. I.
    - а) Тоже. Лейпцигъ. У Франца Вагнера. 1857. 87 стр.
  - 9) *Олеевъ подъ Константиноlemъ*. Драматич. пародія, съ эпилогомъ, въ трехъ дѣйств., въ стихахъ. (Иад. любителя). Спб. Тип. П. А. Кулиша. 1858 8°. IV+96 стр. Ц. 75 к.
  - 10) *Замѣчанія о Псковской рядной записи XIII в.* (Оттискъ изъ I тома Извѣстій Арх. общества). СПБ. 1858. 8°. 7 стр. Ц. 50 к.
  - 11) *Опытъ русской грамматики*, Ч. I. М. Тип. Л. Степановой 1860. 4°. IV+176 стр. Ц. 50 к.

12) *Замѣчанія на новое административное устройство крестьянъ въ Россіи*. Лейпцигъ. 1861.

13) *Полное собраніе сочиненій* Константина Сергеевича Аксакова, изданное подъ редакціей И. С. Аксакова. Т. I. Сочиненія историческая. М. Тип. П. Бахметева. 1861. 8°. VII+632+12+II стр. Ц. 2 р. 50 к.

*Содержание:* 1) Объ основныхъ началахъ русской исторіи. 2) О томъ же. 3) О русской исторіи. 4) Родовое или общественное явленіе быть изгой. 5) По поводу I тома Исторіи Россіи г. Соловьевы. 6) О древнемъ быть славянъ вообще и русскихъ въ особенности. 7) По поводу IV тома Исторіи Россіи г. Соловьевы. 8) Замѣчанія на статью г. Соловьевы: Шлещерь и анти-историческое направление. 9) По поводу той же статьи г. Соловьевы. 10) По поводу VII тома Исторіи Россіи г. Соловьевы. 11) По поводу VIII тома Исторіи Россіи г. Соловьевы. 12) Краткій исторический очеркъ Земскихъ Соборовъ. 13) О древнемъ быть славянъ вообще и русскихъ въ особенности на основаніи обычаевъ, преданій и пѣсень. 14) Замѣчаніе на статью Шеппинга: Купала и Коляда. 15) О богатыряхъ времень Владимира по русскимъ пѣснямъ. 16) О различіи между сказками и пѣснями русскими. 17) Замѣтки о значеніи Ильи Муромца. 18) О состояніи крестьянъ въ древней Россіи. 19) По поводу Бѣлевской Византии, изданной Н. А. Елагинъ. 20) Замѣчанія на лѣтопись Нестора по Лаврентьевскому списку. 21) Замѣчанія на акты Археографической Экспедиціи 22) Русская исторія для дѣтей. 23) Семисотлѣтие Москвы. 24) Замѣчанія о псковской рядной записи XIII вѣка. 25) Вариантъ къ статьѣ по поводу VI тома Исторіи Россіи г. Соловьевы. 26) Начало Русской Исторіи, разсказанное для дѣтей. (писано для племянницы). 27) Огдѣльныя замѣтки.

а) Тоже, Изд. 2-ое М. 1889. Тип. унів. 8°. VII+599. (1200 экз.) Ц. 2 р. 25 к.

Т. II. *Сочиненія филологическая*, М. Унів. тип. 1875. 8°. XII. 660 стр. (800 экз.) Ц. 2 р. 50 к.

*Содержание:* 1. Отъ издателя (И. Аксакова). 2) О грамматикѣ вообще, по поводу грамматики г. Бѣлинского. 2) Ломоносовъ въ исторіи русской литературы и русского языка. 3) Нѣсколько словъ о нашемъ правописаніи. 4) О русскихъ глаголахъ. 5) Критический разборъ Опыта исторической грамматики русского языка Ф. И. Буслаева. 6) Замѣтка къ предыдущему. 7) Письмо къ П. А. Безсонову.

Т. III. *Сочиненія филологическая*. (ч. II). Опытъ русской грамматики. М. Унів. тип. 1880. 8°. XXXVI+VIII+III+470+151 стр. Ц. 2 р. 50 к.

*Содержание:* 1) Отъ издателя (И. Аксакова). 2) Отъ редактора (П. А. Безсонова). 3) Предисловіе къ I вып. опыта р. грам. К. С. Аксакова. 4) Примѣчаніе къ I вып. Его же. 5) Введение въ грамматику. 6) Раздѣленіе. 7) Часть I. Имя (первый выпускъ, изданый при жизни автора). 8) Имя (второй выпускъ подъ ред. П. А. Безсонова). 9) Языки индоевропейскіе. 10) Языки славянскіе. 11) Прибавленіе П. А. Безсонова. 12) Конспектъ послѣднихъ двухъ отдѣловъ первой части Рус. Грамматики: Примагательное, Предлогъ.

14) *О совершенномъ человѣкѣ*. Оттискъ изъ „Братекъ помощи“. Спб. Тип. М. Стасюлевича. 1876. стр. 48.

15) *Собрание Стихотворений*. М. 1909. 8°. Тип. „Общ. распр. полеа. книгъ“. стр. 74. Ц. 80 к.

Въ эту книжку вошло только 27 стихотворений: А. Н. Попову. Первое Мая. Толпъ Эмпириковъ. Urbi. Сонъ. Союзникамъ. Поэту - укорителю. Возвратъ. Петру. Безмолвна Русь. Семилѣтнему Л—у. Опять къ землѣ родной. Советъ. Гуманисту. Къ Славянамъ. Новгородъ. Свободное слово. Джо-духъ. Весна. Я не звать, что солнце сгинеть. Литераторы-натуралисты. Былина. Олегъ. Тѣни. Разуму. Веселью. Въ Россію вѣруя.

16) *Воспоминаніе Студентства*. Съ приложеніемъ портрета К. С. Аксакова, неизданного стихотворенія и отклика А. И. Герцена на его кончину. СПБ. изд. Т-ва „Огни“ 1911. 8°. стр. 42. Ц. 60 к.

## Б.

### Произведенія и письма К. С. Аксакова, напечатанныя въ періодическихъ изданіяхъ и сборникахъ.

1835.

*Воспоминаніе* (Стих.), подпись К. Европидинъ, „Телескопъ“ ч. 27, 465.

*Скала* (Стих.) подпи. К. Европидинъ. Ibid. 467.

*Русская легенда* (Стих.), подпи. К. Европидинъ-Бюргеровъ. Ibid. ч. 29, стр. 230.

*Степь* (Стих.), подпи. К. Европидинъ-Бюргеровъ. Ibid., 236.

*Орёль и поэтъ* (Стих.), подпи. К. Европидинъ-Бюргеровъ. Ibid., 238.

*Гроза* (Стих.), подпи. К. Европидинъ-Бюргеровъ. Ibid., 240.

1836.

*Жизнь въ мечты* (повѣсть), подпи. — кс — „Телескопъ“ 1836 г., т. XXXIII, стр. 169—209.

*Орёль и поэтъ* (Стих.) „Литер. Приб. къ Рус. Инв.“, № 92 и 93.

*Гроза* (Стих.). Ibid.

*Снегъ* (Стих.). Ibid.

1838.

*Новая любовь, новая жизнь* (изъ Гете), „Моск. Наблюд.“, ч. XVI Изящ. Слов., 45—46.

*На озеръ* (изъ Гете). Ibid., 92—93.

*Утренняя жалобы* (изъ Гете), Ibid., 268—270.

*Идеалы* (изъ Шиллера), Ibid., 542—545.

*Магадэва и Баядера*, индійская легенда (изъ Гете), „Моск. Набл.“, ч. XVII, Изящ. Словесность, 16—19.

*Тайна* (изъ Шиллера). „Моск. Наблюд.“, ч. XVIII, Изящ. Слов., стр. 19—20.

*Встрѣчка* (изъ Шиллера), Ibid., 304—305.

1839.

- Вечеръ (изъ Шиллера). „Москов. Наблюд.“, ч. 1, Изящ. Слов., 12.  
Тишина на морѣ (изъ Гете), ibid., 15—16.  
Счастливый путь (изъ Гете), ib. 24.  
Рыбакъ (изъ Гете), ib. 32—33.  
О грамматикѣ вообще (по поводу грамматики г. Былинского), ib.,  
Науки, стр. 1—26. Вошло во II т. соч.  
Стремленіе (изъ Вещей). „Моск. Набл.“, ч. II, Изящ. Слов., 8—9.  
Пльснь Маргариты (изъ Гете). „Отеч. Зап.“ т. IV, отд. III, 82.  
Изъ „Фауста“. „Отеч. Зап.“, т. IV, отд. III, 241.  
Отрывокъ изъ 1-го дѣйствія „Фауста“. Ibid., V, отд. III.

1840.

- Изъ Гейне. „Отеч. Зап.“, т. XII, отд. III, 226.  
Пльвецъ (Изъ Гете). „Одес. Альманахъ“ на 1840 г. Одесса 1840.  
Ночное посыщеніе (Изъ Вещей), Ibid.

1845.

- Москвъ (Стих.). „Москвит.“, ч. 1. № 2, стр. 108.

1846.

- Семисотъятніе Москвы. „Москов. Вѣд.“, № 39. Въ собр. соч. т. I  
598—605.

Нѣсколько словъ о нашемъ правописаніи. „Москов. литер. и ученый  
сборникъ“. М. 1846, стр. 297—324.

1847.

Три критическія статьи Г-на Имрекъ. (I. Вчера и сегодня, литерат.  
сборникъ, сост. Гр. В. А. Соллогубомъ. Кн. I. II. Опытъ исторіи Рус. ли-  
тературы. Соч. проф. СПБ. ун. А. Никитенко. III. Петербургскій сборникъ,  
изд. Некрасовымя). „Моск. лит. и ученый сборникъ“ на 1847 г.\* М. 1847,  
стр. 1—44.

1850.

- Родовое или общественное явленіе былъ изгой. „Москов. Вѣд.“, № 97.

1852.

О древнемъ бытѣ у Славянъ вообще и у русскихъ въ особен-  
ностяхъ. „Москов. Сборникъ“; т. I. Въ собр. соч. т. I. въ болѣе полномъ  
видѣ.

О различіи между сказками и пльснями русскими. „Моск. Вѣд.  
1852 г., № 153. Соч. т. I.

1854—1855.

Орель России. Стих. „Моск. Вѣд.“, 1854, № 22.

Гость на юбилей Щепкина. „Москвитянинъ“ 1855.

1856.

О Русскомъ воззрѣніи (подп. К. А.) „Рус. Бесѣда“, т. I. Смѣсь, 84—86.

Князь Луновинскій или пріѣздъ въ деревню, комедія въ 2 дѣйствіяхъ, съ прологомъ. Приложеніе къ I т. „Рус. Бесѣда“.

Литераторы-Натуралисты. (Стихотвореніе) „Рус. Бес.“ т. II, стр. 58—61.

Еще нѣсколько словъ о Русскомъ воззрѣніи. „Рус. Бесѣда“ т. II, Смѣсь, стр. 139—147.

Богатыри времень Великаго Князя Владимира, по Русскимъ пѣснямъ. „Рус. Бесѣда“, т. IV, Науки 1—67. Въ I т. соч. съ нѣкоторыми дополн.

Исторія Россіи съ древнихъ временъ, соч. С. Соловьевъ, т. VI. „Рус. Бесѣда“ т. IV, Критика, 1—53. Въ I т. соч. въ болѣе полномъ видѣ.

1857.

Обозрѣніе Современной Литературы. „Рус. Бесѣда“ кн. 5, Обзоръ, стр. 1—39. Тоже въ Собр. Соч. т. I.

Замѣчанія на статью г. Соловьева „Шлецеръ и анти-историческое направление“. „Рус. Бесѣда“, кн. 7, Критика, стр. 104—140, соч. т. I.

Исторія Россіи съ древнейшихъ временъ, соч. Сергея Соловьевъ, кн. 10, Критика, стр. 1—33.

Бѣлевская Вивліопика, издаваемая Н. А. Елагинымъ. „Рус. Бесѣда“ кн. 11, Критика, стр. 14—46. Соч., т. I.

О новынни г-жи Кохановской: „Посль обѣда въ гостяхъ“. „Рус. Бесѣда“, кн. 12. Смѣсь, стр. 141—144.

Замѣтка по поводу перевода г. Кронебергомъ льтописи Кая Тацита. „Рус. Бесѣда“, кн. 12, Смѣсь, стр. 152—154.

Статьи и стихотворенія, помѣщ. въ „Молвѣ“ 1857 г.

Передовыя статьи не подписаны, подъ стихотвореніями и другими статьями либо полная подпись, либо инициалы К. А., либо псевдонимъ Имрекъ.

Передовыя статьи въ № 1—14, 16—22.

Веселье. Стих., № 1.

Библіографія (разборъ романа въ стихахъ П. Жандра „Свѣтъ“). № 4.

Два слова. „Рус. Вѣстин.“, № 5.

Письмо къ редактору, № 6.

Замѣчаніе (о статьѣ Соловьевъ „Шлецеръ и анти-историческое направление“), № 8.

Два слова о статьѣ г. Буслаева. „Древняя русская словесность“, № 9.

О статьи г. Ламанского „О распространении знаний въ Россіи“, № 10.

Бібліографія. Сочиненія В. Жуковскаго. № 11 и 14.

Объявление (О томъ, что К. С—чу принадлежать передовыя статьи безъ подписи.), № 19.

Два слова о народномъ обученіи, № 31.

Разсказъ изъ деревенской жизни, №№ 35 и 36.

Замѣчанія на „Замѣтку“ г. Даля, № 35.

Толить Эмпириковъ (стих.), № 36.

Семилѣтнему Л—у (стих.), № 36.

Благотворительность частная и общественная, № 36.

Разуму (стих.), № 38.

Отвлеченные люди. Отрывокъ изъ неоконченной комедіи, № 37 и 38. Кромеъ этихъ статей, такъ или иначе подписаныхъ, К. Аксаковъ напечаталъ въ „Мольѣ“ безъ подписи:

Обозрѣніе современныхъ журналовъ, № 2. Что статья эта принадлежитъ К. С—чу видно изъ объясненія, подписанного К. А. въ № 5.

Опытъ синонимовъ. Публика—Народъ. № 36.

По разнымъ внутреннимъ признакамъ, думается, можно присвоить К. Аксакову еще:

Олегъ (стих.), № 31.

Весна (стих.), № 35.

Подлинникъ и списокъ, № 38.

Передовыя статьи перепечатаны цѣлкомъ въ „Рус. Арх.“ 1890 г. № 11, подъ заглавиемъ „Ученіе Славянофиловъ по статьямъ газеты „Молва“ 1857 г., и частично въ книгѣ И. Л. Бродскаго, „Ранніе Славянофилы“ М. 1910.

### 1858.

Замѣчанія о Псковской рядной записи XIII в. „Извѣстія Имп. Археол. Общ. III т.“. Соч. I.

По поводу VII тома исторія Россіи, г. Соловьевъ. „Рус. Бесѣда“. П, соч. т. I.

### 1859.

Совѣты (стих.). Подъ стих. дата „1847 года“, „Рус. Бесѣда“ IV Иаяцк. слов., 2.

Опытъ исторической грамматики Русскаго языка, Ф. Буслава. М: 1852 г. Статья первая. „Рус. Бесѣда“, V, Критика, 65—155. Вошло въ соч., т. II.

Народная повѣсть о бражники, сообщ. Н. Я. Аристовымъ, съ примѣчаніемъ К. Аксакова. „Рус. Бесѣда“ VI, Науки, стр. 184—188.

Опытъ Исторической Грамматики Русскаго языка. Ф. Буслава (окончаніе). „Рус. Бесѣда“, Критика, стр. 1—114. Соч., т. II.

1860.

*Исторія Россіи съ древнійшихъ времень, соч. Сергея Соловьева,* т. VIII. „Рус. Бесѣда“ I, Критика, стр. 1—134. Въ соч. т. I, съ нѣкоторыми дополненіями.

*О драмѣ I. Писемскаго: Горькая Судьбина.* Ibid. Смѣсь. стр. 117—118.

*Замытка о значеніи Ильи Муромца.* Въ I вып. „Пѣсень“, собр. П. В. Кирьевскимъ, изд. Общ. люб. Рос. Словесности; соч. I. Соч., т. II.

1862.

*Наша литература.* „День“, № 1. (Конецъ 1859 г.).

*Гуманисту.* (Стих.) „День“, № 8.

*Прошли года тяжелые разлуки.* „День“, № 12. (1843 г.).

*Къ Славянамъ.* „День“, № 12.

*Краткій историческій очеркъ Земскихъ Соборовъ* (перепечатка изъ I т. соч. К. А.).

*Новгородъ.* (Стих.) „День“, № 14, (напис. въ 1852 г.).

*Воспоминаніе Студентства 1832—1835 гг.* „День“ № 39, 40.

*Лже-духъ.* (Стих.) „День“, № 41.

*Минніе о тѣлесныхъ наказаніяхъ.* „День“, № 45.

1863—1879.

*О воспитаніи.* „День“, 1863 № 1.

*Оять къ земль родной любовь.* (Стих.) „День“ 1863, № 1. (писано въ 1847).

*Нѣсколько мыслей объ отношеніи зла и добра.* „День“ 1863, № 2. (писано въ 1856).

*Въ Россію вѣруя, на бой съ лукавой ложью.* (Стихи; приведены въ передовой статьѣ Ивана Аксакова). „День“ 1865, № 31.

*Съ залогомъ Славы.* (Стих.) Рѣчи и Стихотворенія, чит. въ публич. зас. Общ. Люб. Рос. Слов., 20 мая 1866 г. въ честь Славянъ. „Бесѣды въ Общ. Рос. Слов.“, вып. 2. 1867., стр. 20—21.

*О современномъ человѣкѣ.* Въ Сборникѣ „Братская помощь“ 1876. Также въ „Руси“ 1883 г. № 8, 12, 13.

1880—1889.

*Стихотворенія Константина Сергеевича Аксакова.* „Рус. Арх.“ 1879, № 2, стр. 215—225. (А. Н. Попову. Союзникамъ. Первое Мая. Поэту-корифѣю. Возвратъ. Гуманисту. Къ Славянамъ).

*Урbi.* (Граду). „Рус. Арх.“ 1879, № 4, стр. 521—522.

*Свободное слово.* „Русь“ 1881, № 1. (Стихи).

*Въ Россію вѣруя, на бой съ лукавой ложью.* (Стих.) Ibid, № 5.

*Тѣни.* (Стих.) Ibid, № 6.

- Весна. (Стих.) Ibid. № 7, (перепечатано изъ „Молвы“ 1857).  
Петру. (Стих.) Ibid. № 8.  
Безмолвна Русь. (Стих.) Ibid. № 11.  
Возвратъ. (Стих.) Ibid. № 24.  
Записка, представленная Имп. Александру II въ 1855 году. „Русь“ 1881 г. № 26—28, перепеч. въ книгѣ И. Л. Бродского „Ранніе Славяно-филы“ (М. 1910).  
Дополненіе къ запискѣ о внутреннемъ состояніи Россіи, представленной Импер. Александру II, Ibid. № 28.  
Былина о народномъ приществѣ. Ibid. № 52. (Шуточное стихотв.).  
Сонъ. (Стих.) Ibid. № 59.  
Пже-духъ. (Стих.) Ibid. № 59.  
Значеніе столицы. „Русь“ 1881 г., № 1 и 2.

### 1890—1911.

- Письмо къ А. С. Хомякову. „Русь“ 1883 г. № 3.  
Письмо къ кн. Черкасскому отъ 1859 г. Ibid. № 32.  
Замѣчанія на доклады редакціонныхъ Комиссій. „Русь“ 1883 г., 3, 45.  
О современномъ литературномъ спорѣ. „Русь“ 1883 г., 7.  
О современномъ человѣкѣ. „Русь“ 1883, № 12, 13.  
Письмо къ кн. В. А. Черкасскому. „Рус. Старина“, т. 54, стр. 210—213.  
Письмо къ Н. В. Гоголю. „Рус. Арх.“ 1890, 1. 1., 153—159.  
Я не знаю, найду ли иль нѣть. (Стих.) „Рус. Арх.“ 1890, № 2, 325.  
Письмо къ Гоголю (въ статьѣ Сергѣя Тимофеевича „Мое знакомство съ Гоголемъ“). „Рус. Арх.“ 1890, № 8, стр. 85—88.  
Застольное Слово на обѣдь, даннномъ въ Москву Графу Д. Е. Савену. „Рус. Арх.“ 2. 5., 119—120.  
Письма изъ заграницкой поездки 1838 г. „Космополисъ“ 1898 г. №№ 1—4.  
Императору Александру Николаевичу (Написано въ 1855 г.), „Рус. Арх.“ 1898.  
Письма къ А. И. Кошелеву. Приложение ко II тому соч. Колюпанова, Биографія А. И. Кошелева М. 1892.  
Письма С. Т., К. С. и И. С. Аксаковыхъ въ И. С. Тургеневу. „Рус. Обозр.“ 1894, №№ 8—12.  
А. С. Хомякову. (Стих.) „Рус. Арх.“ 1897, V. стр. 143—144.  
Письмо къ кн. Черкасскому. „Рус. Ст.“ 1903, т. 120, стр. 706—710.  
О современномъ человѣкѣ. „Рус. Арх.“ 1903, кн. 2.  
Первое Мая. (Стих.) „Рус. Арх.“ 1904, кн. 2.  
Петру. (Стих.) „Рус. Арх.“ 1905, кн. 3.  
Письмо къ А. И. Кошелеву. „Рус. Арх.“ 1907, кн. 1.  
Письма изъ чужихъ краевъ въ Москву. 1860 годъ. „Рус. Арх.“ 1910, № 1 и 2.

*Письмо къ кн. В. А. Черкасскому.* „Рус. Арх“ 1910, № 6.

*Н. Д. Свербееву.* (Стих.). Приложено къ „Воспоминанію Студентства“ К. С. А. (М. 1911). Написано, приблизительно, въ 1850 г.

*Указанія на произведения К. С. Аксакова, въ печати не появившіся.*

1) Въ письмѣ отъ 10 ноября 1845 г. изъ Калуги (Переписка, т. I, стр. 281). Иванъ Сергеевичъ Аксаковъ пишетъ:

„Каково, Костя уже навалялъ *новьсти!* Молодецъ, въ письмѣ своеемъ онъ пишетъ объ этомъ такъ-же коротко и равнодушно, какъ-будто написать свою пятнадцатую повѣсть! Пожалуйста сообщите мнѣ объ этомъ подробнѣе, мнѣ очень хочется прочесть ее“.

Видимо объ этой-же повѣсти Иванъ спрашиваетъ родителей въ письмѣ отъ 30 апр. 1846 г.: „Довольны ли Вы разсказомъ Кости“ (Пер., I, 318).

2) Изъ письма Ивана отъ 1 февр. 1847 г. изъ Калуги:

*Стихи Константина къ Соловьеву* прекрасны, очень хороши. Письмо также, должно быть, искусно написано, хотя, признаюсь, какъ-то въ немъ мало толку. (Пер. т. I, 417).

3) Къ 1850 г. относится какая-то *Статья о народномъ образованіи*, подробный разборъ которой имѣется въ письмѣ Ивана отъ 19 февр. 1850 г. (Переписка, т. II, стр. 286—291).

4) Большой успѣхъ имѣла въ 1854 г. какая-то рукописная статья Конст. Аксакова, видимо политического содержанія, о которой Сергеѣвъ Тимофеевичъ даваль Ивану такое разясненіе:

„Полученная тобою статья Константина есть не что иное, какъ его *Письмо къ Дмитрію Оболенскому*, писанное для прочтенія *њъкотомъ* (курсивъ С. Т-ча) лицамъ. Только впослѣдствій мы узнали, что это письмо получило большую гласность“.

5) Въ 1854 г. К. С. написалъ стихотвореніе „*Къ Россіи*“. Главное управление цензуры нашло, что „Стихотвореніе Аксакова, содержащее въ себѣ неумѣстно рѣзкія и какъ бы понудительные возванія объ освобожденіи Россіи отъ турецкаго владычества единовѣрныхъ намъ племенъ, съ выраженными зарапѣе укоризнами, въ случаѣ неисполненія этого, къ печати не одобрить“. („Рус. Старина“ 1903, т. 117, стр. 443).

6) Избранный въ 1858 г. членомъ проснувшагося отъ долголѣтней летаргіи общества любителей Россійской словесности, К. С. принялъ живое участіе въ его дѣятельности. Онъ внесъ на обсужденіе членовъ цѣлыхъ *пять записокъ*:

а) О точномъ опредѣленіи тѣхъ условій, которыми члены, при предложеніи кандидатовъ, могли бы руководствоваться (засѣданіе 28 янв. 1859).

б) О предметахъ дѣятельности общества и о необходимости занятій по составленію Русскаго словаря (зас. 11 февр. 1859).

в) О составленіи обществомъ собранія особенностей областной рѣчи (зас. 16 янв. 1860).

г) Объ отношеніяхъ жизненной цѣльности къ условности отвлеченної среды, въ особенности въ примѣненіи къ дѣятельности общества (тогда же).

д) Миніе по поводу предложения д. ч. И. В. Селиванова объ устройствѣ публичнаго чтенія въ пользу общества для пос. нужд. лит. и ученымъ, (васѣд. 23 февр. 1860). Характерно, что въ своемъ озлобленіи противъ всего, что исходило изъ либеральныхъ сферъ Петербурга, Аксаковъ былъ противъ устройства вечера въ пользу возникавшаго тогда литературнаго фонда!

7) Въ засѣданіи 6 февр. 1860 г. прочтатъ отрывокъ изъ „Опытнаго словаря“, составленіемъ котораго былъ занятъ. Онъ прочелъ объясненіе словъ: „алый, алѣть, ау и аристократія“ (Барсуковъ, т. XVII, стр. 417).

Изъ драматическихъ произведеній К. С. остался ненапечатаннымъ водевиль „Почтовая карета“, поставленной въ 1845 г. (см. переписку Ив. Аксакова, т. I, стр. 294).

### Литература о Константинѣ Аксаковѣ.

Аксаковы, (дѣдъ и бабушка К. С-ча), переписка „Рус. Арх.“ 1894, т. III, 100—136.

Вѣра Серг. Аксакова, Дневникъ, въ „Минув. Годахъ“ 1908.

№ 8 и 12.

Иванъ Сер. Аксаковъ въ его письмахъ. 4 т. М. 1888—96.

Иванъ Аксаковъ, письма къ А. О. Смирновой, въ „Рус. Арх.“ 1895, № 12.

Сергѣй Тимофеевичъ Аксаковъ, Исторія моего знакомства съ Гоголемъ, „Рус. Арх.“ 1890 и отд.

Андреева, И. С. Тургеневъ въ кругу фр. литераторовъ, „Починъ“, т. 2, стр. 559.

Анненковъ, Воспоминанія, т. III, ст. „Замѣчат. десятилѣтіе“ стр. 86, 97,—98.

Анненковъ и его друзья. Спб. 1892, стр. 51, 90, 534, 538, 539.

Анофріевъ, В. въ „Рус. Вѣд.“ 1895, № 2231 (о могилѣ К. С. Аксакова).

Барсуковъ, Жизнь и труды Погодина. Во множествѣ мѣсть, отмѣченныхъ въ указателѣ.

П. Бартеневъ, „Руск. Арх.“ 1893, т. I, 297; 1898, т. II, 514; 1910, № 1, 134.

Безсоновъ, Предисловія и прим. къ Собр. Соч. Аксакова (т. II и III).

Березинъ, Энцикл. Словарь.

Березинъ-Ширяевъ. Материалы, VII, 5.

Бестужевъ-Рюминъ, „Славянофильское учение и его судьбы въ рус. литературѣ“. „Отеч. Зап.“ 1862, № 2—4.

Н. Бицынъ (Н. М. Павловъ). „Воспоминанія“, „Рус. Арх.“ 1885, № 3, стр. 371—415.

Гр. А. Д. Блудова, „Заря“ 1871, № 3 и 1872, № 1.

Гр. А. Д. Блудова, Воспоминанія, „Рус. Арх.“ 1889, т. I, 65.

- Боденштедтъ, Воспоминанія, „Рус. Ст.“ 1887, т. 55.
- Бодянскій, Письма къ Шевыреву, „Рус. Арх.“ 1878, I, стр. 131; № 5, 61—64; № 6, 206—210, 215, 269.
- Брофскій, И. Л. Рації славянофилы. М. 1911.
- Брокгауз-Ефронъ, Энцикл. Словарь и Новый Энц. Словарь (ст. А. Прельзнякова).
- Буслаевъ, Ф. И. О двухъ священнослужителяхъ при рус. посольствѣ за границею, „Починъ“ т. 2, стр. 31—32.
- Былинскій, Письма къ К. Аксакову, въ „Руси“ 1881 г., № 8.
- Былинскій, Сочиненія.
- Быльскій, Л. П. Поэзія и жизнь Щербины, „Починъ“, т. 2, стр. 592.
- В. въ „С.-Пет. Вѣд.“ 1862 г., № 13 и 14 (о I т. соч.).
- М. В. въ „Рус. Мысли“ 1889, № 5, стр. 130 („Къ вопросу о паденіи, Польши“).
- Венгеровъ, Критико-биогр. Словарь, т. I, стр. 201—318.
- Венгеровъ, Источники Словаря рус. писателей, т. I.
- Венгеровъ, Русскія Книги, т. I.
- Венгеровъ, очерки по истории рус. литературы (ст. „Передовой боецъ славянофильства“).
- Алексій Веселовскій, въ „Вѣст. Евр.“ 1882, кн. 5.
- Алексій Веселовскій, Западное влияніе въ рус. лит.
- Вольфзонъ (Wilhelm Wolfsohn, нѣм. драматургъ и издатель рус. литературы) вывелъ К. Аксакова въ своей пьесѣ „Eine Seele“ (см. переписку Ив. Аксакова т. III, 355).
- Кн. Вяземскій, П. А., Письмо къ К. Аксакову, „Рус. Арх.“ 1879, № 1. 0404—0406.
- Кн. П. А. Вяземскій, Замѣчанія на стихи К. С. Аксакова, „Петру“ „Рус. Арх.“ 1892 г. т. III, 237—238.
- „Вѣст. Европы“ 1895, № 5, стр. 431—435 (по поводу переписки Тургенева съ Аксаковымъ).
- „Время“ 1862, № 3, ст. 79—88.
- Г. Г., „Университетскія воспоминанія“, „День“ 1863, № 42.
- Галлерей рус. писателей. Изд. Скирмуunta подъ ред. И. Н. Игнатова м. 1901 съ портр.
- Гербелъ, Русскіе поэты.
- Герценъ, Сочиненія, („Вылое и Думы“, Дневникъ и др.).
- Гильбердингъ, „С.-Пет. Вѣд.“ 1861, № 19, (былъ отд. оттискъ).
- Гильяровъ-Платоновъ, „Возрожденіе Общ. Любйт. Рос. Словесности“.
- „Починъ“ 1891 г., стр. 146—152.
- Гоголь. Переписка, изд. Шенрока, (см. по указателю).
- Аполлонъ Григорьевъ, Сочиненія, т. I, стр. 552, 568, 643.
- Голохвастовъ, П. Д. Боярское кормление, „Рус. Арх.“ 1890, № 6.
- Головачева-Панаева. Рус. писатели и артисты, гл. 3.
- Градовскій, А. Д. Сочиненія т. VI.
- Гранатъ, Энцикл. Словарь.
- Я. К. Гротъ, Переписка съ П. А. Плетневымъ (См. по указателю).
- Державинъ, Соч. подъ ред. Я. К. Грота, т. II, 715,

- Дмитриевъ-Мамонова, Славянофилы. „Рус. Арх.“ 1873 г.  
Добородовъ, Соч., (см. указатель въ изд. Лемке).  
Ю. Елагинъ (Говорухо-Отрокъ). „Рус. Вѣст.“ 1892, № 1. стр. 340.  
„Жур. Мин. Нар. Просв.“ 1857, № 6, стр. 189—192 (О „Богатыряхъ времень В. Кн. Владимира“).  
С. И. Загоскинъ, Записки „Истор. Вѣст.“ 1900, № 1 и 4.  
Ивановъ-Разумникъ, Исторія рус. общественности, т. I.  
Иконниковъ, Рус. Исторіографія.  
„Иллюстрированная Недѣля“ 1875, № 50.  
Д. Иловайскій, „Рус. Арх.“ 1889, т. I, 362.  
„Историч. Вѣст.“ 1898, т. LXXIV, стр. 226, 227, LXXV, 506; XCVIII, 694—695.  
Истринъ, Письма къ академику. П. С. Билярскому, Одесса, 1906, стр. 6.  
Кизеветеръ, въ „Рус. Мысли“ 1895, № 10, стр. 69—71.  
Ключевский, въ „Рус. Мысли“ 1890, № 1, стр. 158.  
Князевъ, въ жур. „Космополисъ“ 1898, янв.—апрѣль.  
„Книжки Недѣли“ 1895, № 7,2226.  
Колюпановъ, Очеркъ философ. системы Славянофиловъ. „Рус. Обозр.“ 1894, № 7—11.  
Колюпановъ, Біографія А. И. Кошелева, М. 1889—92. Во II т. переписка К. С. А. съ Кошелевымъ.  
Костомаровъ, О значеній критическихъ трудовъ К. Аксакова по русской исторіи, „Рус. Слово“ 1861 г., № 3 и „Годичный актъ въ Имп. Спб. Унів., бывш. 3 февр. 1861“. Спб. 1861.  
Костомаровъ, Автобіографія.  
Котляревскій, А. А., Соч. т. 4 „Опытъ“, стр. 350, 351, 358.  
Кулишъ, письма къ Водянскому, „Кiev. Старина“ 1897, № 12, стр. 469.  
Касторъ Лебедевъ, Записки, „Рус. Арх.“ 1889, т. I, 152; 1893, т. I, 349.  
Лемке, М. К. Очерки по истории рус. цензуры. Спб. 1904.  
Лемке, Николаевъ. жандармы. Спб. 1908.  
Ленскій (актеръ). Привѣтственные стихи по поводу „Освобожд. Москвы“ (1850) „Рус. Арх.“ 1895, III, 451, 52.  
Лининченко, И. А. Младшій изъ старшихъ Славянофиловъ. „Одес. Новости“ 1911, 12 сент. Выли отд. оттиски.  
А. М., „Основа“ 1861, № 2, стр. 254—55.  
Леонидъ Майковъ, переписка Тургенева съ Аксаковымъ. М. 1894.  
Павелъ Матвеевъ, Тургеневъ и Славянофилы. „Рус. Ст.“ 1903, т. 118  
Мезьеръ, Русская словесность съ XI по XIX ст., ч. II.  
Ор. Миллеръ, Русские писатели послѣ Гоголя, т. 3, стр. 56.  
Ор. Миллеръ, Ученіе первоначальныхъ Славянофиловъ. „Рус. Мыслъ“ 1880, № 1.  
„Москов. Город. Листокъ“ 1847, № 57 (о диспутѣ).  
„Москов. Вѣд.“ 1860, № 60.  
Мюнстеръ, Портретная Галлерея (съ портр.).  
„Мѣсяцесловъ“ на 1862 г., стр. 124—125.  
Н. Новиковъ, въ „Рус. Арх.“ 1887, II, 8, стр. 524—27.

- „Новый Свѣтъ“ 1883, № 3, съ портр.
- „Отеч. Зап.“ 1862, т. CXL (№ 1), отд. I, стр. 355—57.
- Общество Любителей Россійской Словесности. Историч. записка М. 1911.
- Словарь Членовъ Общества Любителей Россійской Словесности М. 1911.
- Максимовичъ, Ученіе первыхъ Славянофиловъ. К. 1907.
- Надеждинъ, Н. И. (письма). „Рус. Арх.“ 1885, II, 580, 583.
- К. П., Аксаковы. Спб. 1886, (8 стр.).
- Павловъ, Н. М., „Рус. Арх.“ 1888, III, 9, стр. 163—164. См. выше Бицынъ.
- Павловъ, Н. М. Гоголь и Славянофильство. „Рус. Арх.“ 1890, № 1.
- Павловъ, Н. М. Полемика Герцена съ Катковымъ. „Рус. Обозр.“ 1895, № 5.
- Панаевъ, въ „Современникъ“ 1861 г. № 1 („Замѣтки Нового Поэта“) стр. 141—42. и въ Соч.
- Панаевъ, Литер. воспоминанія, ч. II, гл. I.
- Пановъ, Славянофильство, какъ философ. ученіе. „Жур. М. Н. Пр.“ 1880, 11.
- К. П. Петровъ, Славянофильское ученіе. „Ист. Вѣст.“ 1901 т. LXXXV, 897—918.
- Писаревъ, Сочиненія. По изд. Павленкова т. II, 223.
- Погодинъ, въ „Рус. Бесѣдѣ“ 1860, № 2, кн. 20, стр. 2.
- Погодинъ, Письма къ Максимовичу, „Сбор. II отд. Акад. Наукъ“ 1883, т. XXXI.
- Е. И. Попова. Изъ русской жизни 40-хъ годовъ. Дневникъ. Спб. 1911.
- М. Протопоповъ, „Сѣв. Вѣст.“ 1888, № 10, отд. II, стр. 31—33.
- Пынинъ, Характеристики лит. мнѣній.
- Пынинъ, Бѣлинскій, его жизнь и переписка. Во множествѣ мѣстъ.
- Пынинъ, К. Аксаковъ, „Вѣст. Евр.“ 1884, № 3 и 4.
- Пынинъ, Исторія рус. этнографіи, (См. по указателю).
- Пынинъ, Исторія рус. литературы (См. по указателю).
- Al. v. Reinholdt въ „Unsere Zeit“ 1888, 7.
- Гр. Растанчина, „Рус. Ст.“ 1885, стр. 682—83.
- „Русская Бесѣда“ 1856 г. № 2, стр. 139—147.
- „Русская Рѣчь“ 1861 г., № 3.
- „Рус. Стар.“ 1875 г., т. XIV, стр. 373—374;
- „Рус. Старина“ 1903, т. 113, 117, 118, 120. Статья „Цензура въ царствованіе Имп. Николая I“.
- „Рус. Старина“ 1905, X, 5, 392—403, статья „Аксаковы и цензура 1852 года“.
- „Русский Архивъ“ 1880, т. II, 241—330.
- „Рус. Арх.“ 1890, III, 12, стр. 566; 1892, III, 10, 237—38; № 12.
- „Рус. Арх.“ 1894, т. I, 128; 1899, т. II, 242, 243;
- „Рус. Биогр. Словарь“ (ст. С. Трубачева).
- Ю. Самаринъ, Сочиненія и переписка.
- Ю. Самаринъ, Письмо къ К. Аксакову. „Рус. Ст.“ 1890, т. 65 февр., стр. 421—425.

- Свербнєвъ, Воспоминанія. „Рус. Архивъ“ 1875, № I, стр. 69 и II, стр. 373.
- „Свѣточъ“ 1861 г., № 2, стр. 3—5, отд. „Рус. Хроника“.
- Севольницевъ, Н., Два слова о Славянофилахъ. Въ „Свѣточъ“ 1862, № 7.
- Семевскій, В. И., Крестьянскій вопросъ въ Россіи. Спб. т. II. Спб. 1888, гл. XIII.
- Скабичевскій, Сочиненія.
- Скабичевскій, Очерки по истории цензуры.
- Современ. лѣтопись „Рус. Вѣст.“ 1861, № 1, стр. 23.
- Смирнова, А. О., Записки, въ „Рус. Арх.“ 1895, II, 460; III, 9, стр. 78—81.
- Смирновъ, см. Евг. Соловьевъ.
- Евг. Соловьевъ, Аксаковы. („Біограф. бібл.“ Павленкова) Спб. 1895.
- „Современникъ“ 1862, № 1 и 2. Статья подъ заглавіемъ „Москов. Словенство“.
- Станкевичъ, Н. В. Переписка. М. 1857.
- А. Станкевичъ, Ключки воспоминаній. „Рус. Мысль“ 1898, № 2, 94.
- „С.-Пет. Вѣд.“ 1862, № 13 и 14.
- гр. Алексѣй Толстой, Переписка, „Вѣст. Евр.“ 1897, № 5, стр. 267.
- Тургеневъ, его переписка съ семьею Аксаковыхъ, „Рус. Обозр.“ 1894, № 8, 9.
- Тургеневъ, Письма, въ „Вѣст. Евр.“ 1894 г. № 1, 2.
- Филипповъ, М. М., Судьбы рус. философіи. („Рус. Бог.“ 1894, № 9), стр. 152, 175.
- Хомяковъ, Письмо къ К. Аксакову, „Рус. Арх.“ 1884, 3(5), стр. 218—219.
- Хомяковъ, Письмо къ А. Н. Попову. „Рус. Арх.“ 1884, 2 (4). 281—86.
- Хомяковъ, въ „Рус. Бесѣдѣ“ 1860, № 1. (кн. 19) отд. 1.
- Хомяковъ, Письмо къ И. С. Аксакову, „Рус. Арх.“ 1893, т. III, 208,
- Хомяковъ, Сочиненія.
- Чернышевскій, Очерки Гоголевскаго периода.
- Чижовъ, Ф. В. въ „Историч. Вѣст.“ 1883, февр., стр. 259.
- Кн. Н. В. Шаховской, въ „Рус. Обозр.“ 1895 г., дек. стр. 509.
- Шепинъ, въ „Москвитянинѣ“ 1853 г., ч. I, стр. 50, отд. II.
- Шевыревъ, С. Исторія моск. унів., стр. 572, 574.
- Шелзуновъ, въ „Рус. Мысли“ 1889, № 12, стр. 211, и въ Сочин., („Очерки рус. жизни“).
- Шенрокъ, С. Т. Аксаковъ и его семья. „Жур. Мин. Нар. Пр.“ 1904. № 10 и 11.
- Шенрокъ В. И. Материалы для біографіи Гоголя.
- Южаковъ, Соціологические Этюды, т. 2.
- Н. Энгельгардтъ, Очеркъ истории р. цензуры.
- Съ большою или меньшою обстоятельностью о К. Аксаковѣ говорится во всѣхъ курсахъ и обзорахъ новой рус. литературы: Андреевича—Соловьевъ,

Когана, т-ва „Міръ“ (подъ ред. Овсянико-Куликовскаго), К. Петрова,  
Нелидова, Скабичевскаго, Энгельгардта и др.

Отзы́вы объ отдельныхъ сочиненіяхъ:

Объ „Освобождении Москвы“:

- 1) „Лит. Газ.“ 1848 г., № 21.
- 2) *M. Погодинъ* въ „Москвит.“ 1848 г., ч. III, № 5, стр. 27.
- 3) „Современ.“ 1848 г., т. IX, отд. III, № 5, стр. 49—54.
- 4) „Отеч. Зап.“ 1848 г., т. 58, отд. VI, стр. 1.
- 5) К. П. (Ксеноф. Полевой) въ „Спб. Вѣд.“ 1848 г., № 105.

О статьѣ „О древнемъ бытѣ у Славянъ“: „Современ.“ 1852 г., т. XXXIII, стр. 10, отд. IV.

Объ „Олегѣ подъ Константинополемъ“:

- 1) „Московск. Обозр.“ 1859 г., № 1, отд. III, стр. 25—26.
- 2) „Отеч. Зап.“ 1859 г., т. 122, стр. 101—102.
- 3) „Русс. Слово“ 1859 г., № 5, стр. 68—74.

Книга „О русскихъ глаголахъ“:

- 1) Ф. Буслаевъ въ „Отеч. Зап.“ 1855 г., № 8, отд. III, стр. 23—46.
- 2) И. Срезневский, въ „Извѣст. Имп. Акад. Наукъ“, вып. 7.
- 3) Я. Туруновъ въ „Русс. Изв.“ 1855 г., № 170.
- 4) „Совр.“ 1855 г., № 7, стр. 14, отд. IV.

О ст.: „Нѣсколько словъ о нашемъ правописаніи“: „Отеч. Зап.“ 1846, т. 47, отд. VI, стр. 22.

Объ „Опытѣ русской грамматики“:

- 1) „Русс. Изв.“ 1860 г., № 207. Ст. Я. Т. [урунова?].
- 2) „Спб. Вѣд.“ 1860 г., № 125.
- 3) „Изв. Имп. Акад. Наукъ“ 1860 г., т. IX, вып. 1.
- 4) „Русс. Бесѣда“ 1860, № 1, кн. 19, стр. 1—40.
- 5) Бывшій учитель, Замѣчанія на книгу: „Опытъ русс. грамматики“. Спб. 1860 г., тип. Н. Греча, 8°, 28 стр.
- 6) П. Безсоновъ, Предисловіе къ III т. сочин. К. Аксакова.
- 7) Гаттала въ „Часописѣ“ чешскаго музея 1860-хъ гг.

О брошюре: „Нѣсколько словъ о поэзіи „Похожденія Чичикова“: „Библ. для Чт.“ 1842 г., т. 54 отд. VI, стр. 12. „Отеч. Зап.“ 1842 (Вѣлинскій).

## Труды проф. С. А. Венгерова.

**Собрание сочинений.** Т. I. Героический характер рус. литературы. Цѣна 1 р.  
" " Т. III. Константина Аксаковъ. Ц. 1 р. 50 к.  
" " Т. V. Дружининъ, Гончаровъ, Писемскій. Цѣна 1 р. 50 к.

**Иванъ Сергеевичъ Тургеневъ.** Критико-биографический этюдъ. СПб. 1875—77. Цѣна 2. р. (*Распродано*).

**Алексѣй Феофилактовичъ Писемскій.** Критико-биографический этюдъ. СПб. 1884. Ц. 1 р. (*Распродано*).

**Рудольфъ Гнейстъ.** Исторія государственныхъ учрежденій Англіи. Пер. съ нѣм. подъ ред. С. А. Венгерова. М. 1885. Ц. 4 р. 50 к.

**Русская поэзія.** Собрание произведений русскихъ поэтовъ, съ критико-биографическими статьями, библиографич. примѣч. и портретами. Т. I (вып. 1—6), XVIII вѣкъ. СПб. 1897. Съ 23 портр. Ц. 8 р. Вып. VII, ц. 1 р.

**Русскія книги.** Съ биографическими данными объ авторахъ и переводчикахъ. Редакція С. А. Венгерова. Издание Г. В. Юдина. СПб. 1896—1898. Вышло 3 тома (А—Вавиловъ). Ц. кажд. тома 3 р. 50 к., съ перес. 4 р.

**Основные черты исторіи русской литературы.** Изд. 2-е. Съ приб. этюда: «*Побѣдители или побѣжденные?*». Ц. 40 к. (*Распродано*).

**Источники словаря русскихъ писателей.** т. I. (Ааронъ—Гоголь). Собраль С. А. Венгерова. СПб. 1900. (*Распродано*). Изд. Императорской Академіи Наукъ. Ц. 2 р. 50 к., т. II (Гоголик—Карамзинъ). СПб. 1910. Ц. 4 р.

**Собрание сочинений Шиллера въ перев. рус. писат.** Подъ ред. С. А. Венгерова. Роскошное изданіе, 4 т. Ц. т. 6 р. 50 к., въ пер. 8 р.

**Полное собрание сочинений Шекспира въ перев. рус. писат.** Подъ ред. С. А. Венгерова. Роскошное изданіе, 5 томовъ. Ц. т. 6 р. 50 с. въ пер. 8 р.

**Полное собрание сочинений Байрона въ перев. рус. писат.** Подъ ред. С. А. Венгерова. Роскошное изданіе, 3 тома. Ц. т. 6 р. 50 к. въ пер. 8 р.

**Полное собрание сочинений Пушкина.** Подъ ред. С. А. Венгерова. Роскошное изд. Вышло 5 т. Ц. тома 6 р. 50 к., въ переплетѣ 8 р.

**Главные дѣятели освобожденія крестьянъ.** Подъ ред. С. А. Венгерова. СПб. 1903 г. Ц. 2 р.

**Критико-биографический словарь русскихъ писателей и ученыхъ.** Историко-литературный сборникъ, 6 томовъ. (СПб. 1886—1904). Ц. 1 т. 5 р. 25 к., (*Отдельно не продается*) II т. 2 р. 25 к., остальные по 2 р. 50

**Полное собрание сочинений В. Г. Бѣлинского.** Подъ редакціей и съ примѣчаніями С. А. Венгерова. Вышло 9 томовъ. Ц. тома 1 р. 75 к.

**Эпоха Бѣлинского.** Общий очеркъ. Публичная лекція (Библіотека «Свѣтоточія», № 3). СПб. 1905. Ц. 20 к.

**В. Г. Бѣлинский.** Письмо къ Гоголь. Съ предисловиемъ С. А. Венгерова. Библіотека «Свѣтоточія», № 2). СПб. 1905. Ц. 10 к.

**Очерки по истории русской литературы.** 2-е изданіе безъ перемѣнъ. СПб. 1907. Ц. 2 р. 50 к.

**Въ честь открытия русской литературы.** Рѣчь, сказанныя въ Москвѣ, 22 окт. 1911 г. на праздн. 100 лѣт. юбиляра Общ. Люб. Рос. Словесности. СПб. 1912. Ц. 15 к.

